VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM



МАРК БЛОК

АКАДЕМИЯ НАУК СССР



MARC BLOCH

APOLOGIE
POUR
L'HISTOIRE
OU
METIER D'HISTORIEN

МАРК БЛОК

АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ
или
РЕМЕСЛО ИСТОРИКА

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ

ПЕРЕВОД
Е. М. ЛЫСЕНКО

ПРИМЕЧАНИЯ И СТАТЬЯ
А. Я. ГУРЕВИЧА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА · 1986

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»

К. З. Ашрафян, Г. М. Бонгард-Левин, В. И. Буганов (зам. председателя), *Е. С. Голубцова, С. С. Дмитриев, В. А. Дунаевский, В. А. Дьков, М. П. Ирошников, Г. С. Кучеренко, Г. Г. Литаврин,* |*М. В. Нечкина*|, *А. П. Новосельцев, А. В. Подосинов* (ученый секретарь), *Л. Н. Пушкарев, В. И. Рутенбург, А. М. Самсонов* (председатель), *В. А. Тишков, З. В. Удальцова* (зам. председателя)

Ответственный редактор

А. Я. ГУРЕВИЧ

Б $\frac{0504020000-388}{042(02)-86}$ Без объявления

© Издательство „Наука“, 1986 г.

АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИЛИ РЕМЕСЛО ИСТОРИКА

Памяти моей матери-друга

ЛЮСЬЕНУ ФЕВРУ [1]

вместо посвящения

Если эта книга когда-нибудь выйдет в свет, если она из простого противоядия, в котором я среди ужасных страданий и тревог, личных и общественных, пытаюсь найти немного душевного спокойствия, превратится когда-нибудь в настоящую книгу, книгу для читателей,— на ее титульном листе, мой дорогой друг, будет стоять другое, не Ваше имя. Вы поймете, что это имя будет на своем месте — единственное упоминание, которое может позволить себе нежность, настолько глубокая и священная, что ее словами не высказать. Но могу ли я примириться с тем, чтобы Ваше имя появлялось здесь только случайно, в каких-то ссылках? Долгое время мы вместе боролись за то, чтобы история была более широкой и гуманной. Теперь, когда я это пишу, общее наше дело подвергается многим опасностям. Не по нашей вине. Мы — временно побежденные несправедливой судьбой. Все же, я уверен, настанет день, когда наше сотрудничество сможет полностью возобновиться, как в прошлом, открыто и, как в прошлом, свободно [2]. А пока я со своей стороны буду продолжать его на этих страницах, где все полно Вами. Я постараюсь сохранить присущий ему строй — в глубине согласие, оживляемое на поверхности поучительной игрой наших дружеских споров. Среди идей, которые я намерен отстаивать, не одна идет прямо от Вас. О многих других я и сам, по совести, не знаю, Ваши они, или мои, или же принадлежат нам обоим. Надеюсь, что многое Вы одобрите. Порой, возможно, будете читать с удовольствием. И все это свяжет нас еще крепче.

Фужер (Деп. Крез). 10 мая 1941.

ВВЕДЕНИЕ

«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что эта книга — мой ответ. По-моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем признание, что он умеет говорить одинаково с учеными и со школьниками. Однако такая высокая простота — привилегия немногих избранных. И все же этот вопрос ребенка, чью любознательность я, возможно, не сумел полностью удовлетворить, я охотно поставлю здесь вместо эпиграфа. Кое-кто, наверняка, сочтет такую формулировку наивной. Мне же, напротив, она кажется совершенно уместной *. Проблема, которая в ней поставлена с озадачивающей прямотой детского возраста, это ни мало, ни много — проблема целесообразности, оправданности исторической науки.

Итак, от историка требуют отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета: какой ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием сердца, разумно ли он употребил свою жизнь? Однако речь идет о чем-то куда более важном, чем мелкие сомнения цеховой морали. Эта проблема затрагивает всю нашу западную цивилизацию.

Ибо, в отличие от других, наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все — и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами. Христианство — религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластной человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают — наряду с эпизодами земной жизни бога — события из истории церкви и святых. Христианство исторично еще и в другом смысле, быть может, более глубоком: судьба человечества — от грехопадения до Страшного суда — предстает в сознании христианства как некое долгое странствие, в котором судьба каждого человека, каждое индивидуальное «паломничество» является в свою очередь отражением; центральная ось всякого христианского размышления, великая драма греха и искупления, разворачивается во времени, т. е. в истории. Наше искусство, наши литературные памятники полны отзвуков прошлого; с уст наших деятелей не сходят поучительные

* Звездочкой отмечены места, комментарии к которым написаны самим М. Блоком.

примеры из истории, действительные или мнимые. Наверное, здесь следовало бы выделить различные оттенки в групповой психологии. Курно давно отметил: французы, всегда склонные воссоздавать картину мира по схемам разума, в большинстве предаются своим коллективным воспоминаниям гораздо менее интенсивно, чем, например, немцы *. Несомненно также, что цивилизации меняют свой облик. В принципе не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. Историкам стоило бы над этим подумать. Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями.

В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии «экзамена совести». Всякий раз, когда наши сложившиеся общества, переживая беспрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали. Почитайте то, что писалось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и теперь: среди смутных тревог настоящего вы непременно услышите голос этой тревоги, примешивающийся к остальным голосам. В разгаре драмы я совершенно случайно услышал его эхо. Это было в июне 1940 г., в день — я хорошо помню — вступления немцев в Париж. В нормандском саду, где наш штаб, лишенный войск, томился в праздности, мы перебирали причины катастрофы: «Надо ли думать, что история нас обманула?» — пробормотал кто-то. Так тревога взрослого, звуча, правда, более горько, смыкалась с простым любопытством подростка. Надо ответить и тому, и другому.

Впрочем, надо еще установить, что означает слово «нужна». Но прежде, чем перейти к анализу, я должен попросить извинения у читателей. Условия моей нынешней жизни, невозможность пользоваться ни одной из больших библиотек, пропажа собственных книг вынуждают меня во многом полагаться на мои заметки и знания. Дополнительное чтение, всякие уточнения, требуемые правилами моей профессии, практику которой я намерен описать, слишком часто для меня недоступны. Удастся ли мне когда-нибудь восполнить эти пробелы? Боюсь, что полностью не удастся никогда. Я могу лишь просить снисхождения. Я сказал бы, что прошу «учесть обстоятельства», если бы это не означало, что я с излишней самоуверенностью возлагаю на себя вину за судьбу.

* * *

В самом деле, если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна. Или, точнее,— ибо всякий ищет себе развлечения,

где ему вздумается, — что она, несомненно, кажется увлекательной большому числу людей. Для меня лично, насколько я себя помню, она всегда была чрезвычайно увлекательна. Как для всех историков, я полагаю. Иначе чего ради они выбрали бы эту профессию? Для всякого человека, если он не круглый дурак, все науки интересны. Но каждый ученый находит только одну науку, заниматься которой ему приятней всего. Обнаружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что называют призванием.

Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе привлечь наше внимание.

Роль этой привлекательности — вначале как зародыша, затем как стимула — была и остается основной. Жажде знаний предшествует простое наслаждение; научному труду с полным сознанием своих целей — ведущий к нему инстинкт; эволюция нашего интеллекта изобилует переходами такого рода. Даже в физике первые шаги во многом были обусловлены старинными «кабинетами редкостей». Мы также знаем, что маленькие радости коллекционирования древностей оказались занятием, которое постепенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково происхождение археологии и, ближе к нашему времени, фольклористики. Читатели Александра Дюма — это, быть может, будущие историки, которым не хватает только тренировки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлинности.

С другой стороны, это очарование отнюдь не меркнет, когда принимаешься за методическое исследование со всеми необходимыми строгостями; тогда, напротив, — все настоящие историки могут это подтвердить — наслаждение становится еще более живым и полным; здесь нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряженнейшей умственной работы. Истории, однако присущи ее собственные эстетические радости, непохожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющей ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение. Особенно тогда, когда удаленность во времени и пространстве окрашивает эту деятельность в необычные тона. Сам великий Лейбниц признался в этом: когда от абстрактных спекуляций в области математики или теодицеи он переходил к расшифровке старинных грамот или старинных хроник имперской Германии, он испытывал, совсем как мы, это «наслаждение от познания удивительных вещей». Не будем же отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережемся в особенности, что я наблюдал кое у кого, стыдиться этого. Глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна удовлетворять наш ум.

И все же если бы история, к которой нас влечет эта ощущаемая почти всеми прелесть, оправдывалась только ею, если бы она была в целом лишь приятным времяпрепровождением, вроде

бриджа или рыбной ловли, стоила ли бы она того труда, который мы затрачиваем, чтобы ее писать? Я имею в виду писать честно, правдиво, раскрывая, насколько возможно, неявные мотивы,— следовательно, с затратой немалых усилий. Игры, писал Андре Жид, ныне для нас уже непозволительны, кроме, добавил он, игры ума. Это было сказано в 1938 г. В 1942 г., когда пишу я, каким дополнительным тягостным смыслом наполняется эта фраза! Что говорить, в мире, который недавно проник в строение атома и только начинает прощупывать тайну звездных пространств, в нашем бедном мире, который по праву гордится своей наукой, но не в состоянии сделать себя хоть немножко счастливым, бесконечные детали исторической эрудиции, способные поглотить целую жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти преступное расточительство сил, если бы в результате мы всего лишь приукрашивали крохами истины одно из наших развлечений. Либо надо рекомендовать не заниматься историей людям, чьи умственные способности могут быть с большей пользой применены в другой области, либо пусть история докажет свою научную состоятельность.

Но тут возникает новый вопрос: что же, собственно, является оправданием умственных усилий?

Надеюсь, в наши дни никто не решится утверждать, вместе с самыми строгими позитивистами, что ценность исследования — в любом предмете и ради любого предмета — измеряется тем, насколько оно может быть практически использовано. Опыт научил нас, что тут нельзя решать заранее — самые абстрактные, на первый взгляд, умственные спекуляции могут в один прекрасный день оказаться удивительно полезными для практики. Но, кроме того, отказывать человечеству в праве искать, без всякой заботы о благоденствии, утоления интеллектуального голода — означало бы нелепым образом изувечить человеческий дух. Пусть homo faber [а] или politicus [б] всегда будут безразличны к истории, в ее защиту достаточно сказать, что она признается необходимой для полного развития homo sapiens [в]. Но даже при таком ограничении вопрос еще полностью не разрешен.

Ибо наш ум по природе своей гораздо меньше стремится узнать, чем понять. Отсюда следует, что подлинными науками он признает лишь те, которым удается установить между явлениями логические связи. Все прочее, по выражению Мальбранша,— это только «всезнайство» («полиматия»). Но всезнайство может, самое большее, быть родом развлечения или же манией; в наши дни, как и во времена Мальбранша, его не признают достойным для ума занятием. А значит, история, независимо от ее практи-

[а] человек-мастер (лат.).
[б] человек политический (лат.).
[в] человек разумный (лат.)

ческой полезности, вправе тогда требовать себе место среди наук, достойных умственного усилия, — лишь в той мере, в какой она сулит нам вместо простого перечисления, бессвязного и почти безграничного, явлений и событий, дать их некую разумную классификацию и сделать более понятными.

Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не поможет нам жить лучше. Как же не испытывать этого чувства с особой силой в отношении истории, чье назначение, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать на пользу человеку, раз ее предмет — это человек и его действия? В самом деле, извечная склонность, подобная инстинкту, заставляет нас требовать от истории, чтобы она служила руководством для наших действий, а потом мы негодуем, подобно тому солдату побежденной армии, чьи слова я привел выше, если история, как нам кажется, обнаруживает свою несостоятельность, не может дать нам указаний. Проблему пользы истории — в узком, прагматическом смысле слова «полезный» — не надо смешивать с проблемой ее чисто интеллектуальной оправданности. Ведь проблема пользы может тут возникнуть только во вторую очередь: чтобы поступать разумно, разве не надо сперва понять? И все же, рискуя дать лишь полуответ на самые настойчивые возражения здравого смысла, проблему пользы нельзя просто обойти.

На эти вопросы, правда, некоторые из наших наставников или тех, кто претендует на эту роль, уже ответили. Только чтобы развенчать наши надежды. Более снисходительные сказали: история бесполезна и безосновательна. Другие, чья строгость не удовлетворяется полумерами, решили: история вредна. «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», — выразился один из них, причем человек известный[1]. Таким приговорам присуща сомнительная привлекательность: они заранее оправдывают невежество. К счастью, у нас еще сохранилась частица любознательности, и апелляция, пожалуй, еще возможна.

Но если нам предстоит пересмотр дела, надо для этого располагать более определенными данными. Ибо есть одно обстоятельство, о котором, видимо, не подумали заурядные хулители истории. В их суждениях немало красноречия и ума, но они по большей части не удосужились точно узнать, о чём рассуждают. Картину наших научных занятий они рисуют не с натуры. От нее отдает скорее риторикой Академии, чем атмосферой рабочего кабинета. А главное — она устарела. В результате весь этот ораторский пыл расходуется на то, чтобы заклинать призрак. Мы в этой книге постараемся поступать иначе. Методы, чью основательность мы попробуем взвесить, будут теми же, что реально применяются в исследовании, вплоть до мелких и тонких технических деталей. Наши проблемы будут теми же самыми проблемами, которые ежедневно ставит перед историком его предмет. Короче, мы же-

лаем прежде всего рассказать, как и почему историк занимается своим делом. А уж потом пусть читатель сам решает, стоит ли им заниматься.

Однако будем осторожны. Задача наша, даже при таком понимании и ограничении, лишь с виду может показаться простой. Возможно, она была бы проста, имей мы дело с одним из прикладных искусств, о которых нетрудно дать полное представление, перечислив один за другим все проверенные временем приемы. Но история — не ремесло часовщика или краснодеревщика. Она — стремление к лучшему пониманию, следовательно — нечто, пребывающее в движении. Ограничиться описанием нынешнего состояния науки — это в какой-то мере подвести ее. Важнее рассказать о том, какой она надеется стать в дальнейшем своем развитии. Но подобная задача вынуждает того, кто хочет анализировать эту науку, в значительной мере основываться на личном выборе. Ведь всякую науку на каждом ее этапе пронизывают разные тенденции, которые невозможно отделить одну от другой без некоего предвосхищения будущего. Нас эта необходимость не отпугивает. В области духовной жизни не менее, чем в любой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит. Но надо быть честным и предупредить читателя.

Кроме того, неминуемо возникающие трудности при изучении методов зависят от того, какой точки на кривой своего развития, всегда несколько ломаной, достигла в данный момент рассматриваемая дисциплина. Лет пятьдесят назад, когда Ньютон еще царствовал безраздельно, было, я думаю, несравненно легче, чем сегодня, изложить всю механику с точностью технического чертежа. А история еще находится в фазе, куда более благоприятной для уверенных суждений.

Ибо история — не только наука, находящаяся в развитии. Это наука, переживающая детство, — как все науки, чьим предметом является человеческий дух, этот запоздалый гость в области рационального познания. Или, лучше сказать: состарившаяся, прозябавшая в эмбриональной форме повествования, долго перегруженная вымыслами, еще дольше прикованная к событиям, наиболее непосредственно доступным, как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода. Она силится теперь проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав в прошлом дань соблазнам легенды или риторики, она хочет отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В некоторых важных проблемах своего метода она пока еще только начинает что-то нащупывать. Вот почему Фюстель де Куланж и до него Бейль, вероятно, были не совсем неправы, называя историю «самой трудной из всех наук».

Но не заблуждение ли это? Как ни туманен во многих отношениях наш путь, мы в настоящее время, думается мне, находимся в лучшем положении, чем наши прямые предшественники, и видим несколько ясней.

Поколения последних десятилетий XIX и первых лет XX века жили, как бы завороженные очень негибкой, поистине контовской схемой мира естественных наук[2]. Распространяя эту чудодейственную схему на всю совокупность духовных богатств, они полагали, что настоящая наука должна приводить путем неопровержимых доказательств к непреложным истинам, сформулированным в виде универсальных законов. То было убеждение почти всеобщее. Но, примененное к исследованиям историческим, оно породило — в зависимости от характера ученых — две противоположные тенденции.

Одни действительно считали возможной науку об эволюции человечества, которая согласовалась бы с этим, так сказать, «всенаучным» идеалом, и не щадя сил трудились над ее созданием. Причем они сознательно шли на то, чтобы оставить за пределами этой науки о людях многие реальные факты весьма человеческого свойства, которые, однако, казались им абсолютно не поддающимися рациональному познанию. Этот осадок они презрительно именовали «происшествием», сюда же относили они бо́льшую часть жизни индивидуума — интимно личную. Такова была, в общем, позиция социологической школы, основанной Дюркгеймом[3]. (По крайней мере, если не принимать во внимание смягчения, постепенно привнесенные в первоначальную жесткость принципов людьми слишком разумными, чтобы — пусть невольно — не поддаться давлению реальности.) Наша наука многим ей обязана. Она научила нас анализировать более глубоко, ограничивать проблемы более строго, я бы даже сказал, мыслить не так упрощенно. О ней мы здесь будем говорить лишь с бесконечной благодарностью и уважением. И если сегодня она уже кажется превзойденной, то такова рано или поздно расплата для всех умственных течений за их плодотворность.

Между тем другие исследователи заняли тогда же совершенно иную позицию. Видя, что историю не втиснуть в рамки физических закономерностей, и вдобавок испытывая смятение (в котором повинно было их первоначальное образование) перед трудностями, сомнениями, необходимостью снова и снова возвращаться к критике источников, они извлекли из всех этих фактов урок трезвого смирения. Дисциплина, которой они посвятили свои талант, казалась им в конечном счете неспособной к вполне надежным выводам в настоящем и не сулящей больших перспектив в будущем. Они видели в ней не столько подлинно научное знание, сколько некую эстетическую игру или, на худой конец, гигиеническое упражнение, полезное для здоровья духа. Их иногда называли «историками, рассказывающими историю»[4], — прозвище для нашей

корпорации оскорбительное, ибо в нем суть истории определяется как бы отрицанием ее возможностей. Что касается меня, то я бы нашел более выразительный символ их общности на определенном этапе истории французской мысли.

Любезный и уклончивый Сильвестр Боннар[5] — если придерживаться тех дат, к которым книга о нем приурочивает его деятельность, — это анахронизм, такой же, как святые античной поры, которых средневековые писатели наивно окрашивали в цвета собственного времени. Сильвестра Боннара (если на миг поверить, что эта вымышленная фигура существовала во плоти), «подлинного» Сильвестра Боннара, родившегося при Первой империи[6], поколение великих романтических историков могло бы считать своим: он разделил бы их трогательный и плодотворный энтузиазм, их несколько простодушную веру в будущее «философии» истории. Но уйдем от эпохи, к которой мы его отнесли, и вернем его тому времени, когда была сочинена его вымышленная биография. Там он будет достоин занять место патрона, цехового святого целой группы историков, бывших примерно духовными современниками его биографа: добросовестных тружеников, но с несколько коротким дыханием. Как у детей, чьи отцы чрезмерно предавались наслаждениям, на их костях как будто сказалась усталость от пышных исторических оргий романтизма; они были склонны принижать себя перед собратьями-учеными и в целом скорее призывали к осторожности, чем к дерзкому порыву. Думаю, не будет слишком злым считать, что их девизом могут служить поразительные слова, которые однажды сорвались с уст человека, весьма, впрочем, острого ума, каким был дорогой мой учитель Шарль Сеньобос[7]: «Задавать себе вопросы очень полезно, *но отвечать на них очень опасно*». Что и говорить, это не речи хвастуна. Но если бы физики не были так дерзки в своей профессии, многого ли достигла бы физика?

Словом, умственная атмосфера нашего времени уже не та. Кинетическая теория газов, эйнштейновская механика, квантовая теория коренным образом изменили то представление о науке, которое еще вчера было всеобщим. Представление это не стало менее высоким — оно сделалось более гибким. На место определенного последние открытия во многих случаях выдвинули бесконечно возможное; на место точно измеримого — понятие вечной относительности меры. Их воздействие сказалось даже на тех людях — я, увы, должен к ним причислить и себя, — кому недостаток способностей или образования позволяет наблюдать лишь издали и как бы опосредствованно за этой великой метаморфозой.

Итак, мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства или неизменные законы повторяемости, может, тем не менее, претендовать на звание научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что определенность и универсальность — это вопрос степени. Мы

уже не чувствуем своим долгом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуальную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо знаем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы знаем: для того, чтобы существовать — продолжая, конечно, подчиняться основным законам разума, — им не придется отказываться от своей оригинальности или ее стыдиться.

Я бы хотел, чтобы среди историков-профессионалов именно молодые приучились размышлять над этими сомнениями, этими постоянными «покаяниями» нашего ремесла. Это будет для них самым верным путем для того, чтобы, сделав сознательный выбор, подготовить себя к разумному направлению своих усилий. Особенно я желал бы, чтобы все больше молодых бралось за историю более широкую и углубленную, судьбу которой мы — а нас с каждым днем все больше — теперь намечаем. Если книга моя этому поможет, я буду думать, что она не вовсе бесполезна. В ней, должен признаться, есть некая доля программы.

Но я пишу не только — и даже не главным образом — для внутреннего цехового употребления. Я не думаю, что следовало бы скрывать сомнения нашей науки от людей просто любознательных. Эти сомнения — наше оправдание. Более того — они придают нашей науке свежесть молодости. Мы не только имеем право требовать по отношению к истории снисходительности, как ко всему начинающемуся. Незавершенное, которое постоянно стремится перерасти себя, обладает для всякого живого ума очарованием не меньшим, чем нечто, успешнейшим образом законченное. Добрый землепашец, сказал Пеги [8], любит пахать и сеять не меньше, чем собирать жатву.

* * *

Это краткое введение мне хотелось бы заключить личным признанием. Любая наука, взятая изолированно, представляет лишь некий фрагмент всеобщего движения к знанию. Выше я уже имел повод привести этому пример: чтобы правильно понять и оценить методы исследования данной дисциплины — пусть самые специальные с виду, — необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно со всей совокупностью тенденций, которые одновременно проявляются в других группах наук. Изучение методов как таковых составляет особую дисциплину, ее специалисты именуют себя философами. На это звание я претендовать не вправе. От подобного пробела в моем первоначальном образовании данный очерк, несомненно, много потеряет как в точности языка, так и в широте кругозора. Могу его рекомендовать лишь таким, каков он есть, т. е. как записи ремесленника, который всегда любил размышлять над своим ежедневным заданием, как блокнот подмастерья, который долго орудовал аршином и отвесом, но из-за этого не возомнил себя математиком.

Глава первая

ИСТОРИЯ, ЛЮДИ И ВРЕМЯ

1. ВЫБОР ИСТОРИКА

Слово «история» очень старо, настолько старо, что порой надоедало. Случалось — правда, редко, — что его даже хотели вычеркнуть из словаря. Социологи дюркгеймовской школы отводят ему определенное место — только подальше, в жалком уголке наук о человеке; что-то вроде подвала, куда социологи, резервируя за своей наукой все, поддающееся, по их мнению, рациональному анализу, сбрасывают факты человеческой жизни, которые им кажутся наиболее поверхностными и произвольными.

Мы здесь, напротив, сохраним за «историей» самое широкое ее значение. Слово это как таковое не налагает запрета ни на какой путь исследования — с обращением преимущественно к человеку или к обществу, к описанию преходящих кризисов или к наблюдению за явлениями более длительными. Само по себе оно не заключает никакого кредо — согласно своей первоначальной этимологии, оно обязывает всего лишь к «исследованию»[1]. Конечно, с тех пор как оно, тому уже более двух тысячелетий, появилось на устах у людей, его содержание сильно изменилось. Такова судьба в языке всех по-настоящему живых слов. Если бы наукам приходилось при каждой из своих побед искать себе новое название — сколько было бы крестин в царстве академий, сколько потерянного времени! Оставаясь безмятежно верной славному своему эллинскому имени, история все же не будет теперь вполне той же историей, которую писал Гекатей Милетский[2], равно как физика лорда Кельвина или Ланжевена — это не физика Аристотеля. Но тогда что же такое история?

Нет никакого смысла помещать в начале этой книги, сосредоточенной на *реальных* проблемах исследования, длинное и сухое определение. Кто из серьезных тружеников обращал внимание на подобные символы веры? Из-за мелочной точности в этих определениях не только упускают все лучшее, что есть в интеллектуальном порыве (я разумею его попытки пробиться к еще не вполне ясному знанию, его возможности расширить свою сферу). Опасней то, что о них так тщательно заботятся лишь для того, чтобы жестче их разграничить. «Этот предмет», — говорит Страж Божеств Терминов, — «или этот подход к нему, наверно, очень соблазнительны. Но берегись, о эфеб, это не История». Разве мы — цеховой совет былых времен, чтобы кодифицировать виды

работ, дозволенных ремесленникам? и, закрыв перечень, предоставлять право выполнять их только нашим мастерам, имеющим патент? * Физики и химики умнее: насколько мне известно, никто еще не видел, чтобы они спорили из-за прав физики, химии, физической химии или — если предположить, что такой термин существует, — химической физики.

И все же верно, что перед лицом необъятной и хаотической действительности историк всегда вынужден наметить участок, пригодный для приложения его орудий; затем он должен в нем сделать выбор, который, очевидно, не будет совпадать с выбором биолога, а будет именно выбором историка. Это — подлинная проблема его деятельности. Она будет сопутствовать нам на всем протяжении нашего очерка.

2. ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

Иногда говорят: «История — это наука о прошлом». На мой взгляд, это неправильно. Ибо, во-первых, сама мысль, что прошлое как таковое способно быть объектом науки, абсурдна. Как можно, без предварительного отсеивания, сделать предметом рационального познания феномены, имеющие между собой лишь то общее, что они не современны нам? Точно так же можно ли представить себе всеобъемлющую науку о вселенной в ее нынешнем состоянии?

У истоков историографии древние анналисты, бесспорно, не терзались подобными сомнениями. Они рассказывали подряд о событиях, единственная связь между которыми состояла в том, что все они происходили в одно время: затмения, град, появление удивительных метеоров вперемешку с битвами, договорами, кончинами героев и царей. Но в этой первоначальной памяти человечества, беспорядочной, как восприятие ребенка, неуклонное стремление к анализу мало-помалу привело к необходимости классификации. Да, верно, язык глубоко консервативен и охотно хранит название «история» для всякого изучения перемен, происходящих во времени... Привычка безопасна — она никого не обманывает. В этом смысле существует история Солнечной системы, ибо небесные тела, ее составляющие, не всегда были такими, какими мы их видим теперь. Эта история относится к астрономии. Существует история вулканических извержений, которая, я уверен, весьма важна для физики земного шара. Она не относится к истории историков. Или, во всяком случае, она к нашей истории относится лишь в той мере, в какой ее наблюдения могут окольным путем оказаться связанными со специфическими интересами истории человечества. Как же осуществляется на практике разделение задач? Конкретный пример, вероятно, поможет нам это понять лучше, чем долгие рассуждения.

В X веке в побережье Фландрии врезался глубокий залив Звин[3]. Затем его занесло песком. К какому разделу знаний отнести изучение этого феномена? Не размышляя, всякий назовет геологию. Механизм наносов, роль морских течений, возможно, изменения уровня океанов — разве не для того и была создана и выпестована геология, чтобы заниматься всем этим? Несомненно. Однако, если приглядеться, дело вовсе не так просто.

Прежде всего, видимо, надо отыскать причины изменения. И наша геология вынуждена задать вопросы, которые, строго говоря, уже не совсем относятся к ее ведомству. Ибо поднятию дна в заливе наверняка способствовали сооружение плотин, каналов, переносы фарватеров. Все это — действия человека, вызванные общественными нуждами и возможные лишь при определенной социальной структуре.

На другом конце цепи — другая проблема: проблема последствий. Неподалеку от котловины залива поднимался город. Это был Брюгге. Город связывал с заливом короткий отрезок реки. Через Звин Брюгге получал и отправлял большую часть товаров, благодаря которым он был — в меньшем, разумеется, масштабе — своего рода Лондоном или Нью-Йорком того времени. Но вот с каждым днем стало все сильней ощущаться обмеление залива. Напрасно Брюгге, по мере того как отступала вода, выдвигал к устью реки свои аванпорты — его набережные постепенно замирали. Конечно, это отнюдь не единственная причина упадка Брюгге. Разве могут явления природные влиять на социальные, если их воздействие не подготовлено, поддержано или обусловлено другими факторами, которые идут от человека? Но в потоке каузальных волн эта причина входит, по крайней мере, в число наиболее эффективных.

Итак, творчество общества, моделирующееся вновь и вновь соответственно нуждам почвы, на которой оно живет, — это, как чувствует инстинктивно каждый человек, факт преимущественно «исторический». То же можно сказать и о судьбе крупного центра товарообмена; этот вполне характерный пример из «топографии знания» показывает, с одной стороны, точку скрещения, где союз двух дисциплин представляется необходимым для любой попытки найти объяснение; с другой стороны, это точка перехода, где, завершив описание феномена и занимаясь отныне только оценкой его последствий, одна дисциплина в какой-то мере окончательно уступает место другой. Что же происходит всякий раз, когда, по-видимому, настоятельно требуется вмешательство истории? — Появление человеческого.

В самом деле, великие наши наставники, такие как Мишле[4] или Фюстель де Куланж, уже давно научили нас это понимать: предметом истории является человек*. Скажем точнее — люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся

грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей*. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча.

Из характера истории как науки о людях вытекает ее особое отношение к способу выражения. История — наука или искусство? Об этом наши прапрадеды времен около 1800 г. любили рассуждать с важностью. Позже, в годах 1890-х, погруженных в атмосферу несколько примитивного позитивизма, специалисты в области метода возмущались, что публика, читая исторические труды, обращает чрезмерное внимание на то, что они называли формой. Искусство против науки, форма против содержания: сколько тяжб, которым место в архивах судов схоластики!

В точном уравнении не меньше красоты, чем в изящной фразе. Но каждой науке свойственна ее особая эстетика языка. Человеческие факты — по сути своей феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от математического измерения. Чтобы хорошо их передать и благодаря этому хорошо понять (ибо можно ли понять до конца то, что не умеёшь высказать?), требуется большая чуткость языка, точность оттенков в тоне. Там, где невозможно высчитать, очень важно внушить. Между выражением реальностей мира физического и выражением реальностей человеческого духа — контраст в целом такой же, как между работой фрезеровщика и работой мастера, изготовляющего лютни: оба работают с точностью до миллиметра, но фрезеровщик пользуется механическими измерительными инструментами, а музыкальный мастер руководствуется главным образом чувствительностью своего уха и пальцев. Ничего путного не получилось бы, если бы фрезеровщик прибегал к эмпирическому методу музыкального мастера, а тот пытался бы подражать фрезеровщику. Но кто станет отрицать, что, подобно чуткости пальцев, есть чуткость слова?

3. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

«Наука о людях», — сказали мы. Это еще очень расплывчато. Надо добавить: «о людях во времени». Историк не только размышляет о «человеческом». Среда, в которой его мысль естественно движется, — это категория длительности.

Конечно, трудно себе представить науку, абстрагирующуюся от времени. Однако для многих наук, условно дробящих его на искусственно однородные отрезки, оно не что иное, как некая мера. Напротив, конкретная и живая действительность, необратимая в своем стремлении, время истории — это плазма, в которой

плавают феномены, это как бы среда, в которой они могут быть поняты. Число секунд, лет или веков, требующееся радиоактивному веществу для превращения в другие элементы, это основополагающая величина для науки об атомах. Но произошла ли какая-то из этих метаморфоз тысячу лет назад, вчера, сегодня или должна произойти завтра, — это обстоятельство, наверно, заинтересовало бы уже геолога, потому что геология — на свой лад дисциплина историческая, для физика же это обстоятельство совершенно безразлично. Зато ни один историк не удовлетворится констатацией факта, что Цезарь потратил на завоевание Галлии 8 лет[5]; что понадобилось 15 лет, чтобы Лютер из эрфуртского новичка-ортодокса вырос в виттенбергского реформатора[6]. Историку гораздо важнее установить для завоевания Галлии его конкретное хронологическое место в судьбах европейских обществ. И, никак не собираясь отрицать того, что духовный кризис, вроде пережитого братом Мартином, связан с проблемой вечности, историк все же решится подробно его описать лишь после того, как с точностью определит этот момент в судьбе самого человека, героя происшествия, и цивилизации, которая была средой для такого кризиса.

Это подлинное время — по природе своей некий континуум. Оно также непрестанное изменение. Из антетизы этих двух атрибутов возникают великие проблемы исторического исследования. Прежде всего проблема, которая ставит под вопрос даже право на существование нашей работы. Возьмем два последовательных периода из чреды веков. В какой мере связь между ними, создаваемая непрерывным течением времени, оказывается более существенной, чем их несходство, которое порождено тем же временем, — иначе, надо ли считать знание более старого периода необходимым или излишним для понимания более нового?

4. ИДОЛ ИСТОКОВ

Никогда не вредно начать с mea culpa[a]. Объяснение более близкого более далеким, естественно, любезное сердцу людей, которые избрали прошлое предметом своих занятий, порой гипнотизирует исследователей. Этот идол племени историков можно было бы назвать «манией происхождения». В развитии исторической мысли для него также был свой, особенно благоприятный, момент.

Если не ошибаюсь, Ренан как-то написал (цитирую по памяти, а потому, боюсь неточно): «Во всех человеческих делах прежде всего достойны изучения истоки». А до него Сент-Бев: «Я с интересом прослеживаю и примечаю все начинающееся». Мысль,

[a] моя вина, ошибка (лат.).

вполне принадлежащая их времени. Слово «истоки» — также. Ответом на «Истоки христианства» стали немного спустя «Истоки современной Франции» [7]. Уж не говоря об эпигонах. Но само это слово смущает, ибо оно двусмысленно.

Означает ли оно только «начала»? Тогда оно, пожалуй, почти ясно. С той оговоркой, однако, что для большинства исторических реальностей само понятие этой начальной точки как-то удивительно неуловимо. Конечно, все дело в определении. В определении, которое, как на грех, слишком часто забывают сформулировать.

Надо ли, напротив, понимать под истоками причины? Тогда у нас будут лишь те трудности, которые непременно (в особенности же в науках о человеке) свойственны каузальным исследованиям.

Но часто возникает контаминация этих двух значений, тем более опасная, что ее в общем-то не очень ясно ощущают. В обиходном словоупотреблении «истоки» — это начало, являющееся объяснением. Хуже того: достаточное для объяснения. Вот где таится двусмысленность, вот где опасность.

Хорошо бы заняться исследованием — и весьма интересным — этого эмбриогенического наваждения. «Я не понимаю вашего смятения, — признавался Баррес утратившему веру священнику. — Что общего между спорами кучки ученых о каком-то древнееврейском слове и моими чувствами? Вполне достаточно атмосферы храмов». И, в свою очередь, Моррас: «Какое мне дело до евангелий четырех темных евреев?» («темных», как я понимаю, должно означать «плебеев», ибо трудно не признать за Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном хотя бы некоторую литературную известность). Эти острословы нас дурачат: ни Паскаль, ни Боссюэ, конечно, так не сказали бы. Можно, разумеется, представить себе религиозный опыт, ничем не обязанный истории. Для чистого деиста достаточно внутреннего озарения, чтобы верить в бога. Но не в бога христиан. Ибо христианство — я об этом уже напоминал — по сути своей религия историческая, т. е. такая, в которой основные догмы основаны на событиях. Перечитайте «Credo» [8]: «Верую в Иисуса Христа..., распятого при Понтии Пилате... и воскресшего из мертвых на третий день». Здесь начала веры являются и ее основаниями.

Такая направленность мыслей, возможно, уместная в определенной форме религиозного исследования, распространилась вследствие неизбежного влияния на другие области знания, где ее оправданность была гораздо более спорной. История, сосредоточенная на происхождении, была и здесь поставлена на службу определению ценностей. Что же еще имел в виду Тэн, исследуя «истоки» Франции своего времени, как не обличение политики, исходившей, по его мнению, из ложной философской концепции человека? Идет ли речь о нашествиях германцев или о завоевании Англии норманнами, к прошлому для объяснения настоящего

прибегали так активно лишь с целью убедительней оправдать или осудить настоящее. Так что во многих случаях демон истоков был, возможно, лишь воплощением другого сатанинского врага подлинной истории — мании судить.

Вернемся, однако, к изучению христианства. Одно дело, когда ищущее себя религиозное сознание приходит к некоему правилу, определяющему его отношение к католической религии, какой та повседневно предстает в наших церквах. Другое дело, когда история объясняет современное католичество как объект наблюдения. Само собой разумеется, что необходимое для правильного понимания современных религиозных феноменов знание их начал недостаточно для их объяснения. Чтобы упростить проблему, не станем даже спрашивать себя, в какой степени вера, под именем, оставшимся неизменным, действительно осталась в существе своем совершенно неизменной. Предположим даже, что традиция нерушима, — надобно еще найти причины ее сохранности. Причины, конечно, человеческие; гипотеза о провиденциальном воздействии не входит в компетенцию науки. Одним словом, вопрос уже не в том, чтобы установить, был ли Иисус распят, а затем воскрес. Нам теперь важно понять, как это получается, что столько людей вокруг нас верят в распятие и воскресение. Приверженность к какому-либо верованию, очевидно, является лишь одним аспектом жизни той группы, в которой эта черта проявляется. Она становится неким узлом, где переплетается множество сходящихся черт, будь то социальная структура или способ мышления. Короче, она влечет за собой проблему человеческой среды в целом. Из желудя рождается дуб. Но он становится и остается дубом лишь тогда, когда попадает в условия благоприятной среды, а те уже от эмбриологии не зависят.

* * *

История религии приведена здесь лишь в качестве примера. К какому бы роду человеческой деятельности ни обращалось исследование, искателей истоков подстерегает все то же заблуждение: смешение преемственной связи с объяснением.

В общем это уже было иллюзией прежних этимологов, которым казалось, что они все объяснили, когда, толкуя современное значение слова, приводили самое древнее из им известных; когда они, например, доказывали, что «бюро» первоначально обозначало некую ткань, а «тембр» — род барабана. Как будто главная проблема не в том, чтобы узнать, как и почему произошел сдвиг значения. Как будто нынешнее слово, так же как его предшественник, не имеет в языке особой функции, определяемой современным состоянием словаря, которое в свою очередь определяется социальными условиями данного момента. В министерских кабинетах «бюро» означает «бюрократию». Когда я спрашиваю в почтовом окошке марку (timbre — «тембр»), для того чтобы я мог так упот-

ребить это слово, потребовалось — наряду с постепенно развивавшейся организацией почтовой службы — техническое изменение, решающее для дальнейших путей обмена мыслями и заменившее приложение печати приклеиванием бумажки с рисунком. Такое словоупотребление стало возможным лишь потому, что разные значения древнего слова, специализировавшись, разошлись очень далеко, и нет никакой опасности спутать марку (timbre), которую я собираюсь наклеить на конверт, и, например, тембр инструмента, чистоту которого мне расхваливает продавец музыкальных инструментов.

«Истоки феодального режима», — говорят нам. Где их искать? Одни отвечают — «в Риме», другие — «в Германии» [9]. Причины этих миражей понятны. Там и здесь действительно существовали определенные обычаи — отношения клиентелы, военные дружины, держание как плата за службу, — которые последующим поколениям, жившим в Европе в так называемую эпоху феодализма, приходилось поддерживать. Впрочем, с немалыми изменениями. Прежде всего в этих краях употреблялись слова: «бенефиций» [10] (у латинян) и «феод» (у германцев), которыми пользовались последующие поколения, постепенно и безотчетно вкладывая в них совершенно новое содержание. Ибо, к великому отчаянию историков, у людей не заведено всякий раз, как они меняют обычаи, менять словарь. Конечно, установленные факты чрезвычайно интересны. Но можно ли полагать, что они исчерпывают проблему причин? Европейский феодализм в своих характерных учреждениях не был архаическим сплетением пережитков. Он возник на определенном этапе развития и был порождением всей социальной среды в целом.

Сеньобос как-то сказал: «Я полагаю, что революционные идеи XVIII века... происходят от английских идей XVII века». Имел ли он в виду, что французские публицисты эпохи Просвещения, прочитав некие английские сочинения предыдущего века или косвенно подпав под их влияние, усвоили из них свои политические принципы? В этом можно было бы с ним согласиться. Однако при допущении, что в эти иноземные идеи нашими философами со своей стороны не было внесено ничего оригинального — ни в интеллектуальное содержание, ни в эмоциональную окраску. Но даже при таком, достаточно произвольном, сведении к факту заимствования история этого умственного течения будет объяснена еще далеко не полностью. Останется вечная проблема: почему заимствование произошло именно в данное время, не раньше и не позже? Заражение предполагает наличие двух условий: генерации микробов и, в момент заболевания, — благоприятной «почвы». Короче, исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени. Это верно для всех этапов эволюции. Для того, который мы переживаем, как и для всех прочих.

Об этом задолго до нас сказано в арабской пословице: «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов». Забывая об этой восточной мудрости, наука о прошлом нередко себя дискредитировала.

5. ГРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОГО И НЕСОВРЕМЕННОГО

Надо ли думать, однако, что раз прошлое не может полностью объяснить настоящее, то оно вообще бесполезно для его объяснения? Поразительно, что этот вопрос может возникнуть и в наши дни.

Вплоть до ближайшей к нам эпохи на него действительно заранее давался почти единодушный ответ. «Кто будет придерживаться только настоящего, современного, тому не понять современного», — писал в прошлом веке Мишле в начале своей прекрасной книги «Народ»[11], дышавшей, однако, всеми злободневными страстями. К благодеяниям, которых он ждет от истории, уже Лейбниц причислял «истоки современных явлений, найденных в явлениях прошлого», ибо, добавлял он, «действительность может быть лучше всего понята по ее причинам» *.

Но после Лейбница, после Мишле произошли великие изменения: ряд революций в технике непомерно увеличил психологическую дистанцию между поколениями. Человек века электричества или авиации чувствует себя — возможно, не без некоторых оснований — очень далеким от своих предков. Из этого он легко делает уже, пожалуй, неосторожный вывод, что он ими больше не детерминирован. Добавьте модернистский уклон, свойственный всякому инженерному мышлению. Есть ли необходимость вникать в идеи старика Вольта о гальванизме, чтобы запустить или отремонтировать динамомашину? По аналогии, явно сомнительной, но естественно возникающей в умах, находящихся под влиянием техники, многие даже думают, что для понимания великих человеческих проблем наших дней и для попытки их разрешения изучение проблем прошлого ничего не дает. Также и историки, не всегда это сознавая, погружены в модернистскую атмосферу. Разве не возникает у них чувство, что и в их области граница, отделяющая недавнее от давнего, постоянно передвигается? Что представляет собой для экономиста наших дней система стабильных денег и золотого эталона, которая вчера еще фигурировала во всех учебниках политической экономии как норма для современности — прошлое, настоящее или историю, уже порядком отдающую плесенью? За этими паралогизмами[12] легко, однако, обнаружить комплекс менее несостоятельных идей, чья хотя бы внешняя простота покорила некоторые умы.

* * *

Полагают, что в обширном потоке времени можно выделить некую фразу. Относительно недалекая от нас в своей исходной точке, она захватывает другим концом нынешние дни. В ней, как нам кажется, в ее наиболее характерных чертах социального или политического состояния, в материальном оснащении, в общем духе цивилизации, нет ничего обнаруживающего глубокие отличия от мира, с которым мы связаны сейчас. Одним словом, она представляется отмеченной по отношению к нам весьма высоким коэффициентом «современности». Отсюда ей приписывается особая честь (или недостаток!) — ее не смешивают со всем остальным прошлым. «С 1830 года — это уже не история», — говаривал один из наших лицейских учителей, который был очень стар, когда я был очень молод, — «это политика». Теперь мы уже не скажем: «с 1830 года» — Три Славных Дня [13] с тех пор тоже состарились — и не скажем: «это политика». Скорее произнесем почтительно: «это социология», или с меньшим уважением: «это журналистика». Однако многие охотно повторяют: с 1914 года или с 1940 года — это уже не история. Причем полного согласия насчет причин такого остракизма нет.

Одни, полагая, что события к нам ближайшие из-за этой близости не поддаются беспристрастному изучению, желают всего лишь уберечь целомудренную Клио [14] от слишком жгучих прикосновений. Так, видимо, думал мой старый учитель. Разумеется, в этом — недоверие к нашей способности владеть своими нервами. А также забвение того, что как только в игру вмешиваются страсти, граница между современным и несовременным вовсе не определяется хронологией. Так ли уж был неправ наш славный директор лангедокского лицея, где я впервые дебютировал на преподавательском поприще, когда своим зычным голосом командира над школярами предупреждал меня: «Девятнадцатый век — тема здесь неопасная. Но когда затронете религиозные войны [15], будьте сугубо осторожны». И правда, у человека, который, сидя за письменным столом, неспособен оградить свой мозг от вируса современности, токсины этого вируса, того и гляди, профильтруются даже в комментарии к «Илиаде» или к «Рамаяне» [16].

Другие ученые, напротив, справедливо полагают, что настоящее вполне доступно научному исследованию. Но это исследование они предоставляют дисциплинам, сильно отличающимся от тех, что имеют своим объектом прошлое. Они, например, анализируют и пытаются понять современную экономику с помощью наблюдений, ограниченных во времени несколькими десятилетиями. Короче, они рассматривают эпоху, в которую живут, как отделенную от предыдущих слишком резкими контрастами, что вынуждает их искать ее объяснения в ней самой. Таково же инстинктивное убеждение многих просто любознательных людей. Исто-

рия более или менее отдаленных периодов привлекает их только как безобидное развлечение для ума. С одной стороны, кучка антикваров, по какой-то мрачной склонности занимающихся сдиранием пелен с мертвых богов; с другой, социологи, экономисты, публицисты — единственные исследователи живого...

6. ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОШЛОГО

Если приглядеться, то привилегия самопонимания, которую приписывают настоящему, зиждется на ряде довольно странных постулатов. Прежде всего предполагается, что условия человеческой жизни претерпели за одно-два поколения изменение не только очень быстрое, но и тотальное, так что ни одно мало-мальски старое учреждение, ни один традиционный аспект поведения не избежали влияния революций в науке или технике. При этом, однако, забывают о силе инерции, присущей множеству социальных явлений.

Человек тратит время на усовершенствования, а потом становится их более или менее добровольным пленником. Кого из проезжавших по нашему Северу и наблюдавших тамошний пейзаж не поражали странные контуры полей? Несмотря на изменения, которые в течение ряда веков происходили в первоначальной схеме земельной собственности, вид этих полос, непомерно узких и вытянутых, разрезающих пахотную землю на несметное множество парцелл, и сегодня повергает агронома в смущение. Затраты лишних усилий, обусловленные подобным расположением, неудобства при эксплуатации — факт бесспорный. Как его объяснить? Гражданским кодексом [17] и его неизбежными следствиями, отвечали вечно спешащие публицисты. Измените, добавляли они, наши законы о наследовании, и зло будет полностью уничтожено. Если бы они лучше знали историю, если бы они к тому же лучше вникли в мышление крестьянина, формировавшееся веками практической деятельности, они бы не считали решение таким простым. Действительно, эта чересполосица восходит к временам столь древним, что до сих пор ни один ученый не сумел удовлетворительно ее объяснить; вероятно в ней больше повинны землепашцы эпохи дольменов [18], чем законодатели Первой империи. Неверное определение причины здесь, как почти всегда, мешает найти лекарство. Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку действовать в настоящем.

Более того. Если бы общество полностью детерминировалось лишь ближайшим предшествующим периодом, оно, даже обладая самой гибкой структурой, при таком резком изменении лишилось бы своего костяка; при этом надо еще допустить, что общение между поколениями происходит, я бы сказал, как в шествии

гуськом, т. е. что дети вступают в контакт со своими предками только через посредство родителей.

Но ведь так не бывает, даже если говорить о чисто устных контактах. Взгляните, к примеру, на наши деревни. Условия труда заставляют отца и мать почти весь день находиться вдали от дома, и дети воспитываются в основном дедушками и бабушками. Итак, при каждом новом этапе формирования сознания делается шаг вспять — в обход поколения, являющегося главным носителем изменений, умы наиболее податливые объединяются с наиболее отвердевшими. Отсюда идет, несомненно, традиционализм, присущий столь многим крестьянским обществам. Случай этот совершенно ясен. И он не единственный. Естественный антагонизм между возрастными группами имеет место в основном между группами смежными — молодежь часто бывает обязана урокам стариков, — во всяком случае не меньше, чем урокам людей среднего возраста.

* * *

Еще большее влияние оказывает письменность, способствуя передаче идей поколениям, порой весьма отдаленным, т. е. по сути поддерживая преемственность цивилизации. Лютер, Кальвин, Лойола — это, несомненно, люди прошлого, люди XVI века, и историк, желающий их понять и сделать понятными для других, прежде всего должен поместить их в среду, окунуть в умственную атмосферу того времени, когда существовали духовные проблемы, уже, собственно, не являющиеся нашими проблемами. Но кто решится сказать, что для правильного понимания современного мира проникновение в суть протестантской реформы или католической контрреформации, отделенных от нас несколькими столетиями, менее необходимо, чем изучение многих других умственных или эмоциональных течений, пусть даже более близких во времени, но и более эфемерных?

Ошибка здесь в общем ясна, и, чтобы ее избежать, наверно, достаточно ее сформулировать. Суть в том, что эволюцию человечества представляют как ряд коротких и глубоких рывков, каждый из которых охватывает всего лишь несколько человеческих жизней. Наблюдение, напротив, убеждает, что в этом огромном континууме великие потрясения способны распространяться от самых отдаленных молекул к ближайшим. Что мы скажем о геофизике, который, ограничив свои расчеты километрами, решит, что влияние Луны на наш земной шар гораздо значительней, чем влияние Солнца? Во времени, как и во вселенной, действие какой-либо силы определяется не только расстоянием.

Наконец, можно ли считать, что среди явлений, отошедших в прошлое, именно те, которые как будто перестали управлять настоящим, — исчезнувшие без следа верования, неудавшиеся социальные формы, отмершая техника — бесполезны для понимания

настоящего? Это означало бы забыть, что нет истинного познания без шкалы сравнения. Конечно, при условии, что сопоставление захватывает факты хоть и различные, но вместе с тем родственные. Никто не станет спорить, что здесь именно такой случай.

Разумеется, мы теперь уже не считаем, что, как писал Макиавелли и как полагали Юм или Бональд, во времени «есть по крайней мере нечто одно неизменное — человек». Мы уже знаем, что человек также сильно изменился — и его дух и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. Да и могло ли быть иначе? Духовная атмосфера претерпела глубокие изменения, гигиенические условия, питание изменились не меньше. И все же, по-видимому, в человеческой природе и в человеческих обществах существует некий постоянный фонд. Без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл. Можем ли мы понять этих людей, изучая их только в их реакциях на частные обстоятельства определенного момента? Даже чтобы понять, чем они являются в этот именно момент, данных опыта будет недостаточно. Множество возможностей, до поры до времени мало проявляющихся, но каждый миг способных пробудиться, множество стимулов, более или менее бессознательных, индивидуальных или коллективных настроений останутся в тени. Данные единичного опыта всегда бессильны для выявления его же компонентов и, следовательно, для его истолкования.

7. ПОНЯТЬ ПРОШЛОЕ С ПОМОЩЬЮ НАСТОЯЩЕГО

Общность эпох настолько существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего. Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна[19]. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши. Начнем с него». Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю жизнь». Способность к восприятию живого — поистине главное качество историка. Пусть не вводит нас в заблуждение некая сухость стиля — этой способностью отличались самые великие среди нас: Фюстель, Мэтланд[20], каждый на свой лад (эти были более строгими), не менее, чем Мишле. И, быть может, она-то и является тем даром фей, который невозможно приобрести, если не получил его в колыбели. Однако ее надо непрестанно упражнять и развивать. Каким образом? Пример этому дал сам Пиренн — постоянным контактом с современностью. Ибо в ней, в современности, непосредственно доступен

нашим чувствам трепет человеческой жизни, для восстановления которого в старых текстах нам требуется большое усилие воображения. Я много раз читал, часто сам рассказывал истории о войне и сражениях. Знал ли я действительно — в полном смысле слова «знать», — знал ли я нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для народа — поражение?[21] Прежде чем я сам летом и осенью 1918 г. вдохнул радостный воздух победы (надеюсь, что мне придется еще раз вдохнуть его полной грудью, но, увы, запах его вряд ли будет таким же), знал ли я подлинный смысл этого прекрасного слова? По правде сказать, мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся для характеристики исчезнувших состояний души, отмерших социальных форм, — разве имели бы они для нас какой-то смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей? Это инстинктивное смешение гораздо разумней заменить сознательным и контролируемым наблюдением. Думается, что великий математик будет не менее велик, если пройдет по миру, в котором он живет, с закрытыми глазами. Но эрудит, которому неинтересно смотреть вокруг себя на людей, на вещи и события, вероятно, заслуживает, чтобы его, как сказал Пиренн, назвали антикварным орудием. Ему лучше отказаться от звания историка.

* * *

Не всегда, однако, дело лишь в воспитании исторической чуткости. Бывает, что знание настоящего в каком-то плане еще более непосредственно помогает пониманию прошлого.

Действительно, было бы грубой ошибкой полагать, что порядок, принятый историками в их исследованиях, непременно должен соответствовать порядку событий. При условии, что история будет затем восстановлена в реальном своем движении, историкам иногда выгодней начать ее читать, как говорил Мэтланд, «наоборот». Ибо для всякого исследования естественно идти от более известного к более темному. Конечно, далеко не всегда свидетельства документов проясняются по мере того, как мы приближаемся к нашему времени. Мы несравненно хуже осведомлены, например, о X в. нашей эры, чем об эпохе Цезаря или Августа. Однако в большинстве случаев наиболее близкие к нам периоды совпадают с зонами относительной ясности. Добавьте, что, механически двигаясь от дальнего к ближнему, мы всегда рискуем потерять время на изучение начал или причин таких явлений, которые, возможно, окажутся на поверку воображаемыми. Даже славнейшие из нас совершали порой странные ошибки, отвергая в своей практике регрессивный метод тогда и там, где он был нужен.

Фюстель де Куланж сосредоточился на «истоках» феодальных учреждений, о которых он, боюсь, имел довольно смутное представление, и на зачатках серважа[22], который он, зная лишь из вторых рук, видел в совершенно ложном свете.

Вовсе не так уж редко, как обычно думают, случается, что для достижения полной ясности надо в исследовании доходить вплоть до нынешних дней. В некоторых своих основных чертах наш сельский пейзаж, как мы уже видели, восходит к эпохам чрезвычайно далеким. Но чтобы истолковать скудные документы, позволяющие нам проникнуть в этот туманный генезис, чтобы правильно поставить проблемы, чтобы их хотя бы представить себе, надо выполнить одно важнейшее условие: наблюдать, анализировать пейзаж современный. Он сам по себе дает перспективу целого, из которой необходимо исходить. Не для того, конечно, чтобы рассматривать этот облик как раз навсегда застывший и навязывать его каждому этапу прошлого, встречающемуся при движении к верховьям потока времени. Здесь, как и повсюду, историк хочет уловить изменение. Но в фильме, который он смотрит, целым остался только последний кадр. Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва раскручивать пленку в направлении, обратном тому, в котором шла съемка.

Стало быть, есть только одна наука о людях во времени, наука, в которой надо непрестанно связывать изучение мертвых с изучением живых. Как ее назвать? Я уже говорил, почему древнее слово «история» мне кажется наиболее емким, наименее ограничивающим; оно также более всего насыщено волнующими воспоминаниями о многовековом труде. Следовательно, оно наилучшее. Если мы, вопреки известным предрассудкам — впрочем, куда менее старым, чем оно, — расширяем его до познания настоящего, то при этом — надо ли тут оправдываться? — мы не преследуем никаких узко корпоративных интересов. Жизнь слишком коротка, знания приобретаются слишком долго, чтобы даже самый поразительный гений мог надеяться освоить тотальный опыт человечества. Современная история всегда будет иметь своих специалистов, так же как каменный век или египтология. Мы только просим помнить, что в исторических исследованиях нет места автаркии. Изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину, даже в собственной области; единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи, — это всемирная история.

Всякая наука, однако, определяется не только своим предметом. Ее границы в такой же мере могут быть установлены характером присущих ей методов. Остается задать вопрос, не следует ли придерживаться в корне различной техники исследования в зависимости от того, приближаемся мы или удаляемся от настоящего момента. Это и есть проблема исторического наблюдения.

Глава вторая

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

1. ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Что имеют в виду под изучением прошлого?

Наиболее очевидные особенности изучения истории, понимаемой в этом ограниченном и обиходном смысле, описывались неоднократно. Историк как таковой, говорят нам, начисто лишен возможности лично установить факты, которые он изучает. Ни один египтолог не видел Рамсеса[1]. Ни один специалист по наполеоновским войнам не слышал пушек Аустерлица. Итак, о предшествовавших эпохах мы можем говорить лишь на основе показаний свидетелей. Мы играем роль следователя, пытающегося восстановить картину преступления, при котором сам он не присутствовал, или физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя. Одним словом, в отличие от познания настоящего, познание прошлого всегда будет «непрямым».

Что в этих замечаниях есть доля правды, никто не станет отрицать. Однако они еще нуждаются в существенных уточнениях.

Представим себе полководца, одержавшего победу и тут же начавшего собственноручно писать о ней отчет. Он составил план сражения. Он этим сражением управлял. Благодаря незначительной территории (чтобы в нашей игре были пущены в ход все козыри, мы воображаем стычку старых времен, происходящую на небольшом пространстве) он мог наблюдать всю схватку — она развертывалась на его глазах. И все же не будем обольщаться: многие существенные эпизоды ему придется описывать по донесениям своих помощников. Но и тогда он, став рассказчиком, будет, вероятно, вести себя так же, как за несколько часов до того, во время боя. Когда ему приходилось ежеминутно направлять движение своих отрядов, сообразуясь с изменчивым ходом баталии, какая информация, по-вашему, была для него полезней: картины боя, более или менее смутно видимые в подзорную трубу, или же рапорты, которые доставляли ему, скача во весь опор, нарочные и адъютанты? Изредка полководец и впрямь может самолично быть полноценным свидетелем своих действий. Но даже в нашей столь благоприятной гипотетической ситуации остается ли хоть что-нибудь от этого пресловутого прямого наблюдения, мнимой привилегии изучения настоящего?

Дело в том, что непосредственное наблюдение — почти всегда иллюзия, и как только кругозор наблюдателя чуть-чуть расширится, он это понимает. Все увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими. Если я экономист, я изучаю движение товарооборота в данный месяц, в данную неделю; делаю я это на основе статистических сводок, которые составлял не я. Если я исследую животрепещущее настоящее, я принимаюсь зондировать общественное мнение по главным проблемам дня: я ставлю вопросы, записываю, сопоставляю и классифицирую ответы. Что же составят они, как не более или менее неуклюже исполненную картину того, что мои собеседники, как им кажется, самостоятельно думают, или же ту картину мыслей, какую они хотят мне представить. Они суть объекты моего опыта. Но если физиолог, анатомирующий морскую свинку, видит собственными глазами язву или аномалию, которую ищет, то я знакомлюсь с состоянием духа моих «людей с улицы» лишь по картине, которую им самим угодно мне представить. Ибо в хаотическом сплетении событий, поступков и слов, из которых складывается судьба некоей группы людей, индивидуум может обозреть лишь маленький уголок, он жестко ограничен своими пятью чувствами и собственным вниманием. Кроме того, он знает непосредственно лишь собственное состояние ума; всякое изучение человечества, каков бы ни был избранный для этого момент, всегда будет черпать бо́льшую часть своего содержания в свидетельствах других людей. Исследователю настоящего досталась в этом смысле не намного лучшая доля, чем историку прошлого.

Но надо ли считать, что наблюдение прошлого, даже весьма отдаленного, всегда до такой степени является «непрямым»?

Легко понять, почему впечатление об этой отдаленности объекта познания от исследователя царило в умах многих теоретиков истории. Дело в том, что они прежде всего имели в виду историю событий, эпизодов, т. е. такую историю, в которой (верно это или неверно, пока еще не время говорить) придается крайняя важность точному воспроизведению действий, речей или позиций нескольких личностей, участвующих в сцене, где, как в классической трагедии, сосредоточены все движущие силы кризисного момента: день революции, сражение, дипломатическая встреча. Рассказывают, что 2 сентября 1792 г. голову принцессы Ламбаль пронесли на острие пики под окнами Тампля[2], где находилась королевская семья. Что это — правда или вымысел? Пьер Карон, написавший удивительно добросовестную книгу о сентябрьской резне[3], не решается высказать свое мнение. Если бы ему выпало самому наблюдать с одной из башен Тампля этот жуткий кортеж, он, наверное, знал бы, как было дело. При том условии, что он, сохранив в этих обстоятельствах — что вполне правдоподобно — хладнокровие историка и справедливо не доверяя своей памяти, позаботился бы вдобавок тут же записать свои наблюдения. В по-

добном случае историк, несомненно, чувствует себя по отношению к честному очевидцу события в несколько унизительном положении. Он как бы находится в хвосте колонны, где приказы передаются от головы по рядам. Место не слишком удачное для получения правильной информации. Мне пришлось наблюдать во время ночного перехода такой случай. По рядам было передано: «Внимание, воронка от снаряда налево!». Последний в колонне услышал уже: «Шагом марш налево!», сделал шаг в сторону и провалился.

Есть, однако, и другие ситуации. В стенах сирийских крепостей, сооруженных за несколько тысячелетий до рождества Христова, нынешние археологи нашли совершенно нетронутые сосуды, наполненные скелетами детей. Трудно предположить, что эти кости оказались тут случайно; очевидно, мы имеем дело со следами человеческих жертвоприношений, совершенных во время строительства и как-то с ним связанных. О верованиях, нашедших себе выражение в подобных ритуалах, нам придется, конечно, разузнавать в источниках того времени, если они существуют, или же рассуждать по аналогии, основываясь на других свидетельствах. Можно ли ознакомиться с верой, которую не разделяешь, иначе чем с чужих слов? Так обстоит дело, повторяю, со всеми явлениями сознания, когда они нам чужды. Что ж до самого факта жертвоприношения, тут, напротив, наше положение совсем иное. Конечно, мы этот факт, строго говоря, не устанавливаем чисто непосредственным восприятием; равно как геолог — факт существования аммонита, окаменелости которого он находит; равно как физик — движение молекул, воздействие которого он обнаруживает в броуновском движении. Но весьма простое рассуждение, исключающее возможность иного толкования, позволяет нам перейти от бесспорно установленного объекта к факту, доказательством которого служит этот объект. Такой ход примитивного истолкования в целом весьма близок инстинктивным умственным операциям, без которых никакое ощущение не может стать восприятием; в этом случае между объектом и нами нет ничего, что бы требовало посредничества другого наблюдателя. Специалисты в области метода обычно понимали под непрямым познанием такое, которое доходит до ума исследователя по каналам других человеческих умов. Определение, пожалуй, не слишком удачное; оно указывает только на присутствие посредника — но почему это звено должно быть непременно человеческой породы? Не будем, однако, спорить о словах, и примем общеупотребительное значение. В этом смысле наши знания о жертвах, захороненных в стенах сирийских крепостей, никак нельзя назвать непрямыми.

Многие другие следы прошлого также доступны прямому восприятию. Это почти все огромное количество неписьменных свидетельств и даже большое число письменных. Если бы известней-

шие из теоретиков нашей методологии не относились к приемам, присущим археологии, со столь странным и высокомерным безразличием, если бы они в плане документальном не были заворожены рассказом, как в плане фактическом — происшествием, они бы наверняка не спешили отбросить нас к наблюдению, всегда от кого-либо или от чего-либо зависящему. В Халдее, в царских гробницах Ура[4] были найдены бусины из амазонита. Поскольку ближайшие его залежи находятся в центре Индии или в окрестностях Байкала, напрашивается вывод, что, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, города Нижнего Евфрата поддерживали торговые отношения с весьма далекими краями. К индукции можно относиться по-разному. Но считать ли ее надежной или нет, здесь, бесспорно, индукция самого классического типа; она основана на установлении факта, и ничьи словесные показания тут не замешаны.

Однако материальные свидетельства — далеко не единственные, обладающие привилегией непосредственной доступности. И кремень, обточенный ремесленником каменного века, и особенность языка, и включенная в текст правовая норма, и зафиксированный в ритуальной книге или изображенный на стеле обряд — все это реальности, которые мы воспринимаем сами и толкуем с помощью чисто индивидуального умственного усилия. Здесь нет надобности призывать в качестве толмача ум другого. Вернемся к нашему недавнему сравнению: вовсе неверно, будто историк обречен узнавать о том, что делается в его лаборатории, только с чужих слов. Да, он является уже тогда, когда опыт завершен. Но, если условия благоприятствуют, в результате опыта наверняка получился осадок, который вполне можно увидеть собственными глазами.

* * *

Итак, определять бесспорные особенности исторического наблюдения следует другими терминами, менее двусмысленными и более содержательными.

Специфическая его черта в том, что познание всех фактов человеческой жизни в прошлом и большинства из них в настоящем должно быть, по удачному выражению Франсуа Симиана, изучением по следам. Идет ли речь о костях, замурованных в сирийской крепости, или о слове, чья форма или употребление указывают на некий обычай, или о письменном рассказе очевидца какой-либо сценки из давних или новых времен, — что́ понимаем мы под словом «источник», если не «след», т. е. доступный нашим чувствам знак, оставленный феноменом, который сам по себе для нас недоступен? Не беда, если сам объект по природе своей недоступен для ощущения, как атом, чья траектория становится видимой в трубке Крукса, или если он под воздействием времени только теперь стал недоступным, как папоротник, истлевший за

тысячелетия и оставивший отпечаток на куске каменного угля, или же церемонии, давно ушедшие в прошлое, которые изображены и комментированы на стенах египетских храмов. В обоих случаях процесс восстановления одинаков, и все науки дают тому ряд примеров.

Но из того, что многим исследователям во всех науках приходится воспринимать какие-то главные феномены лишь через посредство других, производных, вовсе не следует, что приемы, к которым они прибегают, совершенно одинаковы. Одни, как физики, имеют возможность сами провоцировать появление таких следов. Другие, напротив, вынуждены ждать, пока эти следы предоставит им прихотливая игра сил, на которые они не имеют никакого влияния. В том и другом случае положение ученых, очевидно, будет совершенно различным. А как же с наблюдателями фактов человеческих? Тут вступает в свои права проблема датировки.

Кажется очевидным, что сравнительно сложные человеческие факты невозможно воспроизвести или произвольно направлять (к этому, впрочем, нам придется еще вернуться). Существует, правда, психологический эксперимент — начиная с самых элементарных измерений ощущений до утонченнейших интеллектуальных и эмоциональных тестов. Но его, как правило, применяют только к индивидууму. Коллективная же психология почти не поддается эксперименту. Невозможно — да на это никто бы и не отважился, даже если б мог, — умышленно вызвать панику или взрыв религиозного энтузиазма. Однако, когда изучаемые феномены принадлежат настоящему или совсем недавнему прошлому, наблюдатель, хоть он и неспособен заставить их повториться или повлиять на их развитие, не так безоружен по отношению к их следам. Он может буквально вызвать к жизни некоторые из них. А именно — сообщения очевидцев.

5 декабря 1805 г. события Аустерлица были столь же неповторимы, как и сегодня. А если спросить, как действовал во время сражения тот или иной полк? Пожелай Наполеон через несколько часов после прекращения огня осведомиться об этом, ему стоило бы сказать одно слово, и кто-нибудь из офицеров представил бы ему отчет. Неужто никогда не была составлена такого рода реляция, доступная всем или секретная? А те, что были написаны, неужто они затерялись? Напрасно мы будем задавать этот вопрос — он, скорее всего, останется без ответа, как и многие другие, гораздо более важные. Кто из историков не мечтал о возможности, подобно Улиссу [5], накормить тени кровью, чтобы они заговорили? Но чудеса «неквии» [6] теперь уже не в моде, и у нас нет другой машины времени, чем та, что работает в нашем мозгу на сырье, доставляемом прошлыми поколениями.

Без сомнения, не следует преувеличивать и преимущества изучения настоящего. Вообразим, что все офицеры, все солдаты полка погибли, или, еще проще, что среди уцелевших не нашлось

очевидца, чья память и внимательность были бы достойны доверия. Наполеон тогда оказался бы не в лучшем положении, чем мы. Всякий, кто являлся участником, пусть самым скромным, какого-нибудь крупного события, хорошо это знает; случается, что важнейший эпизод невозможно восстановить уже спустя несколько часов. Прибавьте, что не все следы одинаково поддаются последующему воспроизведению. Если по халатности таможни не регистрировали ежедневно в течение ноября 1942 г. ввоз и вывоз товаров, у меня в декабре практически нет данных для оценки объема внешней торговли за прошедший месяц. Короче, между исследованием далекого и исследованием совсем близкого различие опять-таки лишь в степени. Оно не затрагивает основы методов. Но из-за этого оно не становится менее существенным, и мы должны сделать отсюда надлежащие выводы.

Прошлое, по определению, есть некая данность, которую уже ничто не властно изменить. Но изучение прошлого развивается, непрестанно преображается и совершенствуется. Кто в этом усомнится, пусть вспомнит, что произошло в течение немногим больше века на наших глазах. Огромные массивы человечества вышли из мглы. Египет и Халдея сбросили свои саваны. Изучение мертвых городов Центральной Азии позволило нам узнать языки, на которых уже никто не умел разговаривать, и религии, давным-давно угасшие. На берегах Инда поднялась из могилы неведомая цивилизация. Работа идет, изобретательные исследователи, все усердней роющиеся в библиотеках, копающие в древних землях все новые траншеи, не одиноки в своем труде, и, возможно, это еще не самый эффективный способ обогатить наше представление о временах минувших.

Возникли приемы исследования, прежде неизвестные. Мы теперь умеем лучше, чем наши предшественники, искать в языках ответы о нравах и в орудиях труда — о самих тружениках. А главное, мы научились глубже анализировать социальные явления. Изучение верований и народных обрядов делает только первые шаги. История экономики, о которой Курно, перечисляя различные аспекты исторического исследования, и понятия еще не имел, только начинает складываться. Все это несомненно. Все это открывает нам более обширные перспективы. Но не безграничные. Нам отказано в надежде на действительно беспредельное развитие, которое внушает наука вроде химии, способной даже создать свой собственный объект. Дело в том, что разведчики прошлого — люди не вполне свободные. Их тиран — прошлое. Оно запрещает им узнавать о нем что-либо, кроме того, что оно само, намеренно или ненамеренно, им открывает. Мы никогда не сумеем дать статистику цен в меровингскую эпоху[7], так как ни один документ не отразил эти цены с достаточной полнотой. Мы также никогда не проникнем в образ мыслей людей Европы XI в. в такой же мере, как в мышление современников Паскаля или Вольтера; ведь

от тех не сохранилось ни частных писем, ни исповедей, и лишь о некоторых из них мы знаем по плохим стилизованным биографиям. Из-за этого пробела немалая часть нашей истории неизбежно принимает несколько безжизненный облик истории мира без индивидуумов.

Но не будем чрезмерно сетовать. В подчинении неумолимой судьбе нам, бедным адептам истории, часто высмеиваемым новейшими науками о человеке, досталась не худшая доля, чем многим нашим собратьям, которые посвятили себя дисциплинам более старым и более уверенным в себе. Такова общая участь всех исследований, чья миссия вникать в явления завершенные. Я полагаю, что исследователь доисторических времен столь же неспособен из-за отсутствия письменных данных восстановить религиозные обряды каменного века, как и палеонтолог — железы внутренней секреции плезиозавра, от которого сохранился лишь скелет. Всегда неприятно сказать: «я не знаю», «я не могу узнать». Но говорить об этом надо только после самых энергичных, отчаянных розысков. Бывают, однако, моменты, когда настоятельный долг ученого велит, испробовав все, примириться со своим незнанием и честно в нем признаться.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВА

«Здесь Геродот из Фурий [8] излагает то, что ему удалось узнать, дабы дела человеческие не были повергнуты временем в забвение и дабы великие, дивные деяния, совершенные как эллинами, так и варварами, не утратили своей славы». Так начинается самая древняя книга истории — я разумею в Западном мире, — дошедшая до нас не в виде фрагментов. Поставим, например, рядом с нею один из путеводителей по загробному миру, которые египтяне времен фараонов вкладывали в гробницы. Перед нами окажутся два основных типа, которые можно выделить в бесконечно разнообразной массе источников, предоставленных прошлым в распоряжение историков. Свидетельства первого типа — намеренные. Другие — ненамеренные.

В самом деле, когда мы, чтобы получить какие-нибудь сведения, читаем Геродота или Фруассара, «Мемуары» маршала Жоффра или крайне противоречивые сводки, которые печатаются в теперешних немецких и английских газетах о нападении на морской конвой в Средиземном море, разве мы не поступаем именно так, как того ожидали от нас авторы этих писаний? Напротив, формулы папирусов мертвых были предназначены лишь для того, чтобы их читала находящаяся в опасности душа и слушали одни боги. Житель свайных построек, который бросал кухонные объедки в соседнее озеро, где их ныне перебирает археолог, хотел всего лишь очистить свою хижину от мусора; папская булла об освобождении от налогов хранилась так тщательно в сундуках

монастыря только для того, чтобы в нужный момент ею можно было потрясти перед глазами назойливого епископа. Во всех этих случаях забота о создании определенного мнения у современников или у будущих историков не играла никакой роли, и когда медиевист в «благословенном» 1942 г. листает в архивах коммерческую корреспонденцию Ченами[9], он совершает нескромность, которую Ченами наших дней, застигнув его за чтением их деловой корреспонденции, осудили бы весьма сурово.

Повествовательные источники — употребим здесь это несколько причудливое, но освященное обычаем выражение, т. е. рассказы, сознательно предназначенные для осведомления читателей, не перестали, разумеется, оказывать ученым ценную помощь. Одно из их преимуществ — обычно только они и дают хронологическую последовательность, пусть не очень точную. Чего бы ни отдал исследователь доисторических времен или историк Индии за то, чтобы располагать своим Геродотом? Однако историческое исследование в своем развитии явно пришло к тому, чтобы все больше доверять второй категории свидетельств — свидетелям невольным. Сравните римскую историю, как ее излагал Роллен или даже Нибур, с той, которую открывает нашему взору любой нынешний научный очерк: первая черпала наиболее очевидные факты из Тита Ливия, Светония или Флора, вторая в большой мере строится на основании надписей, папирусов, монет. Только этим путем удалось восстановить целые куски прошлого: весь доисторический период, почти всю историю экономики, всю историю социальных структур. Даже теперь кто из нас не предпочел бы держать в руках вместо всех газет 1938 или 1939 г. несколько секретных министерских документов, несколько тайных донесений военачальников?

Это не означает, что документы подобного рода более других свободны от ошибок или лжи. Есть сколько угодно фальшивых булл, и деловые письма в целом не более правдивы, чем донесения послов. Но здесь дезинформация, если она и была, по крайней мере не задумана специально для обмана потомства. Указания же, которые прошлое непредумышленно роняет вдоль своего пути, не только позволяют нам пополнить недостаток повествования или проконтролировать его, если его правдивость внушает сомнение: они избавляют наше исследование от опасности более страшной, чем незнание или неточность, — от неизлечимого склероза. В самом деле, без их помощи историк, вздумавший заняться исчезнувшими поколениями, неизбежно попадает в плен к предрассудкам, к ложным предосторожностям, к близорукости, которой страдали сами эти поколения. Например, медиевист не будет придавать ничтожное значение коммунальному движению[10] только потому, что средневековые писатели не очень-то стремились ознакомить с ним свою публику; не отнесется он пренебрежительно и к великим течениям религиозной жизни, хотя они занимают в повествовательной литературе своего времени куда меньше ме-

ста, чем баронские войны. Короче, история — приведем излюбленную антитезу Мишле — должна быть все более и более отважной исследовательницей ушедших эпох, а не вечной и неразвивающейся воспитанницей их «хроник».

Впрочем, даже в явно намеренных свидетельствах наше внимание сейчас преимущественно привлекает уже не то, что сказано в тексте умышленно. Мы гораздо охотнее хватаемся за то, что автор дает нам понять, сам того не желая. Что для нас поучительнее всего у Сен-Симона? [11] Его нередко искаженные сообщения о событиях того времени? Или же удивительно яркий свет, проливаемый «Мемуарами», на образ мыслей вельможи при дворе «короля-солнца»? [12] Среди житий святых раннего средневековья по меньшей мере три четверти не дают нам никаких серьезных сведений о благочестивых личностях, чью жизнь они должны изобразить. Но поищем там указаний на особый образ жизни или мышления в эпоху, когда они были написаны, на то, что агиограф отнюдь не собирался нам сообщать, и эти жития станут для нас неоценимыми. При нашей неизбежной подчиненности прошлому мы пользуемся по крайней мере одной льготой: хотя мы обречены знакомиться с ним лишь по его следам, нам все же удается узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть. Если браться за дело с умом, это великая победа понимания над данностью.

* * *

Но как только мы откажемся просто протоколировать слова наших свидетелей, как только вознамеримся сами заставить их говорить, пусть против их воли, нам, более чем когда бы то ни было, необходимо составить вопросник. Это поистине первая неотложная задача всякого правильно ведущегося исторического изыскания.

Многие люди, и среди них, кажется, даже некоторые авторы учебников, представляют себе ход нашей работы до странности наивно. Вначале, мол, есть источники. Историк их собирает, читает, старается оценить их подлинность и правдивость. После этого, и только после этого, он пускает их в дело. Но беда в том, что ни один историк так не действует. Даже когда ненароком воображает, что действует именно так.

Ибо тексты или археологические находки, внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать. Кремневые орудия в наносах Соммы изобиловали как до Буше де Перта [13], так и потом. Но не было человека, умеющего спрашивать, — и не было доисторических времен. Я, старый медиевист, должен признаться, что для меня нет чтения увлекательней, чем какой-нибудь картулярий [14]. Потому что я примерно знаю, о чем его спрашивать. Зато собрание римских надписей мне мало что говорит. Я умею с грехом пополам их читать, но не

опрашивать. Другими словами, всякое историческое изыскание с первых же шагов предполагает, что опрос ведется в определенном направлении. Всегда вначале — пытливый дух. Ни в одной науке пассивное наблюдение никогда не было плодотворным. Если допустить, впрочем, что оно вообще возможно.

Да, не будем поддаваться первому впечатлению. Бывает, конечно, что вопросник остается чисто инстинктивным. Но все равно он есть. Ученый может даже не сознавать этого, а между тем вопросы диктуются ему утверждениями или сомнениями, которые записаны у него в мозгу его прошлым опытом, диктуются традицией, обычным здравым смыслом, т. е. — слишком часто — обычными предрассудками. Мы далеко не так восприимчивы, как нам представляется. Нет ничего вредней для начинающего историка, чем советовать ему просто ждать в состоянии бездействия, пока сам источник не пошлет ему вдохновение. При таком методе многие вполне добросовестные изыскания потерпели неудачу или дали ничтожно мало.

Нам, естественно, необходим этот набор вопросов, чрезвычайно гибкий, способный по пути обрастать множеством новых пунктов, открытый для всех неожиданностей — и все же такой, чтобы он мог сразу же служить магнитом для опилок документа. Исследователь знает, что намеченный при отправлении маршрут не будет выдержан с абсолютной точностью. Но без маршрута ему грозит вечно блуждать наугад.

* * *

Разнообразие исторических свидетельств почти бесконечно. Все, что человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, все, к чему он прикасается, может и должно давать о нем сведения. Любопытно, как люди, чуждые нашей работе, плохо представляют себе масштаб ее возможностей. Они все еще придерживаются давно устаревшего мнения о нашей науке, мнения тех времен, когда умели читать только намеренные свидетельства. Упрекая «традиционную историю» в том, что она оставляет в тени «явления значительные» и притом «более чреватые последствиями, более способные изменить будущую жизнь, чем все политические события», Поль Валери приводил как пример «завоевание земного шара» электричеством. Тут мы готовы ему аплодировать. К сожалению, это абсолютно верно: на такую огромную тему не создано еще ни одного серьезного труда. Но когда побуждаемый как бы самим избытком своей строгости к оправданию промаха, который он только что изобличил, Поль Валери добавляет, что подобные явления неизбежно «ускользают» от историка, ибо, продолжает он, «они специально не отражены ни в одном документе», — на этот раз обвинение, перенесенное с ученого на науку, неправильно. Кто поверит, что на предприятиях, дающих электрический ток, нет своих архивов, сводок потребления сырья, карт

электрической сети? Историки, скажете вы, до сих пор пренебрегали анализом этих источников. Безусловно, они глубоко неправы. но, может быть, виноваты также не в меру ревнивые хранители столь ценных сокровищ. Наберитесь же терпения. История пока еще не такова, какой должна быть. Но это не основание валить на ту историю, какая может быть создана, бремя ошибок, присущих лишь истории, дурно понятой.

Удивительное разнообразие наших материалов порождает, однако, одну трудность, правда, настолько серьезную, что ее можно причислить к трем-четырем великим парадоксам профессии историка.

Было бы большим заблуждением считать, что каждой исторической проблеме соответствует один-единственный тип источников, применимый именно в этом случае. Напротив, чем больше исследование устремляется к явлениям глубинным, тем скорее можно ждать света от сходящихся в одном фокусе лучей — от свидетельств самого различного рода. Какой историк религии захочет ограничиться перелистыванием теологических трактатов или сборников гимнов? Он хорошо знает: об умерших верованиях и чувствах нарисованные и скульптурные изображения на стенах святилищ, расположение и убранство гробниц скажут ему, пожалуй, не меньше, чем многие сочинения. Наши знания о германских нашествиях основаны не только на чтении хроник и грамот, но в такой же мере на раскопках погребений и на изучении названий местностей. По мере приближения к нашему времени требования, понятно, меняются. Но от этого они не становятся менее настоятельными. Неужели нам, чтобы понять современное общество, достаточно погрузиться в чтение парламентских дебатов или министерских документов? Не нужно ли вдобавок уметь истолковать банковский баланс, текст для непосвященного еще более загадочный, чем иероглифы? Может ли историк эпохи, в которой царит машина, примириться с незнанием того, как устроены машины и как они изменяются?

Если почти всякая человеческая проблема требует умения оперировать свидетельствами всевозможных видов, то технические приемы исследования, напротив, неизбежно различаются в зависимости от типа свидетельств. Освоение каждого из них требует немалого времени, полное владение — еще более долгой и постоянной практики. Лишь очень немногие ученые могут похвалиться умением одинаково хорошо читать и критически разбирать средневековую хартию, правильно толковать названия местностей (а это прежде всего — факты языка), безошибочно датировать предметы доисторического, кельтского, галло-романского быта, анализировать растительный покров луга, нивы, пустоши. Но без всего этого можно ли описать историю заселения какой-нибудь местности? Мне кажется, мало найдется наук, которым приходится пользоваться одновременно таким огромным количеством разнородных

орудий. Причина в том, что человеческие факты — самые сложные. Ибо человек — наивысшее создание природы.

Историку полезно и, на мой взгляд, необходимо владеть, пусть в минимальной степени, основными приемами его профессии. Хотя бы для того, чтобы уметь заранее оценить надежность орудия и трудности в обращении с ним. Перечень «вспомогательных дисциплин», рекомендуемых начинающим, слишком краток. По какой абсурдной логике людям, которые добрую половину времени обучения могут знакомиться с предметом своих занятий лишь через посредство слов, позволяют, наряду с прочими пробелами, не знать основных достижений лингвистики?

Однако какими бы разнообразными познаниями мы ни стремились наделить наиболее вооруженных исследователей, они всегда — и, как правило, очень скоро — доходят до определенного предела. И тут уж нет иного выхода, кроме как заменить многообразную эрудицию одного человека совокупностью технических приемов, применяемых разными учеными, но направленных на освещение одной темы. Этот метод предполагает готовность к коллективному труду. Он также требует предварительного определения, по общему уговору, нескольких крупных ведущих проблем. До такого отрадного положения нам еще очень далеко. Но будем верить, что оно наступит и в значительной мере станет определяющим для будущего нашей науки.

3. ПЕРЕДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ

Одна из самых трудных задач для историка — собрать документы, которые, как он полагает, ему понадобятся. Он может это сделать лишь с помощью различных путеводителей: инвентарей архивов или библиотек, музейных каталогов, библиографических списков всякого рода. Порой встречаешь этаких верхоглядов, удивляющихся тому, что на подобную работу тратится столько времени как создающими их учеными, так и другими серьезными работниками, которые ими пользуются. Но разве часы, затраченные на такое дело, хоть и не лишенное тайной прелести, но уж безусловно не окруженное романтическим ореолом, не избавляют в конечном счете от самого дикого расточительства энергии? Если я увлекаюсь историей культа святых, но, допустим, не знаю Bibliotheca Hagiographica Latina[a] отцов-болландистов[15], то неспециалисту трудно представить, скольких усилий, до нелепого бесплодных, будет мне стоить этот пробел в научном багаже. Если уж действительно о чем-то жалеть, так не о том, что мы можем поставить на полки наших библиотек изрядное количество этих пособий (перечисление которых по отраслям дается в специаль-

[a] Латинская агиографическая библиотека.

ных указателях), а о том, что их пока еще недостаточно, особенно для эпох менее далеких; что их создание, особенно во Франции, лишь в исключительных случаях ведется по разумно намеченному комплексному плану; что их публикация, наконец, слишком часто зависит от каприза отдельных лиц или от скупости плохо информированных издательских фирм. Первый том замечательных «Источников по истории Франции», которым мы обязаны Эмилю Молинье[16], не был переиздан со времен первой публикации в 1901 г. Этот простой факт стоит целого обвинительного акта. Конечно, не орудие создает науку. Но общество, хвастающееся своим уважением к наукам, не должно быть равнодушно к их орудиям. И, наверно, было бы разумно с его стороны не слишком полагаться на академические заведения, условия приема в которые, благоприятные для людей преклонного возраста и послушных учеников, не очень-то способствуют развитию предприимчивости. Да, у нас не только Военная школа и штабы сохранили в век автомобиля мышления времен запряженной волами телеги[17].

Впрочем вехи-указатели, даже превосходно сделанные, мало чем помогут исследователю, у которого нет заранее представления о территории, где ему придется вести разведку. Вопреки тому, что, кажется, иногда думают начинающие, источники отнюдь не появляются по таинственному велению свыше. Их наличие или отсутствие в таком-то архивном фонде, в такой-то библиотеке, в такой-то почве зависит от причин, связанных с человеком и превосходно поддающихся анализу, а проблемы, возникающие в связи с перемещением этих памятников, — отнюдь не просто упражнение в технике исследования: сами по себе они затрагивают интимные аспекты жизни прошлого, ибо речь идет о передаче воспоминаний через эстафету поколений. В начале серьезных исторических трудов автор обычно дает список шифров архивных материалов, которые он изучил, изданий источников, которыми пользовался. Это превосходно — но недостаточно. Всякая книга по истории, достойная этого названия, должна была бы содержать главу или, если угодно, ряд параграфов, включенных в самые важные места и озаглавленных примерно так: «Каким образом я смог узнать то, о чем буду говорить?» Уверен, что, ознакомившись с такими признаниями, даже читатели-неспециалисты испытают истинное интеллектуальное наслаждение. Зрелище поисков с их успехами и неудачами редко бывает скучным. Холодом и скукой веет от готового, завершенного.

* * *

Меня иногда посещают работники, желающие написать историю своей деревни. Как правило, я говорю им следующее (только чуть попроще, чтобы избежать неуместной в данном случае учености): «Крестьянские общины лишь изредка и довольно поздно

заводили свои архивы. Сеньории же, напротив, будучи сравнительно хорошо организованными и преемственными учреждениями, обычно сохраняли свою документацию с давних пор. Для любого периода до 1789 г., а в особенности для более давних эпох, основные документы, на которые вы можете рассчитывать, будут почерпнуты из сеньориальных фондов. Отсюда в свою очередь следует, что первый вопрос, на который вам придется ответить и от которого почти все будет зависеть, окажется таким: «Кто был в 1789 г. сеньором вашей деревни?» (Конечно, наличие одновременно нескольких владельцев, между которыми разделена деревня, тоже вполне вероятно, но для краткости мы эту возможность рассматривать не будем.)

Допустимы три варианта. Сеньория могла принадлежать либо церкви, либо светскому лицу, эмигрировавшему во время революции [18], либо опять-таки светскому лицу, но не эмигранту. Первый случай наиболее благоприятен для нас. Архив, вероятно, не только сохранялся лучше и охватывал больший срок; он наверняка после 1790 г. был конфискован одновременно с земельными владениями, как то следовало в соответствии с Гражданским устройством духовенства [19]. Если он затем был помещен в какое-либо общественное хранилище, мы вправе надеяться, что и ныне он находится там в целости и сохранности и доступен для ученых. Гипотезе с эмигрантом также можно поставить довольно высокий балл. В этом случае архив также был изъят и перемещен, правда, есть опасность, что его намеренно уничтожили как напоминание о проклятом старом режиме. Остается последняя возможность. Она была бы крайне нежелательна. «Бывшие люди», если они не покидали Францию и не попадали каким-то иным образом под удар законов Комитета Общественного спасения [20], не терпели никакого имущественного ущерба. Они, конечно, утрачивали свои сеньориальные права, поскольку те были вообще отменены. Но они сохраняли личную собственность, а следовательно, и деловые документы. Если эти документы, которые мы должны разыскать, никогда не были затребованы государством, то они попросту разделили общую в XIX и XX вв. участь всех фамильных бумаг. Если они не затерялись, не были съедены крысами, не рассеялись вследствие продаж и наследований по чердакам трех-четырех сельских домов, все равно ничто не заставит нынешнего их владельца предоставить их вам».

Я привел этот пример, потому что он мне кажется очень типичным для условий, часто определяющих и ограничивающих доступную для нас документацию. Небезынтересно более детально проанализировать вытекающий отсюда урок.

Роль, которую, как мы видели, сыграли революционные конфискации, — это роль божества, нередко покровительствующего исследователю, божества по имени Катастрофа. Бесчисленные римские муниципии превратились в заурядные итальянские горо-

дишки, где археолог с трудом отыскивает скудные следы античности; зато извержение Везувия сохранило Помпеи.

Разумеется, далеко не всегда великие бедствия человечества служили истории. Вместе с грудами литературных и историографических рукописей погибли в смутах нашествий бесценные досье римской императорской бюрократии. На наших глазах две мировые войны уничтожили на овеянной славой земле многие памятники и архивы. Мы уже никогда не сможем перелистать письма старых купцов Ипра[21], и я сам видел, как во время отступления сожгли книгу приказов целой армии.

Впрочем, и мирная гладь социальной жизни без вспышек лихорадки оказывается гораздо менее благоприятной, чем можно думать, для передачи воспоминаний. Революции взламывают дверцы сейфов и заставляют министров бежать, не дав им времени сжечь свои секретные бумаги. В старых архивах юридических контор дела банкротов содержат доступные для нас документы предприятий, владельцы которых, если б им посчастливилось плодотворно и почетно продолжать свое дело до наших дней, ни за что не согласились бы отдать на всеобщее обозрение содержимое своих папок. Благодаря удивительной преемственности монастырских учреждений аббатство Сен-Дени[22] еще в 1789 г. сохраняло дипломы, пожалованные ему меровингскими королями более тысячи лет назад. Но читаем мы их теперь в Национальном архиве. А если бы аббатство Сен-Дени пережило Революцию, можно ли быть уверенным, что монахи позволили бы рыться в их сундуках? Наверно, не более, чем ожидать, что общество Иисуса[23] откроет непосвященным доступ к своим документам, без знания которых столько проблем новой истории всегда останутся безнадежно темными, или что французский банк пригласит специалистов по истории Первой империи исследовать его реестры, даже самые запыленные, — настолько дух замкнутости присущ всякой корпорации. Вот где историк настоящего оказывается в незавидном положении—он почти начисто лишен этих невольных признаний. Правда, взамен он узнает всякие толки, которые нашептывают ему на ухо друзья. Но такая информация, увы, мало чем отличается от досужих сплетен. Зачастую хороший катаклизм куда лучше помогает нашему делу.

Так будет, во всяком случае, до тех пор, пока общество не перестанет возлагать на переживаемые им бедствия заботу о сохранности документов и не согласится, наконец, разумно организовать и свою память, и познание самого себя. Это ему удастся лишь в тяжкой борьбе с двумя главными виновниками забвения и невежества: с небрежностью, которая теряет документы, и, что еще более опасно, со страстью к тайнам (дипломатическим, деловым, семейным), которая прячет документы или их уничтожает. Естественно, что нотариус обязан не разглашать деловые операции своего клиента. Но когда ему разрешается окружать такой же

непроницаемой тайной контракты, заключавшиеся клиентами его прадедушки (меж тем как ему всерьез ничто не грозит, если бумаги эти у него истлеют), наши законы в этой области поистине отдают плесенью. Что касается мотивов, побуждающих большинство крупных предприятий отказаться от публикации статистических данных, столь необходимых для разумного ведения национальной экономики, то мотивы эти очень редко бывают достойны уважения. Наша цивилизация сделает огромный шаг вперед в тот день, когда скрытность, возведенная в принцип поведения и почти в буржуазную добродетель, уступит место желанию сообщать о себе, т. е. обмениваться такими сообщениями.

Вернемся, однако, к нашей деревне. Обстоятельства, которые в данном, конкретном случае являются решающими для утраты или сохранности, для доступности или недоступности свидетельств, порождаются историческими силами общего характера. В них нет ни одной черты, которую нельзя было бы понять, но в них начисто отсутствует какая-либо логическая связь с предметом наших розысков, судьба которого зависит от них. В самом деле, почему, например, изучение жизни маленькой крестьянской общины в средние века должно быть более или менее полным в зависимости от того, вздумалось ли несколько веков спустя ее владельцу украсить своим присутствием сборища в Кобленце [24]? Такое несоответствие встречается слишком часто. Если мы знаем римский Египет бесконечно лучше, чем Галлию того же времени, то причина тут не в том, что египтяне интересуют нас больше, чем галло-римляне, — просто в Египте сухой климат, пески и погребальные ритуалы, связанные с бальзамированием, сохранили рукописи, тогда как климат Запада и его обычаи, напротив, способствовали их быстрому истлеванию. Между причинами успеха или неудачи в нашей погоне за документами, и мотивами, вызывающими наш интерес к этим документам, обычно нет ничего общего; таков иррациональный и никак не устранимый элемент, придающий нашим изысканиям внутренний трагизм, в котором, возможно, столь многие создания духа находят не только собственные границы, но и одну из тайных причин своей гибели.

В приведенном примере судьба документов в той или иной деревне оказывается решающим фактом, который хотя бы можно предусмотреть. Но так бывает не всегда. Порой конечный результат поисков зависит от такого множества каузальных цепочек, одна от другой совершенно независимых, что почти всякое предвидение оказывается невозможным. Я знаю, что четыре пожара, а затем разграбление опустошили архивы древнего аббатства Сен-Бенуа-сюр-Луар [25]. Могу ли я, приступая к изучению его фондов, заранее угадать, какие типы источников пощадили эти катастрофы? То что называют миграцией рукописей, представляет собой чрезвычайно интересный предмет изучения: странствия литературного произведения по библиотекам, снятие копий, аккурат-

ность или небрежность библиотекарей и копиистов — все это явления, в которых живо отражаются судьбы культуры и прихотливая игра ее великих течений. Но мог ли самый знающий эрудит заявить с уверенностью, до обнаружения этого факта, что единственная рукопись «Германии» Тацита[26] окажется в XVI в. в монастыре Герсфельд? Короче, всякие поиски документов таят в себе долю неожиданности и, следовательно, риска. Один коллега, мой близкий друг, рассказывал мне, что в Дюнкерке[27], когда он на побережье, подвергавшемся бомбежке, ожидал вместе с другими погрузки на суда, не выказывая особого нетерпения, кто-то из товарищей с удивлением заметил: «Странно, у вас такой вид, словно опасность вас не пугает!» Мой друг мог бы ответить, что, вопреки обычному предрассудку, привычка к научным поискам вовсе не так неблагоприятна для спокойного принятия пари с судьбой.

Выше мы спросили себя, существует ли между познанием прошлого и настоящего противоположность в технических приемах. На это был дан ответ. Конечно, исследователь современности и исследователь далеких эпох обращаются с орудиями каждый по-своему. И каждый имеет определенные преимущества. Первый соприкасается с жизнью непосредственно, второй в своих изысканиях располагает средствами, иногда недоступными для первого. Так, вскрытие трупа, открывая биологу немало тайн, которых он не узнал бы при изучении живого тела, умалчивает о многих других тайнах, которые может обнаружить только живой организм. Но к какому бы веку человечества ни обращался исследователь, методы наблюдения, почти всегда имеющие дело со следами, остаются в основном одинаковыми. В этом с ними сходны, как мы увидим дальше, и правила критики, которым должно подчиняться наблюдение, чтобы быть плодотворным.

Глава третья

КРИТИКА

1. ОЧЕРК ИСТОРИИ КРИТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Даже самые наивные полицейские прекрасно знают, что свидетелям нельзя верить на слово. Но если всегда исходить из этого общего соображения, можно вовсе не добиться никакого толку. Давно уже догадались, что нельзя безоговорочно принимать все исторические свидетельства. Опыт, почти столь же давний, как и само человечество, научил: немало текстов содержат указания, что они написаны в другую эпоху и в другом месте, чем это было на самом деле; не все рассказы правдивы, и даже материальные свидетельства могут быть подделаны. В средние века, когда изобиловали фальшивки, сомнение часто являлось естественным защитным рефлексом. «Имея чернила, кто угодно может написать что угодно»,— восклицал в XI в. лотарингский дворянчик, затеявший тяжбу с монахами; которые пустили в ход документальные свидетельства. Константинов дар — это поразительное измышление римского клирика VIII в., подписанное именем первого христианского императора,— был три века спустя оспорен при дворе благочестивейшего императора Оттона III [1]. Поддельные мощи начали изымать почти с тех самых пор, как появился культ мощей.

Однако принципиальный скептицизм — отнюдь не более достойная и плодотворная интеллектуальная позиция, чем доверчивость, с которой он, впрочем, легко сочетается в не слишком развитых умах. Во время первой мировой войны я был знаком с одним бравым ветеринаром, который систематически отказывался верить газетным новостям. Но если случайный знакомый сообщал ему самые нелепые слухи, он прямо-таки жадно глотал их.

Точно так же критика с позиций простого здравого смысла, которая одна только и применялась издавна и порой еще соблазняет иные умы, не могла увести далеко. В самом деле, что такое в большинстве случаев этот пресловутый здравый смысл? Всего лишь мешанина из необоснованных постулатов и поспешно обобщенных данных опыта. Возьмем мир физических явлений. Здравый смысл отрицал антиподов. Он отрицает эйнштейновскую вселенную. Он расценивал как басню рассказ Геродота о том, что, огибая Африку, мореплаватели в один прекрасный день увидели, как точка, в которой восходит солнце, перемещалась с правой стороны от них на левую [2]. Когда же идет речь о делах человеческих, то хуже всего то, что наблюдения, возведенные в ранг

вечных истин, неизбежно берутся из очень краткого периода, а именно — нашего. В этом — главный порок вольтеровской критики, впрочем, часто весьма проницательной. Не только индивидуальные странности встречаются во все времена, но и многие некогда обычные душевные состояния кажутся нам странными, потому что мы их уже не разделяем. «Здравый смысл» как будто должен отрицать, что император Оттон I мог подписать в пользу пап акт, содержавший неосуществимые территориальные уступки [3], поскольку он противоречил прежним актам Оттона I, а последующие с ним никак не согласовывались. И все же надо полагать, что ум у императора был устроен не совсем так, как у нас, — точнее, что в его время между тем, что пишется, и тем, что делается, допускали такую дистанцию, которая нас поражает: ведь пожалованная им привилегия бесспорно подлинная.

Настоящий прогресс начался с того дня, когда сомнение стало, по выражению Вольнея, «испытующим»; другими словами, когда были постепенно выработаны объективные правила, позволявшие отделять ложь и правду. Иезуит Папеброх, которому чтение «житий святых» внушило величайшее недоверие ко всему наследию раннего средневековья, считал поддельными все меровингские дипломы, хранившиеся в монастырях. Нет, ответил ему Мабильон, хотя бесспорно есть дипломы, целиком сфабрикованные, подправленные или интерполированные. Но существуют и дипломы подлинные и их можно отличить. Таким образом, год 1681 — год публикации «De Re Diplomatica» [a] — поистине великая дата в истории человеческого разума: наконец-то возникла критика архивных документов [4].

Впрочем, и во всех других отношениях это был решающий момент в истории критического метода. У гуманизма предшествующего столетия были свои попытки, свои озарения. Дальше он не пошел. Что может быть характерней, чем пассаж из «Опытов», где Монтень оправдывает Тацита в том, что тот повествует о чудесах [5]. Дело теологов и философов, говорит он, спорить о «всеобщих верованиях», историкам же надлежит лишь «излагать» их в точном соответствии с источниками. «Пусть они передают нам историю в том виде, в каком ее получают, а не так, как они ее оценивают». Иначе говоря, философская критика, опирающаяся на концепцию естественного или божественного толкования, вполне законна. Из остального текста ясно, что Монтень отнюдь не расположен верить в чудеса Веспасиана, как и во многие другие. Но, делая чисто исторический разбор свидетельства как такового, он, видимо, еще не вполне понимает, как этим методом пользоваться. Принципы научного исследования были выработаны лишь в течение XVII века, чье истинное величие связывают не всегда с тем периодом, с каким следует, а именно, со второй его половиной.

[a] «О дипломатике».

Сами люди того времени сознавали его значение. Между 1680 и 1690 гг. изобличение «пирронизма в истории» [6] как преходящей моды было общим местом. «Говорят, — пишет Мишель Левассер, комментируя это выражение, — что сущность ума состоит в том, чтобы не верить всему подряд и уметь многократно сомневаться». Само слово «критика», прежде означавшее лишь суждение вкуса, приобретает новый смысл проверки правдивости. Вначале его употребляют в этом смысле лишь с оговорками. Ибо «оно не вполне в хорошем вкусе», т. е. в нем есть какой-то технический привкус. Однако новый смысл постепенно приобретает силу. Боссюэ сознательно от него отстраняется. Когда он говорит о «наших писателях-критиках», чувствуется, что он пожимает плечами [7]. Но Ришар Симон вставляет слово «критика» в названия почти всех своих работ [8]. Самые проницательные, впрочем, оценивают его безошибочно. Да, это слово возвещает открытие метода чуть ли не универсальной пригодности. Критика — это «некий факел, который нам светит и ведет нас по темным дорогам древности, помогая отличить истинное от ложного». Так говорит Элли дю Пэн [9]. А Бейль формулирует еще более четко: «Г-н Симон применил в своем новом «Ответе» ряд правил критики, которые могут служить не только для понимания Писания, но и для плодотворного чтения многих других сочинений».

Сопоставим несколько дат рождения: Папеброх (который, хоть и ошибся в отношении хартий, заслуживает места в первом ряду среди основоположников критики в отношении историографии) родился в 1628 г.; Мабильон — в 1632 г.; Ришар Симон (чьи работы положили начало библейской экзегезе [10]) — в 1638. Прибавьте, помимо этой когорты эрудитов в собственном смысле слова, Спинозу (Спинозу «Богословско-политического трактата», этого подлинного шедевра филологической и исторической критики) [11], который родился также в 1632 г. Это было буквально одно поколение, контуры которого вырисовываются перед нами с удивительной четкостью. Но надо их еще больше уточнить: это поколение, появившееся на свет к моменту выхода «Рассуждения о методе» [12].

Мы не скажем: поколение картезианцев [13]. Мабильон, если уж говорить именно о нем, был благочестивым монахом, ортодоксально простодушным, оставившим нам в качестве последнего сочинения трактат о «Христианской смерти». Вряд ли он был хорошо знаком с новой философией, в те времена столь подозрительной для многих набожных людей. Более того, если до него случайно и дошли кое-какие ее отзвуки, вряд ли он нашел в ней так уж много мыслей, достойных одобрения. С другой стороны, — вопреки тому, что пытаются внушить нам несколько страниц Клода Бернара, не в меру, быть может, знаменитых, очевидные истины математического характера, к которым, по Декарту, методическое сомнение должно проложить дорогу, имеют мало общих

черт со все более приближающимися к истине гипотезами, уточнением которых, подобно лабораторным наукам, довольствуется историческая критика. Но для того чтобы какая-либо философия наложила отпечаток на целый период, ее воздействие вовсе не должно соответствовать ее букве, и большинство умов может подвергаться ее влиянию как бы посредством часто полубессознательного осмоса. Подобно картезианской «науке», критика исторического свидетельства ставит на место веры «чистую доску»[14]. Как и картезианская наука, она неумолимо сокрушает древние устои лишь для того, чтобы таким путем прийти к новым утверждениям (или к великим гипотезам), но уже надлежащим образом проверенным. Иными словами, вдохновляющая ее идея — почти полный переворот в старых концепциях сомнения. То ли их язвительность казалась чем-то болезненным, то ли в них, напротив, находили какую-то благородную усладу, но эту критику прежде рассматривали как позицию чисто негативную, как простое отсутствие чего-либо. Отныне же полагают, что при разумном обращении она может стать орудием познания. Появление данной идеи можно датировать в истории мысли очень точно.

С тех пор основные правила критического метода были в общем сформулированы. Их универсальную значимость сознавали так хорошо, что в XVIII в. среди тем, чаще всего предлагавшихся Парижским университетом на конкурсе философских работ, мы видим тему, звучащую до странности современно: «О свидетельствах людей по поводу исторических фактов». Разумеется, последующие поколения внесли в это орудие много усовершенствований. А главное, они сделали его гораздо более обобщающим и значительно расширили сферу его приложения.

* * *

Долгое время технические приемы критики употреблялись — я имею в виду последовательно — почти исключительно кучкой ученых, экзегетов и любителей. Писатели, создавшие широкие исторические полотна, не стремились поближе познакомиться с этими лабораторными предписаниями, на их взгляд слишком мелочными, и почти не желали знать о результатах такой работы. Но, как говорил Гумбольдт, нет ничего хорошего в том, что химики «боятся замочить руки». Для истории опасность подобного расхождения между подготовкой и свершением — двоякая. Прежде всего, и очень жестоко, страдают крупные работы, интерпретирующие историю. Авторы их не только нарушают первостепенный долг — терпеливо искать истину; лишенные тех постоянно возникающих неожиданностей, которые доставляет только борьба с источником, они, вдобавок, не могут избежать беспрерывного колебания между несколькими навязанными рутиной стереотипами. Но и техническая работа страдает не меньше. Без высшего руководства она рискует погрязнуть на неопределенный срок в пробле-

мах незначительных или даже неверно поставленных. Нет худшего расточительства, чем растрачиваемая впустую эрудиция, нет более неуместной гордыни, чем самодовольство орудия, считающего себя целью.

Против этих опасностей отважно боролось сознание XIX в. Немецкая школа[15], Ренан, Фюстель де Куланж вернули исторической эрудиции ее интеллектуальную высоту. Историк был возвращен к верстаку. Но окончательно ли выиграна игра? Утверждать это было бы чрезмерным оптимизмом. Слишком часто исследование все еще ведется как попало без разумного выбора точек приложения. Главное же — потребность в критике еще полностью не овладела умами «честных людей» (в старом смысле этих слов), чье признание, нужное, конечно, для моральной гигиены всякой науки, особенно необходимо в нашей. Ведь предмет нашего изучения — люди, и если люди не будут нас понимать, не возникнет ли у нас чувство, что мы выполнили свою миссию лишь наполовину?

Впрочем, мы, возможно, и в самом деле выполнили ее не до конца. Отпугивающая таинственная замкнутость, в которой иногда пребывают лучшие из нас; преобладание в нашей популярной литературной продукции унылого учебника, где навязчиво царит дух школярского обучения вместо настоящего синтеза; странная стыдливость, мешающая нам, когда мы выходим из своих кабинетов, показать непосвященным благородные пробы наших методов — все эти дурные привычки, порожденные скопищем противоречивых предрассудков, вредят, несомненно, благому делу. Все они сообща толкают беззащитную массу читателей к фальшивым брильянтам мнимой истории, где отсутствие серьезности, пестрота мишуры, политические пристрастия дополняются нескромной уверенностью: Моррас, Банвиль или Плеханов[16] категоричны там, где Фюстель де Куланж или Пиренн высказали бы сомнение. Бесспорно существует противоречие между историческим исследованием, каково оно есть или каким стремится стать, и читающей публикой. Как пример забавных доводов, к которым прибегают стороны, приведем великий и весьма показательный спор о примечаниях.

Нижние поля страниц вызывают у многих эрудитов нечто вроде головокружения. Конечно, нелепо заполнять, как они обычно делают, эти белые полоски библиографическими ссылками, которых в большинстве случаев можно избежать, поместив в книге указатель; еще хуже втискивать туда длинные рассуждения, место которых прямо указано в основном тексте. Таким образом, самое полезное, что есть в этих трудах, часто приходится искать в подвале. Но когда некоторые читатели жалуются, что от любой строчки, одиноко чернеющей под текстом, у них туманятся мозги, когда некоторые издатели заявляют, что для их клиентов — конечно, отнюдь не таких сверхчувствительных, как они изобра-

жают, — сущая пытка глядеть на такую обезображенную страницу, эти неженки доказывают лишь свою неспособность понять даже элементарные правила научной этики. Ибо, не беря в расчет свободную игру фантазии, утверждение не имеет права появляться в тексте, если его нельзя проверить; и для историка, приводящего какой-то документ, указание на то, где его скорее всего можно найти, равносильно исполнению общеобязательного долга быть честным. Наше общественное мнение, отравленное догмами и мифами, даже когда оно не враждебно просвещению, утратило вкус к контролю. В тот день, когда мы, сперва позаботившись о том, чтобы не отпугнуть его праздным педантизмом, сумеем его убедить, что ценность утверждения надо измерять готовностью автора покорно ждать опровержения, силы разума одержат одну из блистательнейших своих побед. Чтобы ее подготовить, и трудятся наши скромные примечания, наши маленькие, мелочные ссылки, над которыми, не понимая их, потешаются нынешние остряки.

* * *

Изучавшиеся первыми эрудитами источники были чаще всего произведениями, либо рекомендовавшими сами себя, либо по традиции — как написанные таким-то автором в такое-то время и в расчете на читателя рассказывавшие о таких-то событиях. Правду ли они говорили? Принадлежат ли книги, называемые «Моисеевыми» [17], действительно Моисею, а дипломы, носящие имя Хлодвига, этому самому Хлодвигу? Достоверно ли рассказанное в «Исходе» или в «житиях святых»? Такова была проблема. Но по мере того, как история научилась все больше пользоваться невольными свидетельствами, она уже не ограничивалась оценкой нарочитых утверждений, содержавшихся в источниках. Ей пришлось исторгнуть у них сведения, которых они не собирались давать.

Критические правила, выдержавшие испытание в первом случае, оказались не менее эффективными и во втором. Вот передо мной лежит стопка средневековых грамот. Одни датированы, другие — нет. Там, где дата указана, надо ее проверить: опыт учит, что она может быть ложной. Даты нет? Надо ее установить. В обоих случаях я воспользуюсь одними и теми же средствами. По характеру письма (если это оригинал), по состоянию латыни, по учреждениям, которые там упоминаются, и по общему ходу изложения данный акт, предполагаю я, соответствует легко отличимому стилю французских нотариусов периода около 1000 г. Если он выдает себя за документ меровингской эпохи, обман, таким образом, разоблачен. Итак, дата примерно установлена. Точно так же археолог, желая классифицировать по эпохам и цивилизациям доисторические орудия или распознать поддельные памятники древности, изучает, сопоставляет, уточняет формы и приемы — по правилам для обоих случаев в сущности своей похожим.

Историк все реже и реже предстает тем ворчливым следова-

телем, чей непривлекательный образ пытаются нам навязать некоторые учебники для первокурсников. Разумеется, он не стал легковерным. Он знает, что свидетели могут ошибаться или лгать. Но прежде всего он старается вынудить их говорить, чтобы он мог их понять. Одна из прекрасных черт критического метода — то, что он сумел, ничего не меняя в основных принципах, направить исследование в более широкое русло.

Было бы, однако, неблагодарностью отрицать за неверным свидетельством его заслугу как стимула, вызвавшего попытки создать технику поисков истины. Кроме того, оно остается тем простейшим случаем, от которого эта техника непременно должна отправляться в своих рассуждениях.

2. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ И ОШИБОК

Из всех ядов, способных испортить свидетельство, самый вредоносный — это обман.

Он, в свою очередь, может быть двух видов. Прежде всего обман, связанный с автором и датой: фальшивка в юридическом смысле слова. Все письма, опубликованные за подписью Марии-Антуанетты, не были написаны ею [18]; среди них есть сфабрикованные в XIX в. Тиара, проданная в Лувр в качестве скифско-греческого памятника III в. до нашей эры, названная тиарой Сайтоферна, была отчеканена в 1895 г. в Одессе [19]. Кроме того, существует обман в самом содержании. Цезарь в своих «Комментариях», где его авторство нельзя оспаривать, сознательно многое исказил, многое опустил [20]. Статуя, которую показывают в Сен-Дени как изображение Филиппа Смелого, — бесспорно, надгробное изваяние этого короля, исполненное после его смерти [21], но по всеми видно, что скульптор ограничился воспроизведением условной модели и от портрета здесь осталось только имя.

Эти два вида обмана порождают различные проблемы, решение которых не влияет друг на друга.

Большинство письменных документов, подписанных вымышленным именем, лживы также и по содержанию. «Протоколы сионских мудрецов» не только не написаны сионскими мудрецами, но и по существу крайне далеки от истины [22]. Предположим, что мнимый диплом Карла Великого окажется на самом деле документом, сфабрикованным два-три века спустя. Можно держать пари, что великодушные деяния, приписываемые в нем императору, также вымышлены. Однако категорически этого утверждать нельзя. Ибо некоторые акты были изготовлены с единственной целью воспроизвести подлинники, которые были утеряны. В виде исключения фальшивка может говорить правду.

Кажется, не стоило бы упоминать о том, что, напротив, свидетельства, самые бесспорные по происхождению (которое указано в них самих), вовсе не обязательно правдивы. Но ученым, уста-

навливающим аутентичность источника, приходится так тяжко трудиться, взвешивая его на своих весах, что у них потом не всегда хватает духа оспаривать его утверждения. В частности, сомнение легко отступает перед документами, предстающими под сенью внушительных юридических гарантий: актами публичной власти или частными контрактами, в случае, если последние должным образом заверены. Однако и те и другие не слишком заслуживают почтения. 21 апреля 1834 г., еще до начала процесса тайных обществ, Тьер писал префекту департамента Нижний Рейн: «Предписываю вам приложить все усилия, чтобы обеспечить с вашей стороны наличие документов для начинающегося главного следствия. . . Важно надлежащим образом выявить корреспонденцию этих анархистов, выяснить тесную связь событий в Париже, Лионе, Страсбурге — одним словом, существование обширного заговора, охватывающего всю Францию»[23]. Вот бесспорно хорошо подготовленная официальная документация. Что же до миража, каким морочат нас должным образом припечатанные и датированные грамоты, то достаточно самого скромного житейского опыта, чтобы он рассеялся. Всякому известно, что составленные по всем правилам нотариальные акты полны умышленных неточностей: я вспоминаю, как сам однажды, повинуясь приказу, датировал задним числом свою подпись под протоколом одного из высоких правительственных учреждений. Наши отцы были в этом отношении не более щепетильными. «Составлено такого-то дня в таком-то месте», — читаем мы в конце королевских дипломов. Но загляните в книгу расходов по поездке государя. Вы там не раз обнаружите, что в указанный день он на самом деле находился за несколько лье от того места. Бесчисленные акты освобождения сервов от личной зависимости, в подлинности которых не сомневался ни один здравомыслящий человек, утверждают, что они будто бы продиктованы соображениями чистого милосердия, — мы же можем положить рядом с ними счета по оплате свободы.

* * *

Но недостаточно констатировать обман, надо еще раскрыть его мотивы. Хотя бы для того, чтобы лучше его изобличить. Пока существует сомнение относительно его причин, в нем есть нечто сопротивляющееся анализу, нечто лишь наполовину доказанное. Кроме того, прямая ложь как таковая — тоже своего рода свидетельство. Доказав, что знаменитый диплом Карла Великого, пожалованный церкви в Ахене[24], подделка, мы избавимся от заблуждения, но не приобретем никаких новых знаний. А вот если удастся установить, что фальшивка была сочинена в окружении Фридриха Барбароссы и целью ее было служить великим имперским мечтам[25], мы сможем по-новому взглянуть на открывшиеся перед нами обширные исторические горизонты. Так критика при-

ходит к тому, чтобы за обманом искать обманщика, т. е. в соответствии с девизом истории, — человека.

Наивно перечислять бесконечно разнообразные причины, побуждающие лгать. Но историкам, естественно склонным чрезмерно интеллектуализировать человека, полезно помнить, что далеко не все резоны резонны. Случается, что ложь (обычно ей сопутствует комплекс тщеславия и скрытности) становится, по выражению Андре Жида, каким-то «беспричинным актом». Немецкий ученый, который сочинил на отличном греческом языке восточную историю, приписанную им фиктивному Санхониатону, мог бы легко и с меньшими издержками приобрести репутацию солидного эллиниста. Сын члена Института, сам впоследствии заседавший в этом почтенном учреждении, Франсуа Ленорман начал свою карьеру в 17 лет, мистифицировав своего отца мнимым открытием надписей в Ла-Шапель-Сент-Элуа, целиком сделанных его рукою. Когда он был уже стар и осыпан почестями, его последней блестящей проделкой, говорят, было описание как греческих древностей нескольких обычных предметов доисторической эпохи, которые он попросту подобрал на полях Франции.

Мифомания присуща не только отдельным индивидуумам, но и целым эпохам. Такими были к концу XVIII в. и в начале XIX в. поколения предромантиков и романтиков. Псевдокельтские поэмы, приписанные Оссиану [26]; эпопеи и баллады, сочиненные, как утверждал Чаттертон, на древнеанглийском языке [27], мнимосредневековые стихи Клотильды де Сюрвиль [28]; бретонские песни, придуманные Вильмарке [29]; якобы переведенные с хорватского песни Мериме [30]; героические чешские песни краледворской рукописи [31] — всего не перечислить. В течение нескольких десятилетий по всей Европе как бы звучала мощная симфония подделок. Средние века, особенно с VIII до XII в., представляют другой пример такой эпидемии. Конечно, большинство подложных дипломов, папских декретов, капитуляриев, фабриковавшихся тогда в огромном количестве, создавались с корыстной целью. Закрепить за какой-нибудь церковью оспариваемое имущество, поддержать авторитет римского престола, защитить монахов от епископа, епископов от архиепископов, папу от светских владык, императора от папы — дальше этого намерения подделывателей не шли. Но характерная черта — люди безупречной набожности, а часто и добродетели, не брезговали прилагать руку и к подобным фальшивкам. Видимо, это нисколько не оскорбляло общепринятую мораль. Что касается плагиата, то он в те времена считался самым невинным делом: анналист, агиограф без зазрений присваивали себе целые пассажи из сочинений более древних авторов. Однако в обществах этих двух периодов, в остальном весьма различных по своему типу, не было и тени «футуризма». Как в религии, так и в области права средние века опирались только на уроки, преподанные предками. Романтизм жа-

ждал черпать из живого источника примитивного и народного. Так периоды, особенно приверженные традиции, позволяли себе наиболее свободное обращение со своим прямым наследием. Словно неодолимая потребность творчества, подавляемая почтением к прошлому, брала естественный реванш, заставляя выдумывать это прошлое.

* * *

В июле 1857 г. математик Мишель Шаль передал в Академию наук целую пачку неизданных писем Паскаля, проданных ему постоянным его поставщиком, знаменитым подделывателем Врен-Люка[32]. Из них явствовало, что автор «Писем к провинциалу»[33] сформулировал еще до Ньютона принцип всемирного тяготения. Один английский ученый выразил удивление. Как объяснить, спрашивал он, что в этих текстах используются астрономические выкладки, произведенные через много лет после смерти Паскаля, о которых сам Ньютон узнал лишь после опубликования первых глав своего труда? Врен-Люка был не из тех, кто станет смущаться из-за такого пустяка. Он снова засел за свой верстак, и вскоре благодаря его стараниям Шаль сумел представить новые автографы. На сей раз они были подписаны Галилеем и адресованы Паскалю. Так загадка была объяснена: знаменитый астроном произвел наблюдения, а Паскаль — вычисления. Оба, мол, действовали в тайне от всех. Правда, Паскалю в день смерти Галилея было всего восемнадцать лет. Ну и что? Еще один повод восхищаться ранним расцветом его гения.

Но вот другая странность, заметил неугомонный придира: в одном из этих писем, датированном 1641 г., Галилей жалуется, что пишет с большим трудом, так как у него устают глаза. Между тем разве неизвестно, что уже с конца 1637 г. он совершенно ослеп? Простите, возразил немного спустя наш славный Шаль, я согласен, что до сих пор все верили в эту слепоту. И напрасно. Ибо теперь я, дабы рассеять всеобщее заблуждение, могу предъявить написанный именно в это время и решающий для нашего спора документ. Некий итальянский ученый сообщал Паскалю 2 декабря 1641 г., что как раз в эти дни Галилей, чье зрение несомненно слабело уже ряд лет, потерял его полностью...

Конечно, не все обманщики работали так плодовито, как Врен-Люка, и не все обманутые обладали простодушием его несчастной жертвы. Но то, что нарушение истины порождает целую цепь лжи, что всякий обман почти неизбежно влечет за собой многие другие, назначение которых, хотя бы внешнее, поддерживать друг друга, — этому учит нас опыт житейский и это подтверждается опытом истории. Вот почему знаменитые фальшивки возникали целыми гроздьями: фальшивые привилегии кентерберийского архиепископства, фальшивые привилегии австрийского герцогства, подписанные многими великими государями от Юлия Цезаря до Фридриха Барбароссы, фальшивка дела Дрейфуса[34], разветвлен-

ная, как генеалогическое древо. Можно подумать (а я привел лишь несколько примеров), что перед нами — бурно разрастающиеся колонии микробов. Обман, по природе своей, рождает обман.

* * *

Существует еще более коварная форма надувательства. Вместо грубой контристины, прямой и, если угодно, откровенной, — потаенная переработка: интерполяция в подлинных грамотах, узоры выдуманных деталей, вышитые на грубовато-правдивом фоне. Интерполяции обычно делаются в корыстных целях. Узорочье лжи — для украшения. Не раз изобличались искажения, которые вносила в античную или средневековую историографию эстетика лжи. Ее влияние, наверно, не намного меньше и в нашей печати. Не слишком заботясь об истине, самый скромный новеллист охотно обрисовывает своих персонажей согласно условиям риторики, престиж которой отнюдь не подорван временем, — у Аристотеля и Квинтилиана[35] куда больше учеников в наших редакциях, чем обычно думают.

Некоторые технические обстоятельства даже как будто благоприятствуют таким искажениям. Когда в 1917 г. был приговорен к смерти шпион Боло, какая-то газета, говорят, поместила 6 апреля отчет о его казни. Действительно, казнь сперва была назначена на это число, но на самом деле состоялась лишь одиннадцать дней спустя. Журналист, убежденный, что событие произойдет в намеченный день, сочинил «отчет» заранее и счел лишним проверить. Не знаю, насколько достоверен этот анекдот. Такие грубые ляпсусы, конечно, исключение. Но легко допустить, что для быстроты — ведь главное представить материал вовремя — репортажи об ожидающихся событиях иногда сочиняются заранее. Можно сказать с уверенностью, что, увидев все своими глазами, журналист, если нужно, внесет изменения в канву рассказа, в его основные пункты, но вряд ли ретуширование коснется деталей, которые были присочинены для колорита и которые никому не придет в голову проверять. Так, по крайней мере, кажется мне, профану. Хотелось бы, чтобы какой-нибудь журналист-профессионал рассказал об этом вполне откровенно. К сожалению, газета еще не имеет своего Мабильона. Но не приходится сомневаться, что подчинение несколько устаревшему кодексу литературных приличий, власть стереотипной психологии, страсть к живописности прочно занимают свое место в галерее виновников публикуемых измышлений.

* * *

От чистого и простого вымысла до невольного заблуждения — немало ступеней. Уже хотя бы потому, что так легко искренне повторяемая чепуха превращается в ложь, если случай тому благоприятствует. Вымысел требует умственного усилия, которому сопротивляется свойственная большинству леность ума. Насколько

удобней попросту поверить выдумке, в истоках своих ненарочитой и соответствующей интересам момента!

Вспомните знаменитую историю с «нюрнбергским самолетом». Хотя до конца она так и не выяснена, кажется вполне вероятным, что какой-то французский коммерческий самолет пролетал над Нюрнбергом за несколько дней до объявления войны. Возможно, его приняли за военный. Возможно, что среди населения, уже взбудораженного призраками ожидаемой войны, распространился слух о бомбах, сброшенных в разных местах. Между тем точно известно, что бомбы не были сброшены, что правители Германской империи имели все возможности для того, чтобы рассеять этот ложный слух. Следовательно, бесконтрольно его приняв, чтобы сделать из него повод для войны, они по существу солгали. Но солгали, ничего не измышляя и, возможно, даже не очень ясно сознавая вначале этот обман. Они поверили нелепому слуху, потому что им было выгодно поверить. Среди всех типов лжи ложь самому себе — достаточно частое явление, и слово «искренность» — понятие весьма широкое, пользоваться которым можно лишь после уточнения многих оттенков.

Тем не менее верно, что многие очевидцы обманываются совершенно искренне. Вот тут самое время историку воспользоваться драгоценными результатами, которыми за несколько последних десятилетий наблюдение вооружило почти совершенно новую дисциплину — психологию свидетельства. В той мере, в какой ее достижения касаются нашего предмета, нам хотелось бы сказать следующее.

Если верить Гильому де Сен-Тьерри, его ученик и друг святой Бернард[36] однажды с большим удивлением узнал, что капелла, в которой он, молодой монах, ежедневно присутствовал на богослужении, имела в алтарной стене три окна, — а он-то всегда считал, что там лишь одно окно. Агиограф в свою очередь удивляется и восхищается: подобное безразличие к земному, конечно, предвещало благочестивейшего слугу господа! Бернард, по-видимому, и в самом деле отличался из ряда вон выходящей рассеянностью. Если верить другому рассказу, ему впоследствии довелось целый день бродить у Женевского озера, а он его даже не заметил. Однако многократные случаи показывают: чтобы грубо ошибаться в отношении окружающих предметов, которые, казалось бы, должны быть нам известны лучше всего, отнюдь не надо быть выдающимся мистиком. Студенты профессора Клапареда в Женеве показали себя во время его знаменитых опытов[37] столь же неспособными верно описать вестибюль их университета, как «доктор медоточивых речей»[38] — капеллу своего монастыря. Дело в том, что у большинства людей мозг воспринимает окружающий мир весьма несовершенно. Кроме того, поскольку свидетельства — это в сущности лишь высказанные воспоминания, всегда есть опасность, что к первоначальным ошибкам восприятия

добавятся ошибки памяти, той зыбкой, «дырявой» памяти, которую изобличал еще один из наших старинных юристов.

Неточность некоторых людей бывает поистине патологической. Для такого психоза я бы предложил, хоть это и непочтительно, название «болезнь Ламартина»[39]. Все мы знаем, что такие люди обычно не лезут за словом в карман. Но если можно говорить о свидетелях более или менее неточных и вполне надежных, то опыт показывает, что нет таких свидетелей, чьи слова всегда и при всех обстоятельствах заслуживали бы доверия. Абсолютно правдивого свидетеля не существует, есть лишь правдивые или ложные свидетельства. Даже у самого способного человека точность запечатлевающихся в его мозгу образов нарушается по причинам двух видов. Одни связаны с временным состоянием наблюдателя, например, с усталостью или волнением. Другие — со степенью его внимания. За немногими исключениями мы хорошо видим и слышим лишь то, что для нас важно. Если врач приходит к больному, я больше поверю его описанию вида пациента, чью внешность и поведение он наблюдал с особым тщанием, чем его описанию стоявшей в комнате мебели, которую он, вероятно, окинул рассеянным взглядом. Вот почему, вопреки довольно распространенному предрассудку, самые привычные для нас предметы, как для святого Бернарда капелла в Сито[40], относятся, как правило, к тем, точное описание которых получить трудней всего: привычка почти неизбежно порождает безразличие.

Свидетели исторических событий часто наблюдали их в момент сильного эмоционального смятения, либо же их внимание, — то ли мобилизованное слишком поздно, если событие было неожиданным, то ли поглощенное заботами о неотложных действиях, — было неспособно с достаточной четкостью зафиксировать черты, которым историк теперь по праву придает первостепенное значение. Некоторые случаи стали знамениты. Кем был сделан первый выстрел 25 февраля 1848 г. перед Министерством иностранных дел[41], давший начало восстанию, которое, в свою очередь, привело к революции? Войсками или толпой? Мы этого, вероятно, уже никогда не узнаем. И как можно теперь относиться всерьез к длиннейшим описаниям хроникеров, к подробнейшим рассказам о костюмах, поведении, церемониях, военных эпизодах, как можно, подчиняясь укоренившейся рутине, сохранять хоть тень иллюзии насчет правдивости всей этой бутафории, которой упивались мелкотравчатые историки-романтики, когда вокруг нас ни один свидетель не в состоянии охватить с точностью и полнотой те детали, которых мы столь наивно ищем у древних авторов? В лучшем случае такие описания представляют декорацию в том виде, как ее воображали во времена данного писателя. Это тоже чрезвычайно поучительно, но отнюдь не является тем родом сведений, которых любители живописного обычно ищут в своих источниках.

Надо, однако, уточнить, к каким выводам приводят нас эти

замечания, возможно лишь с виду пессимистические. Они не затрагивают основу структуры прошлого. Остаются справедливыми слова Бейля: «Никогда нельзя будет убедительно возразить против той истины, что Цезарь победил Помпея» [42], и, какие бы принципы ни выдвигались в споре, нельзя будет найти что-либо более несокрушимое, чем фраза «Цезарь и Помпей существовали в действительности, а не являлись плодом фантазии тех, кто описал их жизнь». Правда, если бы следовало сохранить как достоверные лишь несколько фактов такого рода, не нуждающихся в объяснении, история была бы сведена к ряду грубых утверждений, не имеющих особой интеллектуальной ценности. Дело, к счастью, обстоит не так. Единственные причины, для которых психология свидетельства отмечает наибольшую частоту недостоверности, это самые ближайшие по времени события. Большое событие можно сравнить со взрывом. Скажите точно, при каких условиях произошел последний молекулярный толчок, необходимый для высвобождения газов? Часто нам придется примириться с тем, что этого мы не узнаем. Конечно, это прискорбно, но в лучшем ли положении находятся химики? Состав взрывчатой смеси, однако, целиком поддается анализу. Революция 1848 года была движением, вполне отчетливо детерминированным; только по какой-то странной аберрации кое-кто из историков счел возможным представить ее как типично случайное происшествие, в то время как известны многие весьма различные и весьма активные факторы, которые Токвиль сумел тогда же распознать и которые ее давно подготавливали. Чем была стрельба на Бульваре капуцинок [43], как не последней искрой?

Но мало того, что, как мы увидим далее, ближайшие причины слишком часто ускользают от наблюдения очевидцев и, следовательно, от нашего. Сами по себе они принадлежат в истории к особому разделу непредвидимого, «случайного». Можем утешиться еще и тем, что неполноценность свидетельств обычно делает эти причины недоступными для самых тонких наших инструментов. Даже когда они лучше известны, их столкновение с великими каузальными цепями эволюции даст осадок лжи, который наша наука не в состоянии устранить и не имеет права делать вид, что она его устранила. Что касается интимных пружин человеческих судеб, перемен в мышлении или в образе чувств, в технике, в социальной или экономической структуре, то свидетели, которых мы об этом спрашиваем, нисколько не подвержены слабостям моментального восприятия. По счастливому единству, которое предвидел уже Вольтер, самое глубокое в истории — это также и самое в ней достоверное.

* * *

Крайне различная у разных индивидуумов способность наблюдать не является также и социальной константой. Некоторые

эпохи были ею наделены меньше, чем другие. Как ни низко стоит, например, у большинства людей нашего времени восприятие чисел, мы в общем не так уж ошибаемся, как средневековые анналисты — наше восприятие, как и наша цивилизация, пропитано математикой. Если бы ошибки в свидетельствах определялись в конечном счете только недостаточной остротой ощущений или внимания, историку пришлось бы представить их изучение психологу. Но наряду с довольно обычными мелкими отклонениями, связанными с деятельностью мозга, многие ошибки в свидетельствах коренятся в явлениях, типичных для особой социальной атмосферы. Вот почему они, равно как и ложь, приобретают иногда документальную ценность.

В сентябре 1917 г. пехотный полк, в котором я находился, залегал в окопах на Шмен-де-Дам, к северу от городка Брен. Во время одной из вылазок мы взяли пленного. Это был резервист, по профессии коммерсант, родом из Бремена на Везере. Чуть позже до нас дошла из тыла забавная история. Наши прекрасно информированные товарищи говорили примерно так: «Подумайте, до чего доходит немецкий шпионаж! Мы захватываем небольшой их пост в центре Франции и кого же мы там находим? Коммерсанта, устроившегося в мирное время в нескольких километрах отсюда, в Брене». Конечно здесь — игра слов [44]. Но не будем считать, что все так просто. Можно ли взваливать вину только на слух? Настоящее название города было не то чтобы плохо расслышано, а скорее неправильно понято; никому не известное, оно не привлекло внимания. По естественной склонности ума людям казалось, что они слышат вместо него знакомое название. Но и этого мало. Уже в первый акт истолкования входил другой, столь же безотчетный. Бесчисленные рассказы о немецких кознях создали мысленную картину, к сожалению, слишком часто оказывавшуюся правдивой; она приятно щекотала романтические чувства толпы. Подмена Бремена Бреном как нельзя лучше согласовывалась с этим умонастроением и, конечно, напрашивалась сама собой.

Так и бывает с большинством искаженных свидетельств. Направление ошибки почти всегда предопределено заранее. Главное, она распространяется и приживается только в том случае, если согласуется с пристрастиями общественного мнения. Она становится как бы зеркалом, в котором коллективное сознание созерцает свои собственные черты. Во многих бельгийских домах сделаны на фасадах узкие отверстия, чтобы штукатурам было легче укреплять леса. Немецкие солдаты в 1914 г. и не подумали бы в этой безобидной выдумке каменщиков усмотреть бойницы, приготовленные вольными стрелками, не будь их воображение уже давно напугано призраком партизанской войны. Облака не изменили своей формы со средних веков. Мы, однако, уже не видим в них ни креста, ни волшебного меча. Хвост кометы, которую наблюдал великий Амбруаз Паре, вероятно, нисколько не отличался

от тех, что движутся по нашим небесам. Паре, однако, чудилось, что он видит там щиты со странными гербами. Предрассудок одержал верх над обычной точностью глаза, и его свидетельство, как и многие другие, говорит нам не о том, что он наблюдал в действительности, а о том, что в его время считалось естественным видеть.

Однако для того, чтобы ошибка одного свидетеля стала ошибкой многих, чтобы неверное наблюдение превратилось в ложный слух, необходимо определенное состояние общества. Чрезвычайные потрясения коллективной жизни, пережитые нашими поколениями, дают, конечно, множество разительных примеров. Правда, факты настоящего слишком близки к нам, чтобы их подвергать точному анализу. Зато войну 1914—1918 гг. можно рассматривать с большей дистанции.

Всем известно, как урожайны были эти четыре года на ложные вести, в особенности среди сражавшихся. Именно в этом крайне своеобразном «окопном» обществе интересней всего проследить, как создавались слухи.

Роль пропаганды и цензуры была значительна, но на свой лад. Она оказалась противоположной тому, чего ожидали создатели этих органов. Как превосходно сказал один юморист, «в окопах господствовало убеждение, что все может быть правдой, кроме того, что напечатано». Газетам не верили, литературе также, ибо, помимо того, что любые издания приходили на фронт очень нерегулярно, все были убеждены, что печать строго контролируется. Отсюда — поразительное возрождение устной традиции, древней матери легенд и мифов. Мощным толчком, о котором не посмел бы мечтать самый отважный экспериментатор, правительства как бы стерли предшествующее многовековое развитие и отбросили солдата-фронтовика к средствам информации и состоянию ума древних времен, до газеты, до бюллетеня, до книги.

Слухи рождались обычно не на передовой. Там небольшие отряды были для этого слишком изолированы друг от друга. Солдат не имел права перемещаться без приказа, и если это делал, то чаще всего рискуя жизнью. Иногда, правда, здесь появлялись случайные гости: связные, исправлявшие линию телефонисты, артиллерийские наблюдатели. Эти важные персоны мало общались с простым пехотинцем. Но были также и регулярные связи, гораздо более существенные. Их порождала забота о пропитании. Агорой[45] этого мирка убежищ и сторожевых постов являлись кухни. Там встречались раз или два в день дневальные, приходившие из разных пунктов сектора, там они беседовали между собой или с поварами. Последние много знали, ибо, находясь на перекрестке дорог из всех воинских частей, они, кроме того, обладали особой привилегией — могли ежедневно обмениваться несколькими словами с кондукторами воинских составов, счастливцами, размещавшимися по соседству со штабами. Так вокруг

костров или очагов походных кухонь завязывались мимолетные связи между совершенно несхожими людьми. Затем дневальные трогались в путь по тропинкам и траншеям и вместе с котлами приносили на передовые линии всякие известия, правдивые или ложные, но почти всегда слегка искаженные и сразу же подвергавшиеся дальнейшей переработке. На военных картах, чуть позади соединяющихся черточек, указывающих передовые позиции, можно нанести сплошь заштрихованную полосу — зону формирования легенд.

История знала немало обществ, в которых существовали аналогичные условия, с той лишь разницей, что эти условия были не временным следствием чрезвычайного кризиса, а составляли нормальную основу жизни. Там тоже устная передача являлась единственно надежной. И связи между разрозненными элементами также осуществлялись почти исключительно особыми посредниками или в определенных узловых пунктах. Бродячие торговцы, жонглеры, паломники, нищие заменяли там наших дневальных, пробиравшихся по траншеям. Регулярные встречи происходили на рынках или по случаю религиозных празднеств. Так обстояло дело, например, во времена раннего средневековья. Монастырские хроники, составленные в результате опросов странников, во многом схожи с заметками, которые могли бы писать, будь у них к этому вкус, наши кухонные капралы. Для ложных слухов эти общества всегда были превосходным питательным бульоном. Частое общение между людьми заставляет сравнивать различные версии. Оно развивает критическое чувство. Напротив, рассказчику, который, появляясь изредка, приносит трудными путями далекие вести, верят безоговорочно.

3. ОЧЕРК ЛОГИКИ КРИТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Критика свидетельства, занимающаяся психическими явлениями, всегда будет тонким искусством. Для нее нет готовых рецептов. Но все же это искусство рациональное, основанное на методичном проведении нескольких важнейших умственных операций. Короче, у него есть своя собственная диалектика, которую следует попытаться определить.

Предположим, что от какой-то исчезнувшей цивилизации остался лишь один предмет и к тому же обстоятельства его нахождения не дают возможности связать его с чем бы то ни было, даже чуждым человеку, например с геологическими отложениями (ибо при поисках связей неодушевленную природу тоже надо принимать в расчет). Нам совершенно невозможно будет датировать эту единичную находку и оценить ее подлинность. В самом деле, всякое установление даты, всякая проверка и интерпретация источника в целом возможны лишь при включении его в хро-

нологический ряд или синхронный комплекс. Мабильон создал дипломатику, сопоставляя меровингские дипломы то один с другим, то с текстами иных эпох или иного характера; экзегетика родилась из сопоставления евангельских рассказов. В основе почти всякой критики лежит сравнение.

Но результаты этого сравнения неоднородны. Оно приводит к установлению либо сходства; либо различия. В некоторых случаях совпадение одного свидетельства со свидетельствами близкими по времени может привести к прямо противоположным выводам.

Сперва рассмотрим простейший случай — рассказ. Марбо в своих «Мемуарах», которые столь волновали юные сердца, сообщает с массой подробностей об одном отважном поступке, героем которого выводит самого себя: если ему верить, в ночь с 7 на 8 мая 1809 г. он переплыл в лодке бурные волны разлившегося Дуная, чтобы захватить на другом берегу у австрийцев несколько пленных. Как проверить этот рассказ? Разумеется, призвав на помощь другие свидетельства. У нас есть армейские приказы, походные журналы, отчеты; они свидетельствуют, что в ту знаменитую ночь австрийский корпус, чьи палатки Марбо, по его словам, нашел на левом берегу, еще занимал противоположный берег. Кроме того, из «Переписки» самого Наполеона явствует, что 8 мая разлив еще не начался. Наконец, найдено прошение о производстве в чине, написанное самим Марбо 30 июня 1809 г. Среди заслуг, на которые он там ссылается, нет ни слова о его славном подвиге, совершенном в прошлом месяце. Итак, с одной стороны — «Мемуары», с другой — ряд текстов, их опровергающих. Надо разобраться в этих противоречивых свидетельствах. Что мы сочтем более правдоподобным? Что там же, на месте, и штабы и сам император ошибались (если только они, бог весть почему, не исказили действительность умышленно); что Марбо в 1809 г., жаждая повышения, грешил ложной скромностью; или что много времени спустя старый воин, чьи россказни, впрочем, снискали ему определенную славу, решил подставить еще одну подножку истине? Очевидно, никто не станет колебаться: «Мемуары» снова солгали.

Итак, здесь установление разногласия опровергло одно из противоречивых свидетельств. Одно из них должно было пасть. Этого требовал самый универсальный из постулатов логики: закон противоречия категорически не допускает, чтобы какое-то событие могло произойти и в то же время не произойти. Правда, в мире ученых встречаются этакие покладистые люди, которые при двух антагонистических утверждениях останавливаются на чем-то среднем; они напоминают мне школьника, который, отвечая, сколько будет 2 в квадрате, и слыша с одной стороны подсказку «четыре», а с другой — «восемь», решил, что правильным ответом будет «шесть».

Остается вопрос, как делать выбор между свидетельством отвергаемым и тем, которое как будто должно быть принято. Здесь решает психологический анализ: мы взвешиваем возможные мотивы правдивости, лживости или заблуждения свидетелей. В данном случае эта оценка приводит к почти бесспорным выводам. Но при других обстоятельствах она иногда осложняется гораздо более высоким коэффициентом неуверенности. Выводы, основанные на тщательнейшем взвешивании мотивов, располагаются на большой шкале от почти невозможного до совершенно правдоподобного.

Вот, однако, примеры другого типа.

Грамота, датированная XII в., написана на бумаге, тогда как все обнаруженные до сих пор подлинные документы той эпохи написаны на пергамене; форма букв в ней сильно отличается от той, которую мы видим в других документах того же времени; язык изобилует словами и оборотами, не свойственными тогдашнему обиходу. Или так: характер обработки некоего орудия, как нам говорят, — палеолитического, обнаруживает приемы, которые, насколько нам известно, применялись лишь в эпохи гораздо более близкие к нам. Мы сделаем вывод, что эта грамота и это орудие — поддельные. Как и в предыдущем случае, приговор будет вынесен на основе разноречия, но из соображений совсем иного рода. В данном случае аргументация будет строиться на том, что в пределах жизни одного поколения в рамках одного и того же общества господствует такое единообразие обычаев и технических приемов, что ни один индивидуум не может существенно отойти от общепринятой практики. Мы считаем бесспорным, что какой-нибудь француз времен Людовика VII выписывал буквы примерно так же, как его современники *; что изъяснялся он примерно теми же словами; что пользовался он теми же материалами; что если бы один из ремесленников мадленской эпохи располагал для обработки костяных наконечников механической пилой, то его товарищи также пользовались бы ею. Постулат этот в конечном итоге — социологического порядка. Понятие «коллективный эндосмос», влияние количества, неизбежность подражания, на которых этот постулат основан, несомненно, подтверждаются постоянным опытом человечества и в целом сливаются с самим понятием «цивилизация».

Не очень хорошо, однако, если свидетельства чересчур уж совпадают во всем. Это говорит тогда не в их пользу и скорее побуждает их отвергнуть.

Всякий, кто участвовал в сражении при Ватерлоо, знал, что Наполеон потерпел там поражение. Слишком уж оригинального свидетеля, который стал бы это отрицать, мы сочтем лжесвидетелем. Мы должны допустить, что, если ограничиться простой и грубой констатацией поражения Наполеона при Ватерлоо, то во французском языке нет особых возможностей высказать это

как-то иначе. Но что, если два свидетеля или те, кто претендует на эту роль, опишут нам битву в одних и тех же выражениях? Или даже при некотором различии выражений опишут ее с теми же деталями? Мы без колебаний сделаем вывод, что один из них списал у другого или что оба они списали с какого-то общего образца. Действительно, наш ум отказывается допустить, что два наблюдателя, неизбежно находившиеся в разных пунктах и в разной степени внимательные, могли записать с одними и теми же подробностями один и тот же эпизод; что в бесчисленном количестве слов французского языка два писателя, работавших независимо один от другого, могли, действуя произвольно, выбрать те же слова и в той же последовательности для описания одних и тех же фактов.

Если оба рассказа выдают себя за непосредственное описание действительности, по крайней мере один из них лжет.

Представьте себе еще, что на двух древних памятниках из камня высечены два военных эпизода. Они относятся к двум разным походам, но изображены почти в одинаковых чертах. Археолог скажет: «Один из двух художников наверняка обокрал другого, если только они оба не довольствовались воспроизведением какого-то общепринятого шаблона». Неважно, что две эти стычки отделены лишь коротким промежутком времени или что в них сражались те же народы — египтяне против хеттов, ассирийцы против эламитов. Нас возмущает сама мысль, что, при бесконечном разнообразии человеческих поз, для изображения двух различных событий, совершившихся в разное время, выбраны одни и те же жесты. В качестве свидетельства о ратных подвигах, на что эти картины претендуют, по крайней мере одна из них, если не обе, безусловно, подделка.

Так критика движется между двумя крайностями — сходством подтверждающим и сходством опровергающим. Дело в том, что возможность случайного совпадения имеет свои пределы и ткань социального единообразия не так уж ровна и гладка. Иными словами, мы полагаем, что в мире и в данном обществе единообразие достаточно велико, чтобы исключить возможность слишком резких отклонений. Но это единообразие, как мы его представляем себе, определяется чертами весьма обобщенными. Оно предполагает, думаем мы, и в какой-то мере охватывает — стоит лишь углубиться в факты действительности — число возможных комбинаций, слишком близкое к бесконечности, чтобы можно было допустить их ненарочитое повторение: для этого необходим сознательный акт подражания. Хотя в конечном счете критика свидетельства все же основана на инстинктивной метафизике подобного и различного, единичного и множественного.

* * *

Когда у нас возникло предположение о том, что перед нами копия, нам остается определить направление влияния. Надо ли считать, что в каждой паре документов оба исходят из одного общего источника? А если предположить, что один из них подлинный, то который из двух достоин этого звания? Иногда ответ подсказывают внешние критерии, например датировка обоих документов, если ее можно установить. Если же этого подспорья нет, вступает в свои права психологический анализ, опирающийся на более глубокие, внутренние особенности, присущие самому предмету или тексту.

Естественно, что такой анализ не подчиняется механическим правилам. Надо ли, например, как делают некоторые эрудиты, руководствоваться тем принципом, что при последующих обработках текста в него вносятся все новые выдумки? Тогда текст наиболее сжатый и наименее неправдоподобный всегда будет иметь шанс, что его признают самым древним. Порой это верно. Мы видим, что от одной надписи к другой число врагов, павших в бою с тем или иным ассирийским царем, непомерно возрастает. Но случается, что этот принцип изменяет. Самое баснословное описание «страстей» святого Георгия [46] — как раз первое по времени; в дальнейшем, принимаясь за обработку старинного рассказа, его редакторы устраняли одну деталь за другой, шокированные их невероятной фантастичностью. Есть много способов подражания. Они зависят от характера индивидуума, а порой — от условностей, принятых целым поколением. Как и любую другую интеллектуальную позицию, их нельзя предвидеть заранее, ссылаясь на то, что нам, мол, они кажутся «естественными».

К счастью, плагиаторы нередко выдают себя своими промахами. В случае, если они не поняли текста, послужившего им образцом, их бессмыслица изобличает их мошенничество. Если же они пытаются замаскировать свои заимствования, их губит примитивность уловок. Я знал одного гимназиста, который на уроке, не сводя глаз с тетрадки соседа, старательно списывал его сочинение фразу за фразой, только переиначивая их. С большой последовательностью он делал подлежащее дополнением, а действительный залог менял на страдательный. Разумеется, он лишь дал учителю превосходный образец для применения исторической критики.

Разоблачить подражание там, где, как нам кажется, у нас есть два или три свидетеля, значит оставить из них лишь одного. Два современника Марбо, граф де Сегюр [47] и генерал Пеле́, дали аналогичное его рассказу описание пресловутой переправы через Дунай. Но Сегюр писал после Пеле. Он читал Пеле. Он попросту списал. Что касается Пеле, тот, правда, писал до Марбо, но он был его другом и, безусловно, часто слышал рассказы о его вы-

мышленных подвигах, ибо неутомимый хвастун, дурача своих близких, упражнялся в том, чтобы получше мистифицировать потомков. Итак, Марбо остается единственным собственным поручителем, ибо два других говорили с его слов. Когда Тит Ливий воспроизводит Полибия, пусть даже приукрашивая его, единственным авторитетом для нас остается Полибий. Когда Эйнхард, обрисовывая Карла Великого, повторяет портрет Августа, сделанный Светонием, — тут, собственно, вовсе нет свидетеля.

Бывает, наконец, что за мнимым свидетелем прячется суфлер, не желающий себя назвать. Изучая процесс тамплиеров, Роберт Ли[48] заметил, что когда два обвиняемых, принадлежавших к различным группам ордена, допрашивались одним инквизитором, они неизменно признавались в одних и тех же зверствах и кощунствах. Но если двое обвиняемых, даже принадлежащих к одной группе, попадали на допрос к разным инквизиторам, их признания уже не совпадали. Естественно сделать вывод, что ответы диктовал тот, кто допрашивал. Подобные примеры, я думаю, можно часто встретить в юридических актах.

Роль, которую играет в критическом рассуждении то, что можно назвать принципом ограниченного сходства, нигде, без сомнения, не выступает с такой рельефностью, как при новейшем применении этого метода — при статистической критике.

Предположим, я изучаю цены в период между двумя определенными датами в обществе с весьма развитыми связями и с активным торговым оборотом. После меня за это исследование берется другой ученый, затем третий, но они пользуются материалами, которые отличаются от моих, а также различны у обоих: другие счетные книги, другие прейскуранты. Каждый из нас устанавливает средние годовые цены, определяет на основе некоей общей базы индексы, выводит графики. Все три кривые примерно совпадают. Отсюда можно заключить, что каждая из них дает в общем верное представление о движении цен. Почему?

Дело не только в том, что в однородной экономической среде большие колебания цен непременно должны подчиняться единообразному ритму. Этого соображения было бы, наверное, достаточно, чтобы взять под подозрение резко отклоняющиеся кривые, но не для того, чтобы убедить нас, что среди всех возможных вариантов тот, в котором наши три кривые совпадают, единственно верный именно потому, что они тут совпадают. На трех одинаково подкрученных весах можно взвесить один и тот же груз и получить один и тот же результат — неверный. Суть рассуждения основывается здесь на анализе механизма ошибок. Ни один из наших трех графиков цен нельзя считать свободным от этих ошибок в деталях. В области статистики такие ошибки почти неизбежны.

Допустим, что мы устраняем возможность индивидуальных

ошибок исследователя (не говоря о более грубых промахах, ибо кто из нас решится утверждать, что никогда не запутывался в неописуемом лабиринте старинных мер?), но даже добросовестнейший ученый будет попадать в ловушки, расставляемые самими документами. По неаккуратности или нечестности некоторые цены могли быть записаны неточно; другие являются исключением (например, цена товара, продаваемого «другу», или, наоборот, вздутая цена), и потому могут сильно исказить нашу среднюю; прейскуранты, отражающие средние рыночные цены, не всегда составлялись с идеальной точностью. Но при большом числе цен эти ошибки уравновешиваются, так как в высшей степени неправдоподобно, чтобы ошибки всегда делались в одном направлении. Итак, если соответствие результатов, полученных при помощи различных данных, можно считать их взаимоподтверждением, это объясняется тем, что лежащее в глубине соответствие разных небрежностей, мелких обманов, мелких уступок представляется нам — и вполне резонно — не поддающимся исследованию. Если при каких-то неустранимых разноречиях свидетели в конечном счете приходят к согласию, мы должны отсюда сделать вывод, что в основе их показания исходят из реальности, суть которой в данном случае вне сомнений.

Реактивы, применяемые для проверки свидетельств, требуют осторожного обращения. Почти все рациональные принципы, почти все опытные данные в этой области, если доводить их до крайности, приводят к своей противоположности. Как у всякой уважающей себя логики, у исторической критики есть свои антиномии, по крайней мере внешние.

Чтобы свидетельство было признано подлинным, этот метод, как мы видели, требует определенного сходства данного свидетельства с близкими ему. Но если выполнять это требование неукоснительно, что станется с открытием? Ведь само слово «открытие» означает неожиданность, отклонение. Заниматься наукой, которая ограничивается констатацией того, что все происходит всегда так, как этого ожидаешь, было бы и бесполезно и неинтересно. До сих пор не обнаружено грамот на французском языке, написанных ранее 1204 г. (а не по-латыни, как было в предшествующие времена). Вообразим, что завтра какой-нибудь ученый найдет французскую грамоту, датированную 1180 г. Признает ли он этот документ подложным или же сделает вывод, что наши знания были недостаточными?

Впрочем, впечатление, что найденное свидетельство противоречит данным своей эпохи, коренится порой не только в преходящей неполноте наших знаний. Бывает, что это несоответствие присуще самим изучаемым предметам. Социальная однородность не так уже всесильна, чтобы некие индивидуумы или небольшие группы не могли ускользнуть от ее власти. Откажемся ли мы признать установленные даты «Писем к провинциалу» [49] или

«Горы Сент-Виктуар»[50] под тем предлогом, что Паскаль писал не так, как Арно[51], а живопись Сезанна отличается от живописи Бугро? Сочтем ли мы поддельными древнейшие орудия из бронзы на том основании, что из большинства слоев той эпохи нам пока удалось добыть лишь орудия из камня?

Эти ложные умозаключения отнюдь не выдумка, и можно было бы привести длинный список фактов, которые сперва отрицались рутинной эрудицией, потому что были неожиданными, начиная с обожествления животных у египтян, над чем так усиленно потешался Вольтер, и кончая следами римского быта в слоях третичной эпохи[52]. Однако, если приглядеться, методологический парадокс здесь только внешний. Умозаключение на основе сходства не утрачивает своих прав. Важно лишь, чтобы точный анализ определял возможность отклонений и пункты необходимого сходства.

Ибо всякая индивидуальная оригинальность имеет свои границы. Стиль Паскаля принадлежит только ему, но его грамматика и словарный фонд принадлежат его времени. Наша условная грамота 1180 г. может отличаться особенностями языка, не встречающимися в других известных нам документах того же времени. Но чтобы можно было ее считать подлинной, французский язык в ней должен в целом соответствовать состоянию, отраженному в литературных текстах, относящихся к этой дате, и упоминаемые в ней учреждения должны соответствовать тем, которые в то время существовали.

Правильно проводимое критическое сопоставление не довольствуется сближением свидетельств одного временного плана. Всякий феномен человеческой жизни — звено цепи, проходящей через века. В тот день, когда новый Врен-Люка, бросив на стол в Академии пачку автографов, захочет нам доказать, что Паскаль открыл принцип относительности еще до Эйнштейна, мы без обиняков скажем, что его бумаги поддельны. Не потому, что Паскаль был неспособен открыть то, чего не открывали его современники, а потому, что теория относительности была открыта в результате долгого развития математических умозаключений. Ни один человек, будь он даже самым великим гением, не мог бы самостоятельно проделать эту работу поколений. И напротив, когда при первых открытиях палеолитических рисунков некоторые ученые оспаривали их подлинность или датировку под тем предлогом, что подобное искусство не могло после такого расцвета полностью угаснуть, эти скептики рассуждали неправильно: некоторые цепи обрываются, и цивилизации смертны.

Когда читаешь, пишет отец Делэ, что церковь отмечает в один и тот же день праздник двух своих деятелей, которые оба умерли в Италии; что обращение одного и другого было вызвано чтением «житий святых»; что каждый из них основал монашеский орден с названием, происходящим от одного и того же слова; что оба эти ордена были затем упразднены двумя папами-тезками, так и

хочется сказать, что, видимо, в мартиролог по ошибке вписали одну и ту же личность под двумя именами. Между тем это чистая правда: ставши монахами под влиянием биографий праведников, святой Джованни Коломбини основал орден иезуатов, а Игнатий Лойола — орден иезуитов; оба умерли 31 июля (первый близ Сиены в 1367 г., второй в Риме в 1556); орден иезуатов был упразднен папой Климентом IX, а Братство Иисусово — Климентом XIV[53]. Пример весьма любопытный. Наверное, он не единственный. Если после какого-нибудь катаклизма от философских трудов последних столетий останется лишь несколько скудных отрывков, какие мучительные размышления вызовет у ученых существование двух мыслителей, которые оба англичане, оба носят имя Бэкон и оба в своем учении уделяли большое место опытному знанию. Г-н Пайс[54] признал легендами многие древнеримские предания лишь на том основании, что в них также упоминаются одни и те же имена в связи с довольно похожими эпизодами. Не в обиду будь сказано критике плагиатов, суть которой — в отрицании спонтанного повторения событий или имен, совпадение — одна из тех причуд истории, которые нельзя просто зачеркнуть.

Но мало признать возможность случайных накладок. Сведенная к этой простой констатации, критика вечно будет балансировать между «за» и «против». Сомнение станет орудием познания лишь тогда, когда в каждом отдельном случае можно будет с известной точностью оценить степень вероятности данной комбинации. Здесь путь исторического исследования, как и многих других гуманитарных дисциплин, пересекается с широкой дорогой теории вероятности.

* * *

Оценить вероятность какого-либо события — значит установить, сколько у него есть шансов произойти. Приняв это положение, имеем ли мы право говорить о возможности какого-либо факта в прошлом? В абсолютном смысле — очевидно, не имеем. Гадать можно только о будущем. Прошлое есть данность, в которой уже нет места возможному. Прежде чем выбросишь кости, вероятность того, что выпадет то или иное число очков, равна одному к десяти. Но когда стаканчик пуст, проблемы уже нет. Возможно, позже мы будем сомневаться, выпало ли в тот день три очка или пять. Неуверенность тогда будет в нас, в нашей памяти или в памяти очевидцев нашей игры. Но не в фактах реальности.

Однако, если вдуматься, применение понятия вероятности в историческом исследовании не имеет в себе ничего противоречивого. Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления.

Так что вероятность — все равно в будущем. Но поскольку линия настоящего тут мысленно отодвинута назад, мы получим будущее в прошедшем, состоящее из части того, что для нас теперь является прошлым. Если факт бесспорно имел место, эти рассуждения не больше, чем метафизическая игра. Какова была вероятность того, что родится Наполеон? Что Адольф Гитлер, будучи в 1914 г. солдатом, избегнет французской пули? Развлекаться такими вопросами не запрещено. При условии, что им придается лишь то значение, которое они имеют в действительности; это просто разговорный прием, позволяющий более рельефно показать роль случайного и непредвидимого в историческом движении человечества. В них нет ничего общего с критикой свидетельства. Но если, напротив, сомнительно само существование факта? Например, мы сомневаемся, что некий автор мог, не списывая чужой рассказ, самостоятельно повторить многие его эпизоды и даже слова; что только случай или некая богами предустановленная гармония могут объяснить поразительное сходство памфлетов одного писаки[55] времен Второй империи[56] с «Протоколами сионских мудрецов». Мы сегодня можем допустить или отвергнуть правдоподобие такого совпадения в зависимости от того, насколько — еще до написания рассказа — это совпадение представлялось возможным с большим или меньшим коэффициентом вероятности.

Однако математические расчеты случайного основаны на воображаемом допущении. При всех возможных случаях постулируется в исходном моменте равновесие условий: причина, которая заранее благоприятствовала бы одному или другому, была бы в этих расчетах инородным телом. Игральная кость теоретиков — идеально уравновешенный куб; если в одну из его граней впаять свинцовый шарик, шансы игроков уже не будут равны. Но критика свидетельств почти сплошь имеет дело с краплеными костями. Ибо тут постоянно вмешиваются тончайшие элементы человеческого, склоняя чашу весов в сторону какой-то одной преобладающей возможности.

Правда, одна из исторических дисциплин является исключением — это лингвистика, по крайней мере та ее отрасль, которая занимается установлением родственности языков. Сильно отличаясь по масштабу собственно критических операций, этот вид исследования имеет с исторической критикой то общее, что стремится раскрыть филиации. Условия, являющиеся тут объектом рассуждений, чрезвычайно близки исходному условию равенства, присущему теории случайного. Этой привилегией лингвистика обязана особенностям феноменов языка. Действительно, огромное количество возможных комбинаций звуков сводит к ничтожному числу вероятность их случайного повторения в больших масштабах в различных говорах. Но тут есть и нечто более важное: если исключить немногие подражательные звукосочетания, значения, вкладываемые в эти комбинации, совершенно произвольны. То, что

очень сходные сочетания «тю» или «ту» («tu», произнесенное по-французски или по-латыни) служат для обозначения второго лица, очевидно, не предопределено заранее какой-либо образной связью. Поэтому, если мы устанавливаем, что таков смысл данного сочетания звуков во французском, итальянском, испанском и румынском языках, и если мы к тому же находим в этих языках множество других соответствий, равно иррациональных, то единственным разумным объяснением будет то, что французский, итальянский, испанский и румынский языки имеют общее происхождение. Различные возможности были тут для человека равноценны, поэтому решение обусловлено почти чистым подсчетом шансов. Но далеко не всегда дело обстоит так просто.

В нескольких дипломах средневекового монарха, трактующих о различных предметах, мы встречаем одни и те же слова и обороты. Приверженцы «критики стиля» утверждают: причина в том, что эти дипломы составлены одним нотариусом. Если бы все определялось только случаем, с их мнением можно было бы согласиться. Но это не так. В каждом обществе и, более того, в каждой небольшой профессиональной группе существуют свои языковые навыки. Значит, недостаточно указать пункты сходства. Надо еще отделить в них редкое от общеупотребительного. Лишь действительно необычные выражения могут свидетельствовать в пользу одного автора, разумеется, при условии, что они повторяются достаточно часто. Ошибка здесь в том, что всем элементам языка придается одинаковый вес, как если бы изменчивые коэффициенты социальных предпочтений не были свинцовыми шариками, что нарушают равновесие шансов.

С начала XIX в. целая школа ученых занялась исследованием истории списков литературных текстов. Принцип прост. Перед нами три рукописи одного и того же произведения: B, C, D; мы констатируем, что все три содержат одни и те же, явно ошибочные прочтения оригинала (это самый старый, выдвинутый Лахманном [57], метод установления ошибок). Либо мы вообще в них находим одни и те же прочтения, правильные и неправильные, но по большей части отклоняющиеся от соответственных мест в других рукописях (предложенный дом Кантеном интегральный учет вариантов) [58]. Мы решаем, что экземпляры «родственны». Это можно понимать по-разному: либо одни из них списаны с других в последовательности, которую еще предстоит определить, либо все они, каждая рукопись своим путем, восходят к некоей общей модели. В самом деле, трудно допустить, чтобы такая последовательность совпадений была случайной. Однако два сравнительно недавно выдвинутые соображения вынуждают критику текстов в значительной мере отказаться от квазимеханической строгости своих выводов.

Переписчики порой исправляли свою модель. Даже тогда, когда они работали независимо друг от друга, общие навыки

мышления, вероятно, довольно часто диктовали им сходные решения. Теренций кое-где употребляет исключительно редкое слово raptio[а]. Не поняв его, два переписчика заменили его словом ratio[б], вносящим бессмыслицу, но зато знакомым. Надо ли было им для этого сговариваться или списывать друг у друга? Такой тип ошибок ничего не может нам прояснить в «генеалогии» рукописей. Более того. Почему переписчик должен был всегда пользоваться только одной моделью? Никто ему не запрещал, если была возможность, сопоставлять несколько экземпляров, чтобы по своему усмотрению сделать выбор между различными вариантами. Конечно, это случай редкий для средних веков, когда библиотеки были бедны, зато, по всей вероятности, гораздо более частый в античную эпоху.

Какое место предназначить этим кровосмесительным порождениям нескольких разных традиций на роскошных древах Иессеевых[59], которые принято изображать в критических изданиях? В игре совпадений воля индивидуума, как и влияние коллективных сил, плутует в сговоре со случаем.

Как поняла уже вместе с Вольнеем философия XVIII в., большинство проблем исторической критики — это, конечно, проблемы вероятности, но настолько сложные, что самые детальные вычисления не помогают их решить. Беда не только в чрезвычайной сложности данных, но и в том, что сами по себе они чаще всего не поддаются переводу на язык математики. Как, например, выразить в цифрах особое предпочтение, которым пользуется в данном обществе некое слово или обычай? Мы не можем избавиться от наших трудностей, переложив их на плечи Ферма, Лапласа и Эмиля Бореля. Но так как их наука находится в некотором роде на пределе, не достижимом для нашей логики, мы можем хотя бы просить ее, чтобы она со своих высот помогала нам точнее анализировать наши рассуждения и вернее их направлять.

* * *

Кто сам не имел дела с эрудитами, плохо представляет себе, с каким трудом они обычно соглашаются допустить самое невинное совпадение. Разве не пришлось нам видеть, как уважаемый немецкий ученый утверждал, что Салическая правда составлена Хлодвигом, ибо в ней и в одном эдикте Хлодвига встречаются два схожих выражения?[60]. Не будем повторять банальные аргументы, приводившиеся в споре обеими сторонами. Даже поверхностное знание математической теории вероятности помогло бы тут избежать промаха. Когда случай играет свободно, вероятность единичного совпадения или небольшого числа совпадений не так

[а] похищение (лат.).
[б] разум (лат.).

уж невозможна. Неважно, что эти совпадения кажутся нам удивительными, — недоумениям здравого смысла не следует придавать слишком большое значение.

Можно, забавы ради, высчитать вероятность случайного совпадения, при котором в два разных года кончины двух совершенно различных людей могут прийтись на одно и то же число одного месяца. Она равна $\frac{1}{365}:2$[a]. Предположим теперь (хотя это предположение абсурдно), что заранее предрешено: созданные Джованни Коломбини и Игнатием Лойолой ордена будут упразднены римской церковью. Изучение списка пап позволяет установить: вероятность того, что упразднение это совершат двое пап, носящих одно имя, равна $\frac{11}{13}$. Совместная вероятность совпадения числа и месяца для двух смертей и того, что ордена будут распущены двумя папами-тезками, лежит между $\frac{1}{10^3}$ и $\frac{1}{10^6}$[б]. Желающий держать пари, наверное, не удовлетворился бы таким приблизительным числом. Но точные науки рассматривают как близкие к неосуществимому в нашем земном масштабе лишь возможности порядка 10^{15}. До этого числа тут, как мы видим, еще далеко. А что положение это верно, подтверждается бесспорно засвидетельствованным примером двух святых.

Практически можно не принимать во внимание только вероятность большого скопления совпадений, ибо, в силу хорошо известной теоремы, вероятности отдельных случаев тогда следует перемножить между собой, и их произведение будет вероятностью комбинации; а так как каждая из этих вероятностей представляет дробь, то произведение их будет величиной меньшей, чем каждый

[a] Если предположить, что шансы смертности равны для каждого из дней года. Хотя это неточно (существует годичная кривая смертности), все же такое предположение возможно, без большой погрешности (*прим. М. Блока*).

[б] Со смерти Джованни Коломбини до наших дней во главе римской церкви стояли 65 пап (включая двойные и тройные правления времен Великой схизмы[61]); после кончины Игнатия их сменилось 38. В первом списке 55 повторяющихся имен, которые есть и во втором списке, где их как раз 38 (как известно, папы по обычаю берут имена, освященные прошлым). Возможность того, чтобы иезуаты были распущены одним из этих пап-тезок, была, таким образом, $\frac{55}{65}$ или $\frac{11}{13}$; для иезуитов же она составляла $\frac{38}{38}$, т. е. 1, иначе говоря, была равна уверенности. Комбинация вероятностей составляет $\frac{11}{13}\times 1$, или $\frac{11}{13}$. Наконец $\frac{1}{365^2}$ или $\frac{1}{133\,225}\times\frac{11}{13}$ дает $\frac{1}{1\,731\,925}$ или чуть больше $\frac{1}{157\,447}$. Для полной точности надо было бы учесть продолжительность правления каждого папы. Но в этой математической забаве, единственная цель которой показать, какого порядка величина должна быть принята в расчет, я позволил себе упростить вычисление (*прим. М. Блока*).

из множителей. В лингвистике знаменит пример слова bad, которое по-английски и по-персидски означает «плохой», хотя английское и персидское слова никак не связаны общим происхождением. Тот, кто вздумал бы на этом единственном соответствии построить филиацию, погрешил бы против охранительного закона всякой критики совпадений: тут имеют силу лишь большие числа.

Массовые соответствия или несоответствия состоят из множества частных случаев. В целом же случайные влияния взаимоуничтожаются. Но если мы рассматриваем каждый элемент независимо от другого, воздействие этих переменных величин уже нельзя исключить. Даже при крапленых костях всегда труднее предугадать каждый отдельный бросок, чем исход партии, и этот бросок будет иметь гораздо больше различных объяснений. Вот почему чем дальше критика углубляется в детали, тем меньше уверенности в ее выводах. В «Орестее», какой мы ее читаем сегодня, нет почти ни одного отдельно взятого слова, о котором мы могли бы сказать с уверенностью, что читаем его так, как оно было написано Эсхилом. И все же не будем сомневаться: в целом эта «Орестея» действительно принадлежит Эсхилу. По поводу целого у нас больше уверенности, чем относительно его компонентов.

В какой степени, однако, мы вправе произносить это ответственное слово «уверенность»? Уже Мабильон признавался, что критика грамот не может обеспечить «метафизической» уверенности. И он был прав. Мы только ради простоты иногда подменяем язык вероятности языком очевидности. Но теперь мы знаем лучше, чем во времена Мабильона, что к этой условности прибегаем не только мы одни. В абсолютном смысле слова отнюдь не «невозможно», что «Дар Константина» подлинный, а «Германия» Тацита, как вздумалось утверждать некоторым ученым, подложна. В этом же смысле нет ничего «невозможного» и в предположении, что обезьяна, ударяя наугад по клавишам пишущей машинки, может случайно буква за буквой воспроизвести «Дар» или «Германию». «Физически невозможное событие, — сказал Курно, — это всего лишь событие, вероятность которого бесконечно мала». Ограничивая свою долю уверенности взвешиванием вероятного и невероятного, историческая критика отличается от большинства других наук о действительности лишь несомненно более тонкой нюансировкой степеней.

* * *

Всегда ли представляем мы себе, какую огромную пользу принесло применение рационального метода критики к человеческому свидетельству? Я разумею пользу не только для исторического познания, но и для познания вообще.

В прежние времена, если у вас заранее не было веских поводов заподозрить во лжи очевидцев или рассказчиков, всякий изложен-

ный факт был на три четверти фактом, принятым как таковой. Не будем говорить: так, мол, было в очень давние времена. Люсьен Февр великолепно показал это для Ренессанса [62]: в эпохи, достаточно близкие к нам, только так мыслили и действовали, и поэтому шедевры тех времен все еще остаются для нас живыми. Не будем говорить: да, конечно, таким было отношение легковерной толпы, чья огромная масса, в которой, увы, немало полуученых, вплоть до наших дней постоянно грозит увлечь наши хрупкие цивилизации в страшные бездны невежества или безумия. Самые стойкие умы не были тогда свободны, не могли быть свободны от общих предрассудков. Если рассказывали, что выпал кровавый дождь, стало быть, кровавые дожди бывают. Если Монтень читал у любезных ему древних авторов всякие небылицы о странах, жители которых рождаются безголовыми, или о сказочной силе маленькой рыбки прилипалы [63], он, не поморщившись, вписывал это в аргументы своей диалектики. При всем его остроумии в разоблачении механики какого-нибудь ложного слуха, готовые идеи встречали в нем гораздо больше недоверия, чем так называемые засвидетельствованные факты.

Да, тогда, по раблезианскому мифу, царил старик Наслышка [64]. Как над миром природы, так и над миром людей. И даже над миром природы, быть может, еще больше, чем над миром людей. Ибо, исходя из более непосредственного опыта, люди скорее готовы были усомниться в каком-либо событии человеческой жизни, чем в метеоре или мнимом происшествии в природе. Но как быть, если ваша философия не допускает чуда? Или если ваша религия не допускает чудес других религий? Тогда вам надо поднатужиться, чтобы для этих поразительных явлений найти, так сказать, познаваемые причины, которые — будь то козни дьявола или таинственные приливы, — как-то укладывались в системе идей или образов, совершенно чуждых тому, что мы бы теперь назвали научным мышлением. Но отрицать само явление — такая смелость даже в голову не приходила. Помпонацци, корифей падуанской школы [65], столь чуждой сверхъестественному в христианстве, не верил в то, что короли, даже помазанные миром из священной ампулы, могут — ибо они короли — исцелять больных своим прикосновением. Однако самих исцелений он не отрицал, только приписывал их физиологической особенности, которую считал наследственной: благодать священного помазания сводилась у него к лечебным свойствам слюны у лиц данной династии.

Если картина мира, какой она предстает перед нами сегодня, очищена от множества мнимых чудес, подтвержденных, казалось бы, рядом поколений, то этим мы, конечно, обязаны прежде всего постепенно вырабатывавшемуся понятию о естественном ходе вещей, управляемом незыблемыми законами. Но само это понятие могло укрепиться так прочно, а наблюдения, ему как будто противоречившие, могли быть отвергнуты лишь благодаря кропот-

ливой работе, где объектом эксперимента был человек в качестве свидетеля. Отныне мы в состоянии и обнаружить, и объяснить изъяны в свидетельстве. Мы завоевали право не всегда ему верить, ибо теперь мы знаем лучше, чем прежде, когда и почему ему не следует верить. Так наукам удалось освободиться от мертвого груза многих ложных проблем.

Но чистое знание и здесь, как во всем остальном, не отделено от поведения человека.

Ришар Симон, чье имя в когорте наших основоположников находится в первом ряду, оставил нам не только великолепные труды по экзегетике. Ему пришлось однажды применить всю остроту своего ума для спасения нескольких неповинных людей, преследуемых по нелепому обвинению в ритуальном убийстве. В таком сочетании нет ничего случайного. В обеих областях потребность в интеллектуальной чистоплотности одинакова. И удовлетворить ее в обоих случаях помогало одно и то же орудие. Человек в своей деятельности постоянно вынужден обращаться к информации со стороны, и тут ему не менее важно, чем при научном исследовании, взвешивать точность этой информации. Никаких особых средств для этого нет. Скажем точнее: он пользуется теми же средствами, которые уже выкованы эрудицией. В искусстве извлекать пользу из сомнения судебная практика всего лишь идет по следам — и не без запоздания — болландистов и бенедиктинцев [66]. Даже психологи додумались сделать непосредственно наблюдаемое и провоцируемое свидетельство объектом науки лишь много спустя после того, как туманная память прошлого начала подвергаться проверке разумом. Возмутительно, что в нашу эпоху, особенно подверженную действию бацилл обмана и ложных слухов, критический метод не значится даже в самом крошечном уголке учебных программ, — хотя он уже перестал быть лишь скромным подспорьем в узко специальных работах. Отныне перед ним открылись куда более широкие горизонты, и история вправе назвать в числе самых бесспорных побед то, что она, разрабатывая свои технические приемы, открыла людям новую дорогу к истине и, следовательно, к справедливости.

Глава четвертая

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. СУДИТЬ ИЛИ ПОНИМАТЬ?

Знаменитая формула старика Ранке гласит: задача историка — всего лишь описывать события, «как они происходили» (wie es eigentlich gewesen war)[1]. Геродот говорил это задолго до него: «рассказывать то, что было (ton eonta)». Другими словами, ученому, историку предлагается склониться перед фактами. Эта максима, как и многие другие, быть может, стала знаменитой лишь благодаря своей двусмысленности. В ней можно скромно вычитать всего-навсего совет быть честным — таков, несомненно, смысл, вложенный в нее Ранке. Но также — совет быть пассивным. И перед нами возникают сразу две проблемы: проблема исторического беспристрастия и проблема исторической науки как попытки воспроизведения истории (или же как попытки анализа).

Но существует ли на самом деле проблема беспристрастия? Она возникает только потому, что и это слово, в свою очередь, двусмысленно. Есть два способа быть беспристрастным — как ученый и как судья. Основа у них общая — добросовестное подчинение истине. Ученый регистрирует и, более того, провоцирует опыт, который, возможно, опровергнет самые дорогие для него теории. Честный судья, каково бы ни было его тайное желание, допрашивает свидетелей с одной лишь заботой — узнать факты во всей их подлинности. И для ученого и для судьи — это долг совести, о котором не спорят.

Но наступает момент, когда их пути расходятся. Если ученый провел наблюдение и дал объяснение, его задача выполнена. Судье же предстоит еще вынести приговор. Если он, подавив личные симпатии, вынес приговор, следуя закону, он считает себя беспристрастным. И действительно будет таковым, по мнению судей. Но не по мнению ученых. Ибо невозможно осудить или оправдать, не основываясь на какой-то шкале ценностей, уже не связанной с какой-либо позитивной наукой. Что один человек убил другого — это факт, который в принципе можно доказать. Но чтобы покарать убийцу, мы должны исходить из тезиса, что убийство — вина, а это по сути — всего лишь мнение, относительно которого не все цивилизации были единодушны.

И вот историк с давних пор слывет неким судьей подземного царства, обязанным восхвалять или клеймить позором погибших героев. Надо полагать, такая миссия отвечает прочно укоренивше-

муся предрассудку. Все учителя, которым приходилось исправлять работы студентов, знают, как трудно убедить этих юношей, чтобы они с высоты своей парты не разыгрывали роль Миносов[2] или Осирисов[3]. Тут особенно уместно замечание Паскаля: «Все играют в богов, творя суд: это хорошо, а это плохо». При этом забывают, что оценочное суждение оправдано только как подготовка к действию и имеет смысл лишь в отношении сознательно принятой системы нравственных рекомендаций. В повседневной жизни необходимость определить свою линию поведения вынуждает нас наклеивать ярлыки, обычно весьма поверхностные. Но в тех случаях, когда мы уже не в силах что-либо изменить, а общепринятые идеалы глубоко отличны от наших, там эта привычка только мешает. Достаточно ли мы уверены в самих себе и в собственном времени, чтобы в сонме наших предков отделить праведников от злодеев? Не глупо ли, возводя в абсолют относительные критерии индивидуума, партии или поколения, прилагать их к способу правления Суллы в Риме или Ришелье на Генеральных штатах[4] христианнейшего короля? Нет ничего более изменчивого по своей природе, чем подобные приговоры, подверженные всем колебаниям коллективного сознания или личной прихоти. И история, слишком часто отдавая предпочтение наградному списку перед лабораторной тетрадью, приобрела облик самой неточной из всех наук — бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями. Господа робеспьеристы, антиробеспьеристы[5], мы просим пощады: скажите нам, бога ради, попросту, каким был Робеспьер?!

Полбеды, если бы приговор только следовал за объяснением; тогда читатель, перевернув страницу, легко мог бы его пропустить. К несчастью, привычка судить в конце концов отбивает охоту объяснять. Когда отблески страстей прошлого смешиваются с пристрастиями настоящего, реальная человеческая жизнь превращается в черно-белую картину. Уже Монтень[6] предупреждал нас об этом: «Когда суждение тянет вас в одну сторону, невозможно не отклониться и не повести изложение куда-то вкось». Чтобы проникнуть в чужое сознание, отдаленное от нас рядом поколений, надо почти полностью отрешиться от своего «я». Но, чтобы приписать этому сознанию свои собственные черты, вполне можно оставаться самим собою. Последнее, конечно, требует куда меньше усилий. Насколько легче выступать «за» или «против» Лютера, чем понять его душу; насколько проще поверить словам папы Григория VII об императоре Генрихе IV или словам Генриха IV о папе Григории VII, чем разобраться в коренных причинах одной из величайших драм западной цивилизации![7] Приведем еще в качестве примера — уже не личного, а иного плана — вопрос о национальных имуществах[8]. Революционное правительство, порвав с прежним законодательством, решило распродать эти владения участками и без аукциона, что, несомненно, наносило

серьезный ущерб интересам казны. Некоторые эрудиты уже в наши дни яростно восстали против этого. Какая была бы смелость, если бы они заседали в Конвенте и там отважились говорить таким тоном! Но вдали от гильотины такая абсолютно безопасная храбрость только смешна. Было бы лучше выяснить, чего же в действительности хотели люди III года [9]. А они прежде всего стремились к тому, чтобы мелкому крестьянину облегчить приобретение земли; равновесию бюджета они предпочитали улучшение условий жизни крестьян-бедняков, что обеспечивало их преданность новому порядку. Были эти деятели правы или ошибались? Что мне тут до запоздалого суждения какого-то историка! Единственное, чего мы от него просим, — не подпадать под гипноз собственного мнения настолько, чтобы ему казалось невозможным и в прошлом какое-либо иное решение. Урок, преподносимый нам интеллектуальным развитием человечества, ясен: науки оказывались плодотворными и, следовательно, в конечном счете практически полезными в той мере, в какой они сознательно отходили от древнего антропоцентризма в понимании добра и зла. Мы сегодня посмеялись бы над химиком, вздумавшим отделить злые газы, вроде хлора, от добрых, вроде кислорода. И хотя химия в начале своего развития принимала такую классификацию, застрянь она на этом, — она бы очень мало преуспела в изучении веществ.

Остережемся, однако, слишком углублять эту аналогию. Терминам науки о человеке всегда будут свойственны особые черты. В терминологии наук, занимающихся миром физических явлений, исключены понятия, связанные с целенаправленностью. Слова «успех» или «неудача», «оплошность» или «ловкость» можно там употреблять лишь условно, да и то с опаской. Зато они естественны в словаре исторической науки. Ибо история имеет дело с существами, по природе своей способными ставить перед собой цели и сознательно к ним идти.

Естественно полагать, что командующий армией, вступив в битву, старается ее выиграть. В случае поражения, если силы с обеих сторон примерно равны, мы вправе сказать, что он, видимо, неумело руководил боем. А если мы узнаем, что такие неудачи для него не в новинку? Мы не погрешим против добросовестной оценки факта, придя к выводу, что этот командующий, наверное, неважный стратег. Или возьмем, например, денежную реформу, целью которой, как я полагаю, было улучшить положение должников за счет заимодавцев. Определив ее как мероприятие великолепное или неуместное, мы стали бы на сторону одной из этих двух групп, т. е. произвольно перенесли бы в прошлое наше субъективное представление об общественном благе. Но вообразим, что операция, проведенная для облегчения бремени налогов, на деле по каким-то причинам — и это точно установлено — дала противоположный результат. «Она потерпела крах», — скажем

мы, и это будет только честной констатацией факта. Неудавшийся акт — один из существенных элементов в человеческой эволюции. Как и во всей психологии.

Более того. Вдруг нам станет известно, что наш генерал сознательно вел свои войска к поражению. Тогда мы без колебаний заявим, что он был изменником — так это попросту и называется (со стороны истории было бы несколько педантичной щепетильностью отказываться от простой и недвусмысленной обиходной лексики). Но тогда требуется еще выяснить, как оценивался подобный поступок в соответствии с общепринятой моралью того времени. Измена может порой оказываться своеобразным благоразумием — пример тому кондотьеры в старой Италии [10].

Короче, в наших трудах царит и все освещает одно слово: «понять». Не надо думать, что хороший историк лишен страстей — у него есть по крайней мере *эта* страсть. Слово, сказать по правде, чреватое трудностями, но также и надеждами. А главное — полное дружелюбия. Даже действуя, мы слишком часто осуждаем. Ведь так просто кричать: «На виселицу!» Мы всегда понимаем недостаточно. Всякий, кто отличается от нас — иностранец, политический противник, — почти неизбежно слывет дурным человеком. Нам надо лучше понимать душу человека хотя бы для того, чтобы вести неизбежные битвы, а тем паче, чтобы их избежать, пока еще есть время. При условии, что история откажется от замашек карающего архангела, она сумеет нам помочь излечиться от этого изъяна. Ведь история — это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет братской.

2. ОТ РАЗНООБРАЗИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ФАКТОВ К ЕДИНСТВУ СОЗНАНИЯ

Стремление понять не имеет, однако, ничего общего с пассивностью. Для занятий наукой всегда требуются две вещи — предмет, а также человек. Действительность человеческого мира, как и реальность мира физического, огромна и пестра. В простой ее фотографии, если предположить, что такое механическое всеобъемлющее воспроизведение имеет смысл, было бы невозможно разобраться. Нам скажут, что между прошлым и нами в качестве первого фильтра выступают источники. Да, но они часто отфильтровывают совсем не то, что надо. И напротив, они почти никогда не организуют материал в соответствии с требованиями разума, стремящегося к познанию. Как учёный, как всякий просто реагирующий мозг, историк отбирает и просеивает, т. е., говоря коротко, анализирует. И прежде всего он старается обнаружить сходные явления, чтобы их сопоставить.

Передо мной надгробная римская надпись: единый и цельный

по содержанию текст. Но какое разнообразие свидетельств таится в нем, ожидая прикосновения волшебной палочки ученого!

Нас интересует язык? Лексика и синтаксис расскажут о состоянии латыни, на которой в то время и в определенном месте старались писать. В этом не совсем правильном и строгом языке мы выявим некоторые особенности разговорной речи. А может быть, нас больше привлекают верования? Перед нами — яркое выражение надежд на потустороннюю жизнь. Политическая система? Мы с величайшей радостью прочтем имя императора, дату его правления. Экономика? Возможно, эпитафия откроет нам еще не известное ремесло. И так далее.

Теперь представим себе, что не один изолированный документ, а множество разных документов сообщают нам сведения о каком-то моменте в истории какой-то цивилизации. Из живших тогда людей каждый участвовал одновременно во многих сферах человеческой деятельности: он говорил и его слышали окружающие, он поклонялся своим богам, был производителем, торговцем или просто потребителем; быть может, он и не играл никакой роли в политических событиях, но тем не менее подвергался их воздействию. Решимся ли мы описать все эти различные виды деятельности без отбора и группировки фактов, в том хаотическом смешении, как их представляют нам каждый документ и каждая жизнь, личная или коллективная? Это означало бы принести в жертву ясность не подлинной реальности, которая создается естественным сходством и глубокими связями, а чисто внешнему порядку синхронных событий. Отчет о проведенных опытах — не то же самое, что дневник, отмечающий минута за минутой, что происходит в лаборатории.

Действительно, когда в ходе эволюции человечества нам удается обнаружить между явлениями нечто общее, родственное, мы, очевидно, имеем в виду, что всякий выделенный таким образом тип учреждений, верований, практической деятельности и даже событий, как бы выражает особую, ему лишь присущую и до известной степени устойчивую тенденцию в жизни индивидуума или общества. Можно ли, например, отрицать, что в религиозных эмоциях, при всех различиях, есть нечто общее? Отсюда неизбежно следует, что любой факт, связанный с жизнью людей, будет для нас понятней, если нам уже известны другие факты подобного рода. В первый период феодализма[11] деньги скорее играли роль меры ценностей, чем средства платежа, что существенно отличалось от норм, установленных западной экономикой около 1850 г. В свою очередь не менее резки различия между денежной системой середины XIX в. и нашей. Однако вряд ли ученый, имеющий дело лишь с монетами, выпущенными около 1000 г., легко определит своеобразие их употребления в ту эпоху. В этом — оправданность отдельных специальных отраслей науки, так сказать, вертикальных — разумеется, в самом скромном смысле, в ко-

тором только и может быть законной подобная специализация как средство, восполняющее недостаток широты нашего мышления и кратковременность жизни людей.

Более того. Пренебрегая разумным упорядочением материала, получаемого нами в совершенно сыром виде, мы в конечном счете придем лишь к отрицанию времени и, следовательно, самой истории. Сможем ли мы понять состояние латыни на данной стадии, если отвлечемся от предшествующего развития этого языка? Мы знаем также, что определенная структура собственности, те или иные верования, несомненно, не были абсолютным началом. В той мере, в какой изучение феноменов человеческой жизни осуществляется от более древнего к недавнему, они включаются прежде всего в цепь сходных феноменов. Классифицируя их по родам, мы обнажаем силовые линии огромного значения.

Но, возразят нам, различия, которые вы устанавливаете, рассекая ткань жизни, существуют лишь в вашем уме, их нет в самой действительности, где все перемешано. Стало быть, вы прибегаете к абстракции. Согласен. Зачем бояться слов? Ни одна наука не может обойтись без абстракции. Так же, как и без воображения. Примечательно, кстати, что те же люди, которые пытаются изгнать первую, относятся, как правило, столь же враждебно и ко второму. Это два аспекта все того же дурно понятого позитивизма. Науки о человеке не представляют исключения. Можно ли считать функцию хлорофилла более «реальной» — в смысле крайнего реализма[12], чем данную экономическую функцию? Вредны только такие классификации, которые основаны на ложных подобиях. Дело историка — непрестанно проверять устанавливаемые им подобия, чтобы лучше уяснить их оправданность, и, если понадобится, их пересмотреть. Подчиняясь общей задаче воссоздания подлинной картины, эти подобия могут устанавливаться с весьма различных точек зрения.

Вот, например, «история права». Курсы лекций и учебники — вернейшие средства для развития склероза — сделали это выражение ходовым. Но что же под ним скрывается? Правовая регламентация — это явно императивная социальная норма, вдобавок санкционированная властью, способной внушить к ней почтение с помощью четкой системы принудительных мер и наказаний. Практически подобные предписания могут управлять самыми различными видами деятельности. Но они никогда не являются единственными: в нашем каждодневном поведении мы постоянно подчиняемся кодексам моральным, профессиональным, светским, часто требующим от нас совсем иного, чем кодекс законов как таковой. Впрочем, и его границы непрерывно колеблются, и некая признанная обществом обязанность, независимо от того, включена она в него или нет, придается ли ей тем самым больше или меньше силы или четкости, по существу, очевидно, не изменяется.

Итак, право в строгом смысле слова — это формальная обо-

лочка реальностей, слишком разнообразных, чтобы быть удобным объектом для изолированного изучения, и ни одну из них право не может охватить во всей полноте. Возьмем семью. Идет ли речь о малой современной семье-супружестве, постоянно колеблющейся, то сжимающейся, то расширяющейся, или же о большом средневековом роде, коллективе, скрепленном прочным остовом чувств и интересов, — достаточно ли будет для подлинного проникновения в ее жизнь перечислить статьи какого-либо семейного права? Временами, видимо, так и полагали, но к каким разочаровывающим результатам это привело, свидетельствует наше бессилие даже теперь описать внутреннюю эволюцию французской семьи.

Однако в понятии юридического факта, отличающегося от прочих фактов, все же есть и нечто точное. А именно: во многих обществах применение и в значительной мере сама выработка правовых норм была делом группы людей, относительно специализированной, и в этой роли (которую члены группы, разумеется, могли сочетать с другими социальными функциями) достаточно автономной, чтобы иметь свои собственные традиции и часто даже особый метод мышления. В общем история права должна была бы существовать самостоятельно лишь как история юристов, и для одной из отраслей науки о людях это тоже не такой уж незавидный способ существования. Понимаемая в таком смысле, она проливает свет на очень различные, но подчиненные единой человеческой деятельности феномены, свет, хотя неизбежно и ограниченный определенной областью, но многое проясняющий. Совсем иной тип разделения представлен дисциплиной, которую привыкли именовать «человеческой географией». Тут угол зрения не определяется умственной деятельностью какой-либо группы (как то происходит с историей права, хотя она об этом и не подозревает). Но он не заимствован и из специфической природы данного человеческого факта, как в истории религии или истории экономики: в истории религии нас интересуют верования, эмоции, душевные порывы, надежды и страхи, внушаемые образом трансцендентных человечеству сил, а в истории экономики — стремления удовлетворить и организовать материальные потребности. Исследование в «антропогеографии» сосредоточивается на типе связей, общих для большого числа социальных феноменов; она изучает общества в их связи с природной средой — разумеется, двусторонней, когда люди непрестанно воздействуют на окружающий мир и одновременно подвергаются его воздействию. В этом случае у нас также есть всего лишь один аспект исследования, оправданность которого доказывается его плодотворностью, но его нужно дополнять другими аспектами. Такова, в самом деле, роль анализа в любом виде исследования. Наука расчленяет действительность лишь для того, чтобы лучше рассмотреть ее благодаря перекрестным огням, лучи которых непрестанно сходятся и пересекаются. Опасность возникает только с того момента, когда каждый прожектор начи-

нает претендовать на то, что он один видит все, когда каждый кантон знания воображает себя целым государством.

Остережемся, однако, и в этом случае принимать как постулат мнимогеометрический параллелизм между науками о природе и науками о людях. В пейзаже, который я вижу из своего окна, каждый ученый найдет для себя поживу, не думая о картине в целом. Физик объяснит голубой цвет неба, химик — состав воды в ручье, ботаник опишет траву. Заботу о восстановлении пейзажа в целом, каким он предо мной предстает и меня волнует, они предоставят искусству, если художник или поэт пожелают за это взяться. Ведь пейзаж как некое единство существует только в моем сознании. Суть же научного метода, применяемого этими формами познания и оправданного их успехами, состоит в том, чтобы сознательно забыть о созерцателе и стремиться понять только созерцаемые объекты. Связи, которые наш разум устанавливает между предметами, кажутся ученым произвольными; они умышленно их разрывают, чтобы восстановить более подлинное, по их мнению, разнообразие. Но уже органический мир ставит перед своими анализаторами тонкие и щекотливые проблемы. Биолог, конечно, может, удобства ради, изучать отдельно дыхание, пищеварение, двигательные функции, но он знает, что сверх всего этого существует индивидуум, о котором он должен рассказать. Трудности истории еще более сложны. Ибо ее предмет, в точном и последнем смысле, — сознание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияния и даже путаница, возникающая в их сознании, — они-то и составляют для истории подлинную действительность.

Homo religiosus, homo oeconomicus, homo politicus [a] — целая вереница homines с прилагательными на «us»; при желании ее можно расширить, но было бы очень опасно видеть в них не то, чем они являются в действительности: это призраки, и они удобны, пока не становятся помехой. Существо из плоти и костей — только человек как таковой, соединяющий в себе их всех.

Конечно, в сознании человека есть свои внутренние перегородки, и некоторые из наших коллег мастерски их воздвигают. Гюстав Ленотр [13] не мог надивиться, что среди деятелей террора [14] было так много превосходных отцов семейств. Но даже будь наши великие революционеры и впрямь теми кровопийцами, образ которых приятно щекотал изнеженную буржуазным комфортом публику, это изумление все равно говорило бы о весьма ограниченном понимании психологии. Сколько людей живет различной жизнью в трех или четырех планах, стремясь отделить их один от другого и иногда достигая этого в совершенстве?

Отсюда еще далеко до отрицания фундаментального единства «я» и постоянного взаимопроникновения его различных аспектов.

[a] человек религиозный, человек хозяйственный, человек политический (лат.).

Разве Паскаль-математик и Паскаль-христианин были двумя чуждыми друг другу людьми? Разве пути ученого медика Франсуа Рабле и пантагрюэлической памяти мэтра Алькофрибаса[15] никогда не пересекались? Даже когда роли, по очереди разыгрываемые одним актером, кажутся столь же противоположными, как стереотипные персонажи мелодрамы, вполне возможно, что, если приглядеться, эта антитеза окажется всего лишь маской, скрывающей более глубокое единство. Немало потешались в свое время над сочинителем элегий Флорианом, который, как рассказывали, бил своих любовниц. Но, быть может, он расточал в своих стихах столько нежности именно из желания утешиться, что ему не удавалось проявить ее в своих поступках? Когда средневековый купец, после того как он целый день нарушал предписания церкви насчет ростовщичества и справедливых цен, набожно преклонял колени перед образом богоматери, а на склоне лет делал благочестивые пожертвования и вклады; когда в «тяжелые времена» владелец крупной мануфактуры строил приюты на деньги, сэкономленные за счет низкой оплаты труда детей в лохмотьях, — чего они оба хотели? Только ли, как обычно считают, откупиться от громов небесных довольно недорогой ценой, или же подобными вспышками веры и благотворительности они удовлетворяли, не говоря об этом вслух, тайные потребности души, которые вынуждала подавлять суровая житейская практика? Бывают противоречия в поведении, сильно напоминающие эскапизм.

А если перейти от индивидуума к обществу? Общество, как его ни рассматривай, в конечном счете пусть и не сумма (это, несомненно, было бы слишком грубо), но по меньшей мере продукт индивидуальных сознаний, и мы не удивимся, обнаружив в нем такую же непрестанную игру взаимодействий. Установлено, что с XII в. и вплоть до Реформации цехи ткачей представляли особо благоприятную почву для ересей. Вот прекрасный материал для карточки в картотеке истории религии. Что ж, поставим аккуратно этот кусочек картона в надлежащий ящик. В соседний ящик с этикеткой «история экономики» поместим следующую пачку заметок. Покончили ли мы теперь с беспокойными маленькими обществами мастеров челнока? Надо еще объяснить, почему одной из их основных черт было не сосуществование религиозного и экономического, а переплетение обоих аспектов. Удивленный «этим особым чувством уверенности, бесспорности своей моральной позиции», которое в нескольких предшествующих нам поколениях проявлялось, видимо, с поразительной полнотой, Люсьен Февр[16] находит, кроме всего прочего, две причины — господство над умами космогонической системы Лапласа и «ненормальную устойчивость» денежной системы. Казалось бы, трудно найти что-либо, более далекое друг от друга. Тем не менее оба фактора вместе содействовали тому, что интеллектуальная позиция данной группы приобрела специфическую окраску.

В масштабе коллектива эти отношения, несомненно, ничуть не проще, чем в рамках личного сознания. Сегодня мы бы уже не решились написать попросту, что литература есть «выражение общества». Во всяком случае, в том смысле, в каком зеркало «выражает» находящийся перед ним предмет. Литература может передавать не только согласие. Она почти неизбежно тянет с собой множество унаследованных тем, формальных приемов, старых эстетических условностей — и все это причины ее отставания. «В один и тот же период, — тонко замечает А. Фосильон, — политика, экономика и искусство не находятся (я бы скорее сказал: «никогда не находятся». — *М. Б.*) в точках равной высоты на соответствующих кривых». Но именно благодаря такому разнобою и создается ритм социальной жизни, почти всегда неравномерный. Точно так же у большинства индивидуумов их разные души, выражаясь плюралистическим языком античной психологии, редко имеют один и тот же возраст: сколько зрелых людей сохраняют черты детства!

Мишле в 1837 г. объяснял Сент-Беву: «Если бы я держался в изложении только политической истории, если бы не учитывал различные элементы истории (религию, право, географию, литературу, искусство и т. д.), моя манера была бы совсем иной. *Но мне надо было охватить великое жизненное движение, так как все эти различные элементы входили в единство повествования*». В 1800 г. Фюстель де Куланж, в свою очередь, говорил слушателям в Сорбонне[17]: «Вообразите, что сто специалистов разделили меж собой по кускам прошлое Франции. Верите ли вы, что они смогут создать историю Франции? Я в этом сильно сомневаюсь. У них наверняка не будет взаимосвязи между фактами, а эта взаимосвязь — также историческая истина». «Жизненное движение», «взаимосвязь» — противоположность образов здесь не случайна. Мишле мыслил и чувствовал в категориях органического мира; Фюстель же, будучи сыном века, которому Ньютонова вселенная как бы дала завершенную модель науки, черпал свои метафоры из пространственных понятий. Но их согласие благодаря этому кажется более полным. Два великих историка были достаточно великими, чтобы знать: цивилизация, как и индивидуум, ничем не напоминает пасьянса с механически подобранными картами; знание фрагментов, изученных по отдельности один за другим, никогда не приведет к познанию целого — оно даже не позволит познать самые эти фрагменты.

Но работа по восстановлению целого может проводиться лишь после анализа. Точнее, она — продолжение анализа, его смысл и оправдание. Можно ли в первоначальной картине, которую мы созерцаем, различать взаимосвязи, когда ничто еще четко не разделено? Сложная сеть взаимосвязей может проявиться лишь после того, как факты классифицированы по специфическим группам. Итак, чтобы следовать жизни в ее постоянном переплетении

действий и противодействий, вовсе нет надобности пытаться охватить ее всю целиком, для чего требуются силы, намного превосходящие возможности одного ученого. Самое оправданное и нередко самое полезное — сосредоточиться при изучении общества на одном из его частных аспектов или, еще лучше, на одной из четких проблем, возникающих в том или ином его аспекте: верованиях, экономике, структуре классов или групп, политических кризисах... При таком разумном выборе не только проблемы будут поставлены более четко, но даже факты связей и влияний получат более яркое освещение. Конечно, при условии, что мы пожелаем их раскрыть. Хотите ли вы изучить по-настоящему, со всеми их товарами, крупных купцов Европы времен Ренессанса, всех этих торговцев сукнами или бакалеей, скупщиков меди, ртути или квасцов, банкиров, дававших ссуды императорам и королям? Вспомните, что они заказывали свои портреты Гольбейну, что они читали Эразма и Лютера. Чтобы понять отношение средневекового вассала к своему сеньору, вам придется также ознакомиться с его отношением к богу. Историк никогда не выходит за рамки времени, но, вынужденный двигаться внутри него то вперед, то назад, как уже показал спор об истоках, он то рассматривает большие волны родственных феноменов, проходящие по времени из конца в конец, то сосредоточивается на каком-то моменте, где эти течения сходятся мощным узлом в сознании людей.

3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Было бы, однако, недостаточно ограничиться выделением основных аспектов деятельности человека или общества. Внутри каждой из этих больших групп фактов необходим более тонкий анализ. Надо выделить различные учреждения, составляющие политическую систему, различные верования, обряды, эмоции, из которых складывается религия. Надо в каждом из этих элементов и в их комплексах охарактеризовать черты, порой сближающие их с реальностями того же порядка, а порой отдаляющие... Проблема же классификации, как показывает практика, неотделима от важнейшей проблемы терминологии.

Ибо всякий анализ прежде всего нуждается в орудии — в подходящем языке, способном точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы приспосабливаться к новым открытиям, в языке — и это главное — без зыбких и двусмысленных терминов. Это и есть наше слабое место. Один умнейший писатель, который нас, историков, терпеть не может, хорошо это подметил: «Решающий момент, когда четкие и специальные определения и обозначения приходят на смену понятиям, по происхождению туманным и статистическим, для истории еще не наступил». Так говорит Поль Валери[18]. Но если верно, что этот «час точности» еще не насту-

пил, он, быть может, когда-нибудь все же наступит? И главное, почему он медлит, почему он до сих пор не пробил?

Химия выковала себе свой арсенал знаков. Даже слов — ведь слово «газ», если не ошибаюсь, одно из немногих действительно выдуманных слов во французском языке. Но у химии было большое преимущество — она имела дело с реальностями, которые по природе своей неспособны сами себя называть. Отвергнутый ею язык смутного восприятия был столь же произвольным, как и язык наблюдений, классифицируемых и контролируемых, пришедший на смену первому: скажем ли мы «купорос» или «серная кислота», само вещество здесь ни при чем. В науке о человечестве положение совсем иное. Чтобы дать названия своим действиям, верованиям и различным аспектам своей социальной жизни, люди не дожидались, пока все это станет объектом беспристрастного изучения. Поэтому история большей частью получает собственный словарь от самого предмета своих занятий. Она берет его, когда он истрепан и подпорчен долгим употреблением, а вдобавок часто уже с самого начала двусмыслен, как всякая система выражения, не созданная строго согласованным трудом специалистов.

Но хуже всего то, что в самих этих заимствованиях нет единства. Документы стремятся навязать нам свою терминологию: если историк к ним прислушивается, он пишет всякий раз под диктовку другой эпохи. Но сам-то он, естественно, мыслит категориями своего времени, а значит, и словами этого времени. Когда мы говорим о патрициях, современник старика Катона [19] нас бы понял, но если автор пишет о роли «буржуазии» в кризисах Римской империи, как нам перевести на латынь это слово или понятие? Так две различные ориентации почти неизбежно делят между собой язык истории. Рассмотрим же их по порядку.

Воспроизведение или калькирование терминологии прошлого может на первый взгляд показаться достаточно надежным принципом. Однако, применяя его, мы сталкиваемся со многими трудностями.

Прежде всего изменения вещей далеко не всегда влекут за собой соответствующие изменения в их названиях. Таково естественное следствие присущего всякому языку традиционализма, равно как недостатка изобретательности у большинства людей.

Это наблюдение применимо даже к технике, подверженной, как правило, весьма резким переменам. Когда сосед мне говорит: «Я еду в своем экипаже», должен ли я думать, что речь идет о повозке с лошадьми или об автомобиле? Только предварительное знание того, что у соседа во дворе — не каретный сарай, а гараж, позволит мне понять его слова [20]. Aratrum обозначало вначале пахотное бесколесное орудие, carruca — колесное. Но так как первое появилось раньше, могу ли я, встретив в тексте это старое слово, с уверенностью утверждать, что его попросту не сохранили для

наименования нового орудия? И наоборот, Матье де Домбаль назвал charrue изобретенное им орудие, которое не имело колес и на деле было чем-то вроде сохи.

Но насколько сильней проявляется эта приверженность к унаследованному слову, когда мы переходим к реальностям менее материальным! Ведь в подобных случаях преобразования совершаются крайне медленно, так что сами люди, в них участвующие, того не замечают. Они не испытывают потребности сменить этикетку, ибо от них ускользает перемена в содержании. Латинское слово servus, давшее во французском serf, прошло через века. Но за это время в состоянии, им обозначаемом, совершилось столько изменений, что между servus древнего Рима и serf Франции святого Людовика гораздо больше различий, нежели сходства. Поэтому историки обычно сохраняют слово serf для средних веков. А когда речь идет об античности, они пишут eclave[21]. Иначе говоря, они предпочитают употреблять не кальку, а эквивалент. Но при этом, ради внутренней точности языка, отчасти жертвуют гармонией его красок: ведь термин, который таким образом пересаживают в римскую среду, возник только к концу первого тысячелетия на рынках рабов, где пленные славяне служили как бы образцом полного порабощения, ставшего уже совершенно непривычным для сервов западного происхождения. Прием этот удобен, пока мы занимаемся явлениями, разделенными одно от другого во времени. А если посмотреть, что было в промежутке между ними, то когда же, собственно esclave уступил место серву? Это вечный софизм с кучей зерна[22]. Как бы то ни было, мы здесь вынуждены, чтобы не исказить факты, заменить их собственный язык терминологией, хоть и не вполне вымышленной, но, во всяком случае, переработанной и сдвинутой. И, напротив, бывает, что названия меняются во времени и в пространстве вне всякой связи с изменениями в самих вещах.

Иногда исчезновение слова связано с причинами, коренящимися в эволюции языка, а предмет или действие, обозначенные данным словом, нисколько этим не затрагиваются. Ибо лингвистические элементы имеют свой собственный коэффициент сопротивления или гибкости. Установив исчезновение в романских языках латинского глагола emere (покупать. — *Ред.*) и его замену другими глаголами очень различного происхождения — acheter, comprar и т. д., — один ученый недавно счел возможным сделать отсюда далеко идущие и весьма остроумные выводы о переменах, которые в обществах — наследниках Рима — преобразили систему торгового обмена. Сколько возникло бы вопросов, если бы этот бесспорный факт можно было рассматривать как факт изолированный! Но ведь в языках, вышедших из латинского, утрата слишком коротких слов была самым обычным явлением — безударные слоги ослаблялись настолько, что слова становились невнятными. Это явление чисто фонетического порядка, и забавно,

что факт из истории произношения мог быть ошибочно истолкован как черта истории экономики.

В других случаях установлению или сохранению единообразного словаря мешают социальные условия. В сильно раздробленных обществах, вроде нашего средневекового, часто бывало, что учреждения вполне идентичные обозначались в разных местах разными словами. И в наши дни сельские говоры заметно различаются меж собой в наименованиях самых обычных предметов и общепринятых обычаев. В центральных провинциях, где я пишу эти строки, словом «деревня» (village) называют то, что на севере обозначают, как hameau, северную же village здесь именуют bourg. Эти расхождения слов сами по себе представляют факты, достойные внимания. Но, приспосабливая к ним свою терминологию, историк не только сделал бы малопонятным изложение — ему пришлось бы отказаться от всякой классификации, а она для него — первостепенная задача.

В отличие от математики или химии наша наука не располагает системой символов, не связанной с каким-либо национальным языком. Историк говорит только словами, а значит, словами своей страны. Но когда он имеет дело с реальностями, выраженными на иностранном языке, он вынужден сделать перевод. Тут нет серьезных препятствий, пока слова относятся к обычным предметам или действиям, — эта ходовая монета словаря легко обменивается по паритету. Но как только перед нами учреждения, верования, обычаи, более глубоко вросшие в жизнь данного общества, переложение на другой язык, созданный по образу иного общества, становится весьма опасным предприятием. Ибо, выбирая эквивалент, мы тем самым предполагаем сходство.

Так неужели же нам надо с отчаяния просто сохранить оригинальный термин — при условии, что мы его объясним? Конечно, порой это приходится делать. Когда в 1919 г. мы увидели, что в Веймарской конституции[23] сохраняется для германского государства его прежнее наименование Reich, многие наши публицисты возмутились: «Странная «республика»! Она упорно называет себя «империей»!». Но дело здесь не только в том, что слово Reich само по себе не вызывает мыслей об императоре; оно связано с образами политической истории, постоянно колебавшейся между партикуляризмом и единством, а потому звучит слишком специфически по-немецки, чтобы можно было перевести его на другой язык, где отражено совсем иное национальное прошлое.

Можно ли, однако, сделать из такого механического воспроизведения, являющегося, казалось бы, самым простым решением, всеобщее правило? Оставим в стороне заботу о чистоте языка, хотя, признаемся, не очень-то приятно видеть, как ученые засоряют свою речь иностранными словами по примеру сочинителей сельских романов, которые, стараясь передать крестьянский говор, сбиваются на жаргон, равно чуждый и деревне и городу. Отказы-

ваясь от всякой попытки найти эквивалент, мы часто наносим ущерб самой реальности. По обычаю, восходящему, кажется, к XVIII в., французское слово serf и слова, близкие по значению в других западных языках, применяются для обозначения «крепостного»[24] в старой царской России. Более неудачное сближение трудно придумать. Там система прикрепления к земле, постепенно превратившаяся в настоящее рабство; у нас форма личной зависимости, которая, несмотря на всю суровость, была очень далека от трактовки человека как вещи, лишенной всяких прав; поэтому так называемый русский серваж не имел почти ничего общего с нашим средневековым серважем. Но и назвав его просто «крепостничеством», мы тоже достигнем немногого. Ибо в Румынии, Венгрии, Польше и даже в восточной части Германии существовали типы зависимости крестьян, глубоко родственные тому, который установился в России. Неужели же нам придется каждый раз вводить термины из румынского, венгерского, польского, немецкого, русского языков? И все равно самое главное будет упущено — восстановление глубоких связей между фактами посредством определения их правильными терминами.

Этикетка была выбрана неудачно. И все-таки необходимо найти какую-то общую этикетку, стоящую над всеми национальными терминами, а не копирующую их. И в данном случае недопустима пассивность.

Во многих обществах практиковалось то, что можно назвать иерархическим билингвизмом. Два языка, народный и ученый, противостояли друг другу. На первом в обиходе думали и говорили, писали же почти исключительно на втором. Так, в Абиссинии с XI по XVII в. писали на языке геэз, а говорили на амхарском. В Евангелиях беседы изложены на греческом — в те времена великом языке культуры Востока; реальные же беседы, очевидно, велись на арамейском. Ближе к нам, в средние века, долгое время все деловые документы, все хроники велись на латинском языке. Унаследованные от мертвых культур или заимствованные у чужих цивилизаций, эти языки образованных людей, священников и законников неизбежно должны были выражать целый ряд реалий, для которых они изначально не были созданы. Это удавалось сделать лишь с помощью целой системы транспозиций, разумеется, очень неуклюжих.

Но именно по этим документам, если не считать материальных свидетельств, мы и узнаем об обществе. Те общества, в которых восторжествовал подобный дуализм языка, являются нам поэтому во многих своих важнейших чертах лишь сквозь вуаль приблизительности. Порой их даже отгораживает дополнительный экран. Великий кадастр Англии, составленный по велению Вильгельма Завоевателя, — знаменитая «Книга Страшного суда» — произведение нормандских или мэнских клерков[25]. Они не только описали на латинском языке специфически английские институты, но сна-

чала продумали их на французском. Когда историк спотыкается на такой терминологии, где проведена сплошная подмена слов, ему ничего не остается, как проделать ту же работу в обратном порядке. Если бы соответствия были выбраны удачно, а главное, применялись последовательно, задача оказалась бы не слишком сложной. Не так уж трудно распознать за упоминаемыми в хрониках «консулами» графов. К несчастью, встречаются случаи менее простые. Кто такой «колон» в наших грамотах XI и XII вв.? Вопрос лишен смысла. Слово, не давшее потомка в народном языке, потому что оно перестало отражать живое явление, было лишь переводческим приемом, применявшимся законниками для обозначения на красивой классической латыни весьма различных юридических и экономических состояний[26].

Противопоставление двух разных языков представляет по сути лишь крайний случай контрастов, присущих всем обществам. Даже в самых унифицированных нациях, вроде нашей, у каждого небольшого профессионального коллектива, у каждой группы со своей культурой или судьбой есть особая система выражения. При этом не все эти группы пишут, или не все пишут одинаково много, или же не у всех есть равные шансы передать свои писания потомству. Всякий знает: протокол допроса редко воспроизводит с точностью произнесенные слова — судейский секретарь почти безотчетно упорядочивает, проясняет, исправляет синтаксис, отбрасывает слова, по его мнению, слишком грубые. У цивилизаций прошлого также были свои секретари — хронисты и особенно юристы. Именно их голос дошел до нас в первую очередь. Не будем забывать, что слова, которыми они пользовались, классификации, которые они устанавливали этими словами, были результатом ученых занятий, нередко слишком подверженных влиянию традиции. Сколько неожиданностей ждало бы нас, если бы мы, вместо того чтобы корпеть над путаной (и, вероятно, искусственной) терминологией списков повинностей или капитуляриев[27] каролингской эпохи, могли прогуляться по тогдашней деревне и послушать, как крестьяне сами определяют свое юридическое положение и как это делают их сеньоры. Разумеется, описание повседневного обихода тоже не дало бы нам картины всей жизни (ибо попытки ученых или законоведов выразить и, следовательно, истолковать также являются конкретно действующими силами), но мы, во всяком случае, добрались бы тогда до какого-то глубинного слоя. Сколь поучительно было бы подслушать подлинную молитву простых людей — обращена ли она к богу вчерашнему или сегодняшнему! Конечно, если допустить, что они сумели выразить самостоятельно и без искажений порывы своего сердца.

Ибо тут мы встречаемся с последним великим препятствием. Нет ничего трудней для человека, чем выразить самого себя. Но не менее трудно и нам найти для зыбких социальных реальностей,

составляющих основную ткань нашего существования, слова, свободные от двусмысленности и от мнимой точности. Самые употребительные термины — всегда приблизительны. Даже термины религии, которым, как охотно думают, будто бы свойственно точное значение. Изучая религиозную карту Франции, посмотрите, как много тонких нюансов вынужден в ней указать — вместо слишком простой этикетки «католическая» — ученый типа Ле Браса. Тут есть над чем поразмыслить историкам, которые с высоты своей веры (а порой и, возможно, еще чаще — своего неверия) судят сплеча, исходя из католицизма в духе Эразма. Для других, очень живых реальностей не нашлось нужных слов. В наши дни рабочий легко говорит о своем классовом сознании, даже если оно у него очень слабое. Я же полагаю, что это чувство разумной и боевой солидарности никогда не проявлялось с большей силой и четкостью, чем среди сельских батраков нашего Севера к концу старого режима — различные петиции, наказы депутатам в 1789 г.[28] сохранили волнующие отзвуки. Однако само чувство не могло тогда себя назвать, у него еще не было имени.

Резюмируя, можно сказать, что терминология документов это, на свой лад, не что иное, как свидетельство. Без сомнения, наиболее ценное, но, как все свидетельства, несовершенное, а значит, подлежащее критике. Любой важный термин, любой характерный оборот становятся подлинными элементами нашего познания лишь тогда, когда они сопоставлены с их окружением, снова помещены в обиход своей эпохи, среды или автора, а главное, ограждены — если они долго просуществовали — от всегда имеющейся опасности неправильного, анахронистического истолкования. Помазание короля, наверняка, трактовалось в XII в. как священнодействие — слово, несомненно, полное значения, но в те времена еще не имевшее гораздо более глубокого смысла, который придает ему ныне теология, застывшая в своих определениях и, следовательно, в лексике. Появление слова — это всегда значительный факт, даже если сам предмет уже существовал прежде; он отмечает, что наступил решающий период осознания. Какой великий шаг был сделан в тот день, когда приверженцы новой веры назвали себя христианами! Кое-кто из историков старшего поколения, например Фюстель де Куланж, дал нам замечательные образцы такого изучения смысла слов, «исторической семантики». С тех пор прогресс лингвистики еще более отточил это орудие. Желаю молодым исследователям применять его неустанно, а главное — пользоваться им даже для ближайших к нам эпох, которые в этом отношении наименее изучены.

При всей неполноте связи с реальностями имена все же прикреплены к ним слишком прочно, чтобы можно было попытаться описать какое-либо общество без широкого применения его слов, должным образом объясненных и истолкованных. Мы не станем

подражать бесчисленным средневековым переводчикам. Мы будем говорить о графах там, где речь идет о графах, и о консулах там, где дело касается Рима. Большой прогресс в понимании эллинских религий произошел тогда, когда в языке эрудитов Юпитер был окончательно свергнут с трона Зевсом. Но это относится главным образом к отдельным сторонам учреждений, обиходных предметов и верований. Полагать, что терминологии документов вполне достаточно для установления нашей терминологии, означало бы допустить, что документы дают нам готовый анализ. В этом случае истории почти ничего не осталось бы делать. К счастью и к нашему удовольствию, это далеко не так. Вот почему мы вынуждены искать на стороне наши важнейшие критерии классификации.

Их предоставляет нам уже имеющаяся готовая лексика, обобщенность которой ставит ее выше терминов каждой отдельной эпохи. Выработанная без нарочито поставленной цели усилиями нескольких поколений историков, она сочетает в себе элементы, весьма различные по времени возникновения и по происхождению. «Феодал», «феодализм» — термины судебной практики, примененные в XVIII в. Буленвилье, а за ним Монтескье, — стали затем довольно неуклюжими этикетками для обозначения типа социальной структуры, также довольно нечетко очерченной. «Капитал» — слово ростовщиков и счетоводов, значение которого экономисты рано расширили. «Капиталист» — осколок жаргона спекулянтов на первых европейских биржах. Но слово «капитализм», занимающее ныне у наших классиков более значительное место, совсем молодо, его окончание свидетельствует об его происхождении (Kapitalismus). Слово «революция» сменило прежние астрологические ассоциации на вполне человеческий смысл: в небе это было — и теперь является таковым — правильное и беспрестанно повторяющееся движение; на земле же оно отныне означает резкий кризис, целиком обращенный в будущее. «Пролетарий» одет на античный лад, как и люди 1789 г., которые вслед за Руссо ввели это слово, но затем, после Бабефа, им навсегда завладел Маркс. Даже Америка и та дала «тотем», а Океания — «табу»[29], заимствования этнографов, перед которыми, еще колеблясь, останавливается классический вкус иных историков.

Но различное происхождение и отклонения смысла — не помеха. Для слова гораздо менее существенна его этимология, чем характер употребления. Если слово «капитализм», даже в самом широком толковании, не может быть распространено на все экономические системы, где играл какую-то роль капитал заимодавцев; если слово «феодал» служит обычно для характеристики обществ, где феод, безусловно, не являлся главной чертой, — в этом нет ничего противоречащего общепринятой практике всех наук, вынужденных (как только они перестают удовлетворяться чисто алгебраическими символами) черпать в смешанном словаре по-

вседневного обихода. Разве мы возмущаемся тем, что физик продолжает называть атомом, «неделимым», объект своих самых дерзновенных проникновений?

По-иному опасны эмоциональные излучения, которые несут с собой многие из этих слов. Влияние чувств редко способствует точности языка.

Привычка, укоренившаяся даже у историков, стремится смешать самым досадным образом два выражения: «феодальная система» и «сеньориальная система»[30]. Это целиком произвольное уподобление комплекса отношений, характерных для господства военной аристократии, типу зависимости крестьян, который полностью отличается по своей природе и, вдобавок, сложился намного раньше, продолжался дольше и был гораздо более распространен во всем мире.

Это недоразумение восходит к XVIII в. Вассальные отношения и феоды продолжали тогда существовать, но в виде чисто юридических форм, почти лишенных содержания уже в течение нескольких столетий. Сеньория же, унаследованная от того же прошлого, оставалась вполне живым институтом. Политические писатели не сумели провести должные различия в этом наследии. И не только потому, что они его плохо понимали. По большей части они его не рассматривали хладнокровно. Они ненавидели в нем архаические пережитки и еще больше то, что оно упорно поддерживало силы угнетения. Осуждалось все целиком. Затем Революция упразднила вместе с учреждениями собственно феодальными и сеньорию. От нее осталось лишь воспоминание, но весьма устойчивое и в свете недавних боев окрашивавшееся яркими красками. Отныне смешение стало прочным. Порожденное страстью, оно, под действием новых страстей, стремилось распространиться вширь. Даже сегодня, когда мы — к месту и не к месту — рассуждаем о «феодальных нравах» промышленников или банкиров, говорится ли это вполне спокойно? Подобные речи озарены отсветами горящих замков в жаркое лето 1789 г.[31]

К сожалению, такова судьба многих наших слов. Они продолжают жить рядом с нами бурной жизнью площади. Слыша слово «революция», ультра 1815 г.[32] в страхе прятали лицо. Ультра 1940 г.[33] камуфлируют им свой государственный переворот.

Но предположим, что в нашем словаре окончательно утвердилось бесстрастие. Увы, даже в самых интеллектуальных языках есть свои западни. Мы, разумеется, отнюдь не намерены здесь вновь приводить «номиналистические остроты», о которых Франсуа Симиан недавно со справедливым удивлением сказал, что они в науках о человеке обладают «странной привилегией». Кто откажет нам в праве пользоваться удобствами языка, необходимыми для всякого рационального познания? Мы, например, говорим о «машинизме», но это вовсе не означает, что мы создаем некую

сущность. Мы просто с помощью выразительного слова объединяем в одну группу факты в высшей степени конкретные, подобие которых, собственно, и обозначаемое этим словом, также является реальностью. Сами по себе такие рубрики вполне оправданы. Опасность создается их удобством. Если символ неудачно выбран или применяется слишком механически, то он, созданный лишь в помощь анализу, в конце концов отбивает охоту анализировать. Тем самым он способствует возникновению анахронизма, а это, с точки зрения науки о времени, самый непростительный из всех грехов.

В средневековых обществах различались два сословия: были люди свободные и люди, которые считались вовсе лишенными свободы. Но свобода относится к тем понятиям, которые в каждую эпоху трактуются по-иному. И вот историки наших дней решили, что в нормальном, по их мнению, смысле слова, т. е. в придаваемом ими смысле, несвободные люди средневековья были неправильно названы. Это были, говорят нам историки, люди «полусвободные». Слово, придуманное без какой-либо опоры в текстах, слово-самозванец было бы помехой при любом состоянии дела. Но на беду оно не только помеха. Почти неизбежно мнимая точность, внесенная им в язык, сделала вроде бы излишним подлинно углубленное исследование рубежа между свободой и рабством, как он представлялся, различным цивилизациям, — границы часто зыбкой, изменчивой, даже с точки зрения пристрастий данного времени или группы, но никогда не допускавшей существования именно этой пограничной зоны, о которой нам с неуместной настойчивостью твердит слово «полусвобода». Терминология, навязанная прошлому, непременно приводит к его искажению, если ее целью — или попросту результатом — является сведе́ние категорий прошлого к нашим, поднятым для такого случая в ранг вечных. По отношению к этикеткам такого рода есть лишь одна разумная позиция — их надо устранять.

«Капитализм» был полезным словом. И, несомненно, снова станет полезным, когда нам удастся очистить его от всех двусмысленностей, которыми это слово, входя в повседневный язык, обрастало все больше и больше. Теперь, безоглядно применяемое к самым различным цивилизациям, оно в конце концов почти неотвратимо приводит к маскировке их своеобразия. Экономическая система XVI в. была «капиталистической»? Пожалуй. Вспомните, однако, о повсеместной жажде денег, пронизавшей тогда общество сверху донизу, столь же захватившей купца или сельского нотариуса, как и крупного аугсбургского или лионского банкира; поглядите, насколько большее значение придавалось тогда ссуде или коммерческой спекуляции, чем организации производства. По своему человеческому содержанию как отличался этот «капитализм» Ренессанса от куда более иерархизированной

системы, от системы мануфактурной, от сен-симонистской системы эры промышленной революции! А та система, в свою очередь...

Пожалуй, одно простое замечание может уберечь нас от ошибок. К какой дате следует отнести появление капитализма — не капитализма определенной эпохи, а капитализма как такового, Капитализма с большой буквы? Италия XII в.? Фландрия XIII в.? Времена Фуггеров и антверпенской биржи?[34] XVIII в. или даже XIX? Сколько историков — столько записей о рождении. Почти так же много, по правде сказать, как дат рождения пресловутой Буржуазии, чье пришествие к власти отмечается школьными учебниками в каждый из периодов, предлагаемых поочередно для зубрежки нашим малышам, — то при Филиппе Красивом, то при Людовике XIV, если не в 1789 или в 1830 г. Но, может быть, это все же не была точно та же буржуазия? Как точно тот же капитализм?..

И тут, я думаю, мы подходим к сути дела. Вспомним красивую фразу Фонтенеля: Лейбниц, говорил он, «дает точные определения, *которые лишают его приятной свободы при случае играть словами*». Приятной ли — не знаю, но безусловно опасной. Подобная свобода нам слишком свойственна. Историк редко определяет. Он мог бы, пожалуй, считать это излишним трудом, если бы черпал из запаса терминов, обладающих точным смыслом. Но так не бывает, и историку приходится даже при употреблении своих «ключевых слов» руководствоваться только инстинктом. Он самовластно расширяет, сужает, искажает значения, не предупреждая читателя и не всегда сознавая это. Сколько «феодализмов» расплодилось в мире — от Китая до Греции ахейцев в красивых доспехах! По большей части они ничуть не похожи. Просто каждый или почти каждый историк понимает это слово на свой лад.

А если мы случайно даем определения? Чаще всего тут каждый действует на свой страх и риск. Весьма любопытен пример столь тонкого исследователя экономики, как Джон Мейнард Кейнз. Почти в каждой своей книге он, оперируя терминами, лишь изредка имеющими точно установленный смысл, предписывает им совершенно новые значения, иногда еще меняя их от одной работы к другой, и притом значения, сознательно отдаленные от общеупотребительных. Странные шалости наук о человеке, которые, долго числясь по разряду «изящной словесности», будто сохранили кое-что от безнаказанного индивидуализма, присущего искусству! Можно ли себе представить, чтобы химик сказал: «Для образования молекулы воды нужны два вещества: одно дает два атома, другое — один; первое в моем словаре будет называться кислородом, а второе водородом»? Если поставить рядом языки разных историков, даже пользующихся самыми точными определениями, из них не получится язык истории,

Надо признать, что кое-где попытки достигнуть большей согласованности делались группами специалистов, которых относительная молодость их дисциплин как бы ограждает от вреднейшей цеховой рутины (это лингвисты, этнографы, географы); а для истории в целом — Центром Синтеза[35], всегда готовым оказать услугу или подать пример. От них можно многого ожидать. Но, наверное, меньше, чем от прогресса в доброй воле всех вообще. Без сомнения, настанет день, когда мы, договорившись по ряду пунктов, сможем уточнить терминологию, а затем по этапам будем ее оттачивать. Но и тогда личная манера исследователя по традиции сохранит в изложении его интонации — если только оно не превратится в анналы, которые шествуют, спотыкаясь от даты к дате.

Владычество народов-завоевателей, сменявших друг друга, намечало контуры великих эпох. Коллективная память средних веков почти целиком была под властью библейского мифа о четырех империях: ассирийской, персидской, греческой, римской[36]. Однако это была не слишком удобная схема. Мало того, что она вынуждала, приноравливаясь к священному тексту, продлевать до настоящего времени мираж мнимого римского единства. По парадоксу, странному в христианском обществе (а также и ныне, на взгляд любого историка), страсти Христовы представлялись в движении человечества менее значительным этапом, чем победы знаменитых опустошителей провинций. Что ж до более мелких периодов, их границы определялись для каждой нации чередованием монархов.

Эти привычки оказались поразительно устойчивыми. «История Франции», верное зеркало французской школы времен около 1900 г.[37], еще движется, ковыляя от одного царствования к другому: на смерти каждого очередного государя, описанной с подробностями, подобающими великому событию, делается остановка. А если нет королей? К счастью, системы правления тоже смертны: тут вехами служат революции. Ближе к нам выдвигаются периоды «преобладания» той или иной нации — подслащенные эквиваленты прежних империй, на которые целый ряд учебников охотно делят курс новой истории. Гегемония испанская, французская или английская — надо ли об этом говорить? — имеет по природе своей дипломатический или военный характер. Остальное прилаживают, как придется.

Но ведь уже давно, в XVIII в., раздавался протестующий голос. «Можно подумать, — писал Вольтер, — что в течение четырнадцати столетий в Галлии были только короли, министры да генералы». Постепенно все же вырабатывались новые принципы деления; освобождаясь от империалистического или монархического наваждения, историки стремились исходить из более глу-

боких явлений. В это время, мы видели, возникает слово «феодализм» как наименование периода, а также социальной и политической системы. Но особенно поучительна судьба термина «средние века».

По своим дальним истокам сами эти слова — средневековые. Они принадлежали к терминологии полуеретического профетизма, который, в особенности с XIII в., прельщал немало мятежных душ. Воплощение бога положило конец Ветхому завету, но не установило Царства божия. Устремленное к надежде на этот блаженный день, время настоящее было, следовательно, всего лишь промежуточной эрой, medium aevum. Затем, видимо, уже у первых гуманистов, которым этот мистический язык был привычен, образ сместился в более земной план. В некотором смысле, считали они, царство Духа уже наступило. Имелось в виду «возрождение» литературы и мысли, сознание чего было столь острым у лучших людей того времени: свидетели тому Рабле и Ронсар. «Средний век» завершился, он и тут представлял собой некое длительное ожидание в промежутке между плодотворной античностью и ее новейшим открытием. Понятое в таком смысле, это выражение в течение нескольких поколений существовало где-то в тени, вероятно, лишь в небольших кружках ученых. Как полагают, только к концу XVII в. немец Христофор Келлер[38], скромный составитель учебников, вздумал в труде по всеобщей истории назвать «средними веками» целый период, охватывающий более тысячи лет от нашествий варваров до Ренессанса. Такой смысл, распространившийся неведомо какими путями, получил окончательные права гражданства в европейской, и именно во французской, историографии времен Гизо[39] и Мишле. Вольтеру этот смысл был неизвестен. «Вы хотите, наконец, преодолеть отвращение, внушаемое вам Новой историей, начиная с упадка Римской империи», — так начинается «Опыт о нравах»[40]. Но, без сомнения, именно дух «Опыта», так сильно повлиявший на последующие поколения, упрочил успех выражения «средние века». Как, впрочем, и его почти неразлучного спутника — слова «Ренессанс». Давно уже употреблявшееся как термин истории вкуса, но в качестве имени нарицательного и с непременным дополнением («ренессанс наук и искусств при Льве X или при Франциске I», как говорили тогда), это слово лишь во времена Мишле завоевало вместе с большой буквой право обозначать самостоятельно целый период. За обоими терминами стояла одна и та же идея. Прежде рамками истории служили битвы, политика дворов, восшествие или падение великих династий. Под их знаменами выстраивались, как придется, искусство, литература, науки. Отныне следует все перевернуть. Эпохам истории человечества придают их особую окраску самые утонченные проявления человеческого духа, благодаря изменчивому ходу своего развития. Вряд ли найдется другая

идея, несущая на себе столь явственный отпечаток вольтеровых когтей.

Этот принцип классификации, однако, имел один большой недостаток: определение отличительной черты было в то же время приговором. «Европа, зажатая между тиранией духовенства и военным деспотизмом, ждет в крови и в слезах того часа, когда воссияет новый свет, который возродит ее для свободы человечности и добродетелей» [41]. Так Кондорсе описывал эпоху, которой вскоре, по единодушному согласию, было дано название «средние века». С того времени как мы перестали верить в эту «ночь» и отказались изображать сплошь бесплодной пустыней те века, которые были так богаты в области технических изобретений, в искусстве, в чувствах, в религиозных размышлениях, века, которые видели первый взлет европейской экономической экспансии, которые, наконец, дали нам родину, — какое может быть основание смешивать в обманчиво-единой рубрике Галлию Хлодвига и Францию Филиппа Красивого, Алкуина и святого Фому или Оккама, звериный стиль «варварских» украшений [42] и статуи Шартра [43], маленькие скученные города каролингских времен и блистательное бюргерство Генуи, Брюгге или Любека? «Средние века» теперь по сути влачат жалкое существование лишь в педагогике — как сомнительно удобный термин для программ, но главное, как этикетка технических приемов науки, область которой довольно нечетко ограничена традиционными датами. Медиевист — это человек, умеющий читать старинные рукописи, подвергать критике хартию, понимать старофранцузский язык. Без сомнения, это уже нечто. Но, разумеется, этого недостаточно для науки о действительности, науки, стремящейся к установлению точных разделов.

* * *

Среди неразберихи наших хронологических классификаций незаметно возникло и распространилось некое поветрие, довольно недавнее, как мне кажется, и во всяком случае тем более заразительное, чем меньше в нем смысла. Мы слишком охотно ведем счет по векам.

Слово «век», давно отдалившееся от точного счисления лет, имело изначально также мистическую окраску — отзвуки «Четвертой эклоги» [44] или Dies irae [45]. Возможно, они еще не вполне заглохли в то время, когда, не слишком заботясь о числовой точности, история с запозданием рассуждала о «веке Перикла», о «веке Людовика XIV». Но наш язык стал более строго математическим. Мы уже не называем века по именам их героев. Мы их аккуратно нумеруем по порядку, сто лет и еще сто лет, начиная от исходной точки, раз навсегда установленной в первом году нашей эры. Искусство XII века, философия XVIII века, «тупой

XIX век» — эти персонажи в арифметической маске разгуливают на страницах наших книг. Кто из нас похвалится, что всегда мог устоять перед соблазном их мнимого удобства?

К сожалению, в истории нет такого закона, по которому годы, у которых число заканчивается цифрами 01, должны совпадать с критическими точками эволюции человечества. Отсюда возникают странные сдвиги. «Хорошо известно, что восемнадцатый век начинается в 1715 г. и заканчивается в 1789». Эту фразу я прочел недавно в одной студенческой тетради. Наивность? Ирония? Не знаю. Во всяком случае, это удачное обнажение некоторых вошедших в привычку нелепостей. Но если речь идет о философическом XVIII веке, наверное, можно было бы даже сказать, что он начинается гораздо раньше 1701 г.: «История оракулов» появилась в 1687 [46], а «Словарь» Бейля в 1697 г. Хуже всего то, что, поскольку слово, как всегда, тянет за собой мысль, эти фальшивые этикетки в конце концов обманывают нас и насчет товара. Медиевисты говорят о «Ренессансе двенадцатого века». Конечно, то было великое интеллектуальное движение. Но, вписывая его в эту рубрику, мы слишком легко забываем, что в действительности оно началось около 1060 г., и некоторые существенные связи от нас ускользают. Короче, мы делаем вид, будто можем, согласно строгому, но произвольно избранному равномерному ритму, распределять реальности, которым подобная размеренность совершенно чужда. Это чистая условность, и обосновать ее мы не в состоянии. Надо искать что-то более удачное.

Пока мы ограничиваемся изучением во времени цепи родственных явлений, проблема в общем несложна. Именно в этих явлениях и следует искать границы их периодов. Например, история религии в царствование Филиппа-Августа, история экономики в царствование Людовика XIV. А почему бы Луи Пастеру не написать: «Дневник того, что происходило в моей лаборатории при втором президентстве Греви»? [47] Или, наоборот: «История дипломатии в Европе от Ньютона до Эйнштейна»?

Легко понять, чем соблазняло деление по империям, королям или политическим режимам. За ним стоял не только престиж, придаваемый давней традицией проявлениям власти, этим, по словам Макиавелли, «действиям, имеющим облик величия, присущего актам правительства или государства». У какого-то события, у революции есть на шкале времени место, установленное с точностью до одного года, даже до одного дня. А эрудит любит, как говорится, «тонко датировать». В этом он находит и избавление от инстинктивного страха перед неопределенным, и большое удобство для совести. Он хотел бы прочесть все, перерыть все, относящееся к его предмету. Насколько приятней для него, если, берясь за архивные папки, он может с календарем в руках распределять их «до», «во время», «после»,

Но не будем поклоняться идолу мнимой точности. Самый точный отрезок времени — не обязательно тот, к которому мы прилагаем наименьшую единицу измерения (тогда следовало бы предпочесть не только год десятилетию, но и секунду — дню), а тот, который более соответствует природе предмета. Ведь каждому типу явлений присуща своя, особая мера плотности измерения, своя, специфическая, так сказать, система счисления. Преобразования социальной структуры, экономики, верований, образа мышления нельзя без искажений втиснуть в слишком узкие хронологические рамки. Если я пишу, что чрезвычайно глубокое изменение в западной экономике, отмеченное первыми крупными партиями импорта заморского зерна и первым крупным подъемом влияния немецкой и американской промышленности, произошло между 1875 и 1885 гг., такое приближение — единственно допустимое для фактов этого рода. Дата, претендующая на бо́льшую точность, не соответствовала бы истине. Так же и в статистике средний показатель за десятилетие сам по себе является не более грубым, чем средний годовой или недельный. Просто он выражает другой аспект действительности.

Впрочем, можно априори предположить, что на практике естественные фазы явлений, с виду весьма различных, иногда перекрывают одна другую. Точно ли период Второй империи был также новым периодом во французской экономике? Прав ли был Зомбарт[48], отождествляя расцвет капитализма с расцветом протестантского духа? Верно ли утверждение Тьерри-Монье, что демократия является «политическим выражением» того же капитализма (боюсь, что на самом деле не совсем того же)? Тут мы не вправе попросту отвергать, сколь бы сомнительными ни казались нам эти совпадения. Но выдвигать их можно — там, где это уместно, — лишь при одном условии: если они не постулируются заранее. Приливы, без сомнения, связаны с фазами луны. Однако, чтобы это узнать, надо было сперва определить отдельно периоды приливов и периоды изменения Луны.

Если же мы, напротив, изучаем социальную эволюцию в целом, надо ли характеризовать ее последовательные этапы? Это проблема первостепенного значения. Здесь можно лишь наметить пути, по которым, как нам кажется, должна идти классификация. Не будем забывать, что история — наука, еще находящаяся в процессе становления.

Люди, родившиеся в одной социальной среде и примерно в одни годы, неизбежно подвергаются, особенно в период своего формирования, аналогичным влияниям. Опыт показывает, что их поведению, сравнительно с намного более старшими или младшими возрастными группами, обычно свойственны очень четкие характерные черты. Это верно даже при разногласиях внутри, которые могут быть весьма острыми. Страстное участие в споре

об одном и том же предмете, пусть с противоположных позиций, также говорит о сходстве. Этот общий отпечаток, порожденный возрастной общностью, образует поколение.

Общество, если уж говорить точно, редко бывает единым. Оно разделяется на различные слои. Каждый из них не всегда соответствует поколению: разве силы, воздействующие на молодого рабочего, обязательно — или, по крайней мере, с той же интенсивностью — воздействуют на молодого крестьянина? Вдобавок даже в обществах с очень развитыми связями некоторые течения распространяются медленно. «Когда я был подростком, в провинции еще были романтики, а Париж уже от этого отошел», — рассказывал мне мой отец, родившийся в Страсбурге в 1848 г. Впрочем, часто противоположность, как в данном случае, сводится к разнобою во времени. Поэтому, когда мы, например, говорим о том или ином поколении французов, мы прибегаем к образу сложному и порой разноречивому, однако, мы, понятно, имеем в виду его определяющие элементы.

Что до периодичности поколений, в ней, разумеется, вопреки пифагорейским иллюзиям[49] иных авторов, нет никакой правильности. Границы поколений то сужаются, то раздвигаются, в зависимости от более или менее быстрого темпа социального движения. Были в истории поколения долгие и краткие. Лишь прямым наблюдением удается уловить точки, в которых кривая меняет свое направление. Я учился в школе, дата поступления в которую позволяет мне наметить вехи. Уже очень рано я почувствовал себя во многих отношениях ближе к выпускам, предшествовавшим моему, чем к тем, что почти сразу следовали за моим. Мои товарищи и я, мы находились в последних рядах тех, кого, я думаю, можно назвать «поколением дела Дрейфуса». Дальнейший жизненный опыт не опроверг этого ощущения.

Поколениям, наконец, неизбежно свойственно взаимопроникновение. Ибо разные индивидуумы не одинаково реагируют на одни и те же влияния. Среди наших детей теперь уже легко в общем отличить по возрасту поколение военное от того, которое будет послевоенным. Но при одной оговорке: в возрасте, когда дети еще не вполне подростки, но уже вышли из раннего детства, чувствительность к событиям настоящего очень различна в зависимости от различий в темпераменте; наиболее рано развившиеся будут действительно «военными», другие окажутся на противоположном берегу.

Итак, понятие «поколение» очень гибко, как всякое понятие, которое стремится выразить без искажений явления человеческой жизни. Но вместе с тем оно соответствует реальностям, ощущаемым нами как вполне конкретные. Издавна его как бы инстинктивно применяли в дисциплинах, природа которых заставляла отказаться — раньше, чем в других дисциплинах, — от старых деле-

ний по царствованиям или по правительствам: например в истории мысли или художественного творчества. Это понятие все больше и больше, как нам кажется, доставляет глубокому анализу человеческих судеб первые необходимые вехи.

Однако поколение — относительно короткая фаза. Фазы более длительные называются цивилизациями.

Благодаря Люсьену Февру мы теперь хорошо знаем историю этого слова, неотделимую, разумеется, от истории связанного с ним понятия[50]. Оно лишь постепенно освобождалось от оценочного суждения. Точнее, тут произошло разъединение. Мы еще говорим (увы, с гораздо меньшей уверенностью, чем наши предшественники!) о цивилизации как некоем идеале и о трудном восхождении человечества к ее благородным радостям; но также говорим о «цивилизациях» во множественном числе, являющихся конкретными реальностями. Теперь мы допускаем, что бывают, так сказать, нецивилизованные цивилизации. Ибо мы признали, что в любом обществе все взаимосвязано и взаимозависимо: политическая и социальная структура, экономика, верования, самые элементарные, как и самые утонченные, проявления духа. Как же назвать этот комплекс, в лоне которого, как писал уже Гизо, «соединяются все элементы жизни народа, все силы его существования»? По мере того, как науки о человеке становились все более релятивистскими, слово «цивилизация», созданное в XVIII в. для обозначения некоего абсолютного блага, приспособилось, — конечно, не теряя старого своего значения, — к этому новому, конкретному, смыслу. От того, что прежде было его единственным значением, оно лишь сохраняет отзвук любви к человеку, чем не следует пренебрегать.

Различия между цивилизациями проступают особенно явственно, когда благодаря отдаленности в пространстве контраст подчеркивается экзотичностью: кто станет спорить, что существует китайская цивилизация или что она сильно отличается от европейской? Но и в одних и тех же краях преобладающая черта социального комплекса также может изменяться, иногда постепенно, иногда резко. Когда преобразование завершилось, мы говорим, что одна цивилизация сменила другую. Порой тут действует и внешний толчок, обычно сопровождаемый включением новых человеческих элементов: так было в эпоху между Римской империей и обществами раннего средневековья. Порой же происходит только внутреннее изменение: например, о цивилизации Ренессанса, от которой мы так много унаследовали, каждый, однако, скажет, что это уже не наша цивилизация. Несомненно, эти различия тональности трудно определить. Разве что употребив слишком общие ярлыки. Удобство всяких «измов» (Typismus, Konventionalismus) взяло верх над попыткой описания — и весьма тонкого — эволюции, которое дал недавно Карл Лампрехт в своей «Истории Германии»[51].

Это было ошибкой уже у Тэна, у которого нас ныне так удивляет сочетание конкретно-личного с «господствующей концепцией». Но если какие-то попытки потерпели неудачу, это не оправдание для отказа от новых усилий. Задача исследования — придавать устанавливаемым различиям все большую точность и тонкость.

Итак, человеческое время всегда будет сопротивляться строгому единообразию и жесткому делению на отрезки, которые свойственны часам. Для него нужны единицы измерения, согласующиеся с его собственным ритмом и определяемые такими границами, которые часто — ибо того требует действительность — представляют собой пограничные зоны. Лишь обретя подобную гибкость, история может надеяться приспособить свои классификации к «контурам самой действительности», как выразился Бергсон, а это, собственно, и есть конечная цель всякой науки.

Глава пятая

Позитивизм тщетно пытался устранить из науки идею причинности. Всякий физик, всякий биолог волей-неволей мыслит с помощью «почему» и «потому что». Историкам вряд ли удастся уйти из-под власти этого всеобщего закона мышления. Одни, как Мишле, скорее связывают великое «жизненное движение» в одну цепь, нежели объясняют его в логической форме; другие выставляют напоказ свой арсенал индукций и гипотез — генетическая связь присутствует у всех. Но из того, что раскрытие отношений причины и следствия составляет, по-видимому, инстинктивную потребность нашего разума, вовсе не следует, что в поисках причинных связей нужно полагаться на инстинкт. Хотя метафизика причинности находится здесь за пределами нашего кругозора, применение каузальной связи как орудия исторического познания, бесспорно, требует критического осознания.

Вообразим, что по горной тропинке идет человек. Вдруг он спотыкается и падает в пропасть. Чтобы этот случай произошел, потребовалось соединение многих детерминирующих элементов. В их числе: сила тяжести, горный рельеф, сам по себе являющийся следствием долгих геологических преобразований; тропинка, которая была проложена, например с целью связать деревню с летними пастбищами. Итак, можно с полным основанием сказать, что если бы законы небесной механики были иными, если бы эволюция земного шара протекала иначе, если бы хозяйство альпийских деревень не основывалось на сезонном выгоне скота в горы, то человек бы не упал в пропасть. Но попробуйте все же спросить, что́ было причиной падения, и всякий ответит: неосторожный шаг. И не в том дело, что именно этот антецедент был самым необходимым для данного события. Множество других были в равной степени необходимыми. Но среди всех прочих он выделяется несколькими очень четкими чертами: он был последним, наименее постоянным, наиболее исключительным в общем ходе вещей; наконец, в силу именно этой его наименьшей всеобщности его вмешательства как будто легче всего было избежать. По этим соображениям он представляется нам находящимся в более прямой связи со следствием, и у нас невольно возникает чувство, что именно он и вызвал падение. С точки зрения здравого смысла, который, рассуждая о причине, всегда с трудом ос-

вобождается от известного антропоморфизма, этот компонент, включившийся в последнее мгновение, этот особый и неожиданный компонент играет роль скульптора, придающего форму уже вполне готовому пластическому материалу.

Историческое рассуждение в своей повседневной практике идет по тому же пути. Наиболее постоянные и общие антецеденты, сколь бы ни были они необходимыми, попросту подразумеваются. Кому из военных историков придет в голову включить в число причин победы силу притяжения, от которой зависят траектории снарядов, или физиологические особенности человеческого тела, не будь которых, снаряды не могли бы наносить смертельные раны? Антецеденты более частные, но все же наделенные известным постоянством, образуют то, что принято называть «условиями». Самый же специфический антецедент, тот, который в пучке причинных сил представляет как бы дифференциальный элемент, он-то преимущественно и получает наименование «причины». Можно, например, сказать, что инфляция во времена Лоу[1] была причиной повсеместного повышения цен. Наличие во Франции определенной экономической среды, уже гомогенной и с развитыми связями, будет только условием. Ибо широкие возможности обращения, которые, способствуя распространению бумажных денег, благоприятствовали повышению цен, предшествовали инфляции и продолжали существовать и после нее.

* * *

Несомненно, в этом различении заключается плодотворный для научных изысканий принцип. К чему усложнять картину антецедентами, имеющими почти универсальный характер? Они — общие для слишком большого числа явлений, чтобы специально упоминать их в генеалогии каждого. Я знаю заранее, что если б воздух не содержал кислорода, то пожара бы не было; определить, из-за чего начался данный пожар, — вот что меня интересует, вот что вызывает и оправдывает мои усилия открыть истину. Законы, управляющие траекторией снарядов, действуют при поражении, равно как при победе; они объясняют обе эти возможности, а значит. бесполезны для объяснения каждой из них в частности.

Однако тут нельзя безоговорочно возводить в абсолют иерархическую классификацию, которая по сути является всего лишь удобным приемом. Действительность дает нам почти бесконечное множество силовых линий, которые все сходятся в одном явлении. Выбор, производимый нами среди них, может быть основан на признаках, практически вполне достойных внимания. И все равно это только выбор. В идее, что некая причина по преимуществу противостоит простым «условиям», есть значительная доля произвольного. Сам Симиан, охваченный стремлением к точности и вначале пытавшийся (как я полагаю, тщетно) дать более строгие определения, под конец, видимо, признал вполне относительный

характер подобного различения. «В эпидемии, — писал он, — для врача причиной будет распространение микроба, а условием — нечистоплотность, болезненность, порожденные пауперизмом; для социолога и филантропа пауперизм будет причиной, а биологические факторы — условием». Он честно допускает, что перспектива может меняться в зависимости от угла зрения.

Впрочем, будем и здесь осторожны: суеверное преклонение перед единственной причиной — это в истории чересчур часто лишь скрытая форма поисков виновного, а значит, суждения оценочного. «Чья вина или чья заслуга?» — говорит судья. Ученый же довольствуется вопросом «почему» и готов к тому, что ответ не будет простым. Монизм в установлении причины — вызван ли он предрассудком здравого смысла, постулатом логика или навыком судейского чиновника — будет для исторического объяснения только помехой. Историк ищет цепи каузальных волн и не пугается, если они оказываются (ибо так происходит в жизни) множественными.

Исторические факты — это факты психологические по преимуществу [2]. Стало быть, их антецедентами, как правило, являются другие психологические факты. Конечно, судьбы людей включены в мир физический и несут его бремя. Но даже там, где вмешательство этих внешних сил кажется наиболее грубым, их действие осуществляется только как направленное человеком и его разумом. Вирус «Черной чумы» [3] был первопричиной уменьшения населения в Европе. Но эпидемия распространилась так быстро лишь благодаря определенным социальным — а значит, по их глубинному характеру, психологическим — условиям, и ее моральные следствия могут быть объяснены только особым предрасположением коллективного образа чувств.

Но у историков психология занимается лишь ясным сознанием. Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны. При нынешнем уровне исследований психической жизни и ее темных глубин — это еще одно доказательство того, как всегда трудно отдельным наукам идти в ногу со всеми остальными науками. Это также повторение, в большем масштабе, ошибки — впрочем, уже не раз отмеченной — старой экономической теории. Ее homo oeconomicus был призраком не только потому, что его изображали поглощенным исключительно своей выгодой; еще вреднее была иллюзия, будто он настолько уж ясно представлял себе эту выгоду. «Нет ничего более редкого, чем план», — говорил еще Наполеон. Можно ли считать, что тяжкая моральная атмосфера, в которой мы теперь живем, формирует в нас только человека разумных решений? Мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме осознанных мотивов.

Как любопытна, кстати, антиномия, наблюдаемая в меняющихся установках стольких историков! Когда надо удостоверить, имел ли место в действительности тот или иной поступок, их тщательность выше всяких похвал. Когда же они переходят к причинам поступка, их удовлетворяет любая видимость правдоподобия — обычно со ссылкой на какую-нибудь из истин банальной психологии, которые верны ровно настолько, насколько и противоположные им.

Два философски образованных критика — Георг Зиммель в Германии и Франсуа Симиан во Франции — развлекались, изобличая такие предвосхищения основания[4]. Один немецкий историк пишет, что эбертисты[5] вначале прекрасно ладили с Робеспьером, так как он во всем следовал их желаниям, затем они от него отошли, потому что, мол, сочли его слишком могущественным. Тут, замечает Зиммель, подразумеваются два следующих высказывания: благодеяние побуждает к благодарности; мы не любим, чтобы нами повелевали. Оба высказывания, несомненно, нельзя назвать ложными. Но их нельзя назвать и истинными. Разве мы не можем с одинаковым успехом утверждать, что слишком полное подчинение воле какой-нибудь партии вызывает у нее скорее презрение к такой слабости, чем благодарность, и разве, напротив, мы не видели диктаторов, которые благодаря страху, внушаемому их могуществом, подавляли малейшую попытку сопротивления? Один схоласт говорил о власти, что у нее «нос из воска — он одинаково легко гнется налево и направо». Это относится и к пресловутым психологическим истинам здравого смысла.

Ошибка здесь по сути та же, что лежала в основе географического псевдодетерминизма, ныне окончательно развенчанного. Имеем ли мы дело с явлением мира физического или с социальным фактом, в человеческих реакциях нет ничего общего с движением часового механизма, всегда заведенного в одну сторону. Пустыня, что бы ни говорил Ренан, отнюдь не обязательно «монотеистична», ибо народы, ее населяющие и глядящие на ее пейзажи, наделяют их различной душой. Малочисленность водных источников приводила бы в любом месте к плотности сельских поселений, а обилие источников — к распыленности лишь в том случае, когда для крестьян близость ручьев, колодцев или озер была действительно наиважнейшим обстоятельством. Конечно, случается, что они — из соображений безопасности или взаимопомощи и даже из простого стадного чувства — предпочитают селиться вместе в любом уголке земли, где есть свой источник воды; но бывает и наоборот (как в некоторых районах Сардинии): каждый строит себе жилище в центре небольшого владения и готов ради этой любезной его сердцу уединенности проделывать далекий путь к редким в тех местах источникам. Разве человек по природе своей не является прежде всего великой переменной величиной?

Не будем, однако, судить слишком поспешно. Ошибка в подобных случаях кроется не в объяснении как таковом. Она целиком обусловлена его априорностью. Хотя пока еще примеров тому не так уж много, вполне возможно, что при определенных социальных условиях расположение водных источников является — больше, чем другие причины, — решающим для характера поселений. Бесспорно лишь то, что эта причина не всегда решающая. Отнюдь не невероятно, что эбертисты и впрямь руководствовались теми мотивами, которые им приписал историк. Неправ он был только в том, что рассматривал эту гипотезу как нечто установленное. Надо было ее доказать. Затем, когда доказательство было бы представлено — мы не вправе заранее считать это неосуществимым, — оставалось еще, углубляя анализ, спросить себя, почему из всех возможных психологических установок в данной группе возобладали именно эти. Ибо, если мы полагаем, что интеллектуальная или эмоциональная реакция никогда не является сама собой разумеющейся, то всякий раз, когда она осуществляется, необходимо раскрыть ее причины. Одним словом, причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать...

ПРИЛОЖЕНИЯ

Л. Февр

В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДИЛАСЬ РУКОПИСЬ «РЕМЕСЛО ИСТОРИКА»

Подготовка для публикации незавершенной рукописи, которую автор не смог окончательно просмотреть и в которой даже части, отданные в перепечатку на машинке, наверняка подверглись бы отделке, прежде чем автор отдал бы их в печать, — задача щекотливая и вызывающая немало сомнений. Но чего стоят эти сомнения рядом с удовольствием, которое получаешь, открывая прекрасное — даже в изувеченном виде — произведение!

Марк Блок, как и я сам, давно мечтал изложить в связном виде свои мысли об истории. Я часто с горечью говорю себе, что когда еще было для этого время, нам следовало объединиться и написать для молодых некоего «Ланглуа и Сеньобоса» [1], который был бы манифестом другого поколения и выражением совсем иного духа. Слишком поздно! Марк Блок, по крайней мере когда события заставили его отклониться от его пути, попытался самостоятельно осуществить план, который мы часто обсуждали вдвоем.

Я уже говорил [2] о том, как он, мобилизованный в один из эльзасских штабов и тяготясь праздностью на этой «странной войне», пошел однажды к первому же прибывшему из Мольсхейма мелочному торговцу и обзавелся школьной тетрадкой, наверное, совершенно такой же, в какой Анри Пиренн, сосланный в другую деревню, где-то в глубине Германии, написал свою «Историю Европы» [3]. На первой странице Блок дал название: «История французского общества в рамках европейской цивилизации». Далее следовало посвящение:

Памяти Анри Пиренна,

который в то время, когда его страна сражалась рядом с моей за справедливость и цивилизацию, написал в плену «Историю Европы».

После чего Блок, по своей привычке, изложил «Введение»:

Размышления,

предназначенные для читателя, интересующегося методом,

за которыми следовал ряд страниц, оставшихся в рукописном виде и представлявших первую главу, названную: «Рождение Франции и Европы».

События, о которых Блок сам рассказал в «Странном поражении» [4], остановили эту работу. А когда, возвратившись во

Францию после трагического круга Дюнкерк—Лондон—Бретань, Блок возобновил работу, он принялся за создание своей «Апологии истории». С какого именно времени? Точно не могу сказать. Первая дата, которой я располагаю, поставлена внизу посвященной мне волнующей страницы: «Фужер (деп. Крёз), 10 мая 1941 года». — А на отдельном листке в одной из его папок значится еще:

«Состояние работы: 11 марта 1942 года:

1. Написать для конца IV: общие мысли, цивилизации — и перечитать.

2. Перейти к V (изменения, опыт)».

10 мая 1941 г., 11 марта 1942 г.; после этого Блок действительно закончил главу IV и начал главу V, которой не дал окончательного названия. И это все.

* * *

Как Блок закончил бы свою книгу? В переданных мне бумагах я не нашел точного плана задуманной книги. Вернее, нашел один план, но предшествовавший выполнению работы и сильно отличающийся от того, которому Марк Блок в ней следовал. Там намечено семь глав со следующими названиями:

I. Историческое познание: прошлое и настоящее.

II. Историческое наблюдение.

III. Исторический анализ.

IV. Время и история.

V. Исторический опыт.

VI. Объяснение в истории.

VII. Проблема предвидения.

В качестве заключения Блок собирался написать этюд о «роли истории в государстве и в образовании». И еще он думал дать приложение, посвященное преподаванию истории.

Нет надобности говорить об отличиях этой программы от той, которую осуществил историк в своем труде. Поскольку то, что предусматривалось для первых пяти глав, содержится в первых четырех завершенных главах «Апологии», то получается, что Блок должен был еще коснуться понятия случая, проблемы индивидуума, проблемы «детерминирующих действий или фактов» и, наконец, проблемы «предвидения», которой он намеревался посвятить целую главу. Судя по всему, можно думать, что в нашем распоряжении — две трети работы, оставшейся незаконченной. Пожалуй, будет полезно привести здесь конец невыполненной программы:

«VI. Объяснение в истории.

В качестве введения: «*Поколение скептиков*» (и сциентистов).

1. Понятие причины. Развенчание причины и мотива (бессознательное). Романтизм и спонтанность.

2. Понятие случая.

3. Проблема индивидуума и его дифференцирующего значения. Дополнительно — эпохи, в документации которых нет индивидуумов. Является ли история только наукой о людях в обществе? История массы и элиты.

4. Проблема «детерминирующих» действий или фактов.

VII. Проблема предвидения:

1. Предвидение — потребность ума.

2. Обычные ошибки предвидения: экономическая конъюнктура, военная история.

3. Антиномия предвидения в области человеческого: предвидение, уничтожаемое предвидением; роль осознания.

4. Предвидение на короткий срок.

5. Закономерности.

6. Надежды и сомнения».

Можно глубоко сожалеть об отсутствии более конкретных и подробных записей Блока, относящихся к последним частям его книги. Они, наверное, принадлежали бы к числу самых оригинальных. Хотя я хорошо знаком с его мыслями — они также и мои — по вопросам, затронутым в главе VII, мы, если не ошибаюсь, никогда не беседовали о проблеме предвидения, которую Блок так умно и оригинально собирался трактовать в конце своего труда и которая, возможно, была бы наиболее индивидуально окрашенной во всей книге.

* * *

Готовя текст к печати, я располагал тремя толстыми папками, в каждой из которых находился почти полный экземпляр текста. В основном эти экземпляры состоят из страниц, отпечатанных на машинке, среди которых попадаются рукописные, написанные рукой Марка Блока, чаще всего на обороте им же перечеркнутой страницы с первоначальным текстом. Моя работа издателя состояла главным образом в установлении на основе этих трех экземпляров сводного экземпляра с полным числом страниц и с учетом всех рукописных исправлений, сделанных Марком Блоком после машинки. Никакие добавления, никакие исправления, даже чисто формальные, в текст Блока не вносились; именно этот текст в его цельном и нетронутом виде напечатан в данной «Тетради» [5].

В книге предполагались примечания. Мы нашли лишь несколько набросков, сделанных рукой нашего друга. Они помещены ниже. Нам казалось, что мы не должны заполнять этот пробел. То был бы труд огромный и лишенный всякого интереса, к тому же сопряженный на каждом шагу с неразрешимыми проблемами.

Добавлю, что все три упомянутых экземпляра заканчиваются одной и той же фразой: «Причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать».

* * *

Не мне характеризовать мысли Блока об истории — по причинам, которые им с такой нежностью и, я бы сказал, с таким блеском изложены на посвященной мне странице в начале книги. Я сделаю лишь одно замечание. Если не ошибаюсь, во всей книге ни разу не произнесено слово «эволюция» [6].

* * *

Наконец, поскольку речь шла о посвящении и о дорогом воспоминании, я не могу не сказать следующего.

Есть человек, кому Марк Блок, перед тем как уйти навсегда, несомненно, посвятил бы одну из своих больших работ, которых мы от него ждали. Человек, которого все знавшие и любившие Марка Блока ценили за исключительно нежную заботу о нем и о его детях, за самоотверженный труд в качестве секретаря и помощницы. Я чувствую своей обязанностью, которой ничто — даже стыдливость чувства, столь сильная у Марка Блока, — не может помешать, чувствую своим настоятельным долгом упомянуть здесь имя госпожи Блок, умершей за то же дело, что и ее муж, и с той же верой во Францию *.

* Книга была уже набрана, когда составитель получил письмо из Франции от госпожи Алисы Блок, дочери Марка Блока. Она сообщила подробности жизни ее матери после ареста Марка Блока. Госпожа Блок принимала участие в движении Сопротивления. Ей пришлось расстаться со своими детьми, чтобы обеспечить их безопасность. Она скончалась в июле 1944 г.

Составитель глубоко признателен госпоже Алисе Блок за сообщение. Он также благодарен профессору А. Д. Люблинской за ценные указания и помощь при подготовке этого издания. (Примечание к 1-му изданию, вышедшему в 1973 г.)

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕЧАНИЙ, СДЕЛАННЫХ РУКОЙ МАРКА БЛОКА

К стр. 6. В этом отношении с самого начала, и отнюдь к этому не стремясь, я противоречу «Введению в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса. Первые фразы начального абзаца были уже давно написаны, когда на глаза мне попался в «Предуведомлении» этой книги (стр. XII) список «праздных вопросов». И вдруг я там вижу буквально такой же вопрос: «Зачем нужна история?» Несомненно, с этой проблемой дело обстоит так же, как почти со всеми проблемами, касающимися причин наших поступков и наших мыслей: люди, по натуре своей к ним безразличные — или сознательно решившие стать таковыми, — всегда с трудом понимают, что другие находят в этих проблемах предмет для волнующих размышлений. Но раз уж подвернулся случай, я думаю, есть смысл тут же определить мою позицию по отношению к этой заслуженно известной книге, которую моя книга, построенная по другому плану и в отдельных своих частях гораздо менее развернутая, никак не претендует заменить. Я был учеником этих двух авторов, в особенности Сеньобоса. Оба они выказывали мне расположение. Мое раннее образование многим обязано их лекциям и произведениям. Но оба они учили нас не только тому, что первый долг историка — быть искренним; они также не скрывали, что прогресс в нашей науке достигается неизбежным противоречием между поколениями ученых. Итак, я останусь верен их урокам, свободно критикуя их там, где сочту полезным; надеюсь, когда-нибудь мои ученики в свою очередь будут так же критиковать меня.

К стр. 7. Француз — антиисторичен: *Курно.* Воспоминания, стр. 43, по поводу отсутствия каких бы то ни было роялистских чувств к концу Империи: «...Для объяснения этого странного факта, надо, полагаю, принять во внимание малую популярность нашей истории и слабое развитие у нас в низших классах — по причинам, анализировать которые было бы слишком долго, — чувства исторической традиции».

К стр. 16. (Отрывок этого примечания на отдельном листке, начало потеряно) [... как показал] Люсьен Февр, сама история, когда у нее ищут ответа насчет пути развития, по которому непрестанно идет человечество, дает им сокрушительное опровержение. Не только каждая наука, взятая отдельно, находит среди перебежчиков из соседних областей мастеров, часто приносящих ей самые блестящие успехи. Пастер, обновивший биологию, не был биологом — и при его жизни ему частенько об этом напоминали; точно так же Дюркгейм и Видаль де ла Блаш, которые оставили в исторической науке начала XX в. несравненно более глубокий след, чем любой специалист, хотя первый был философом, перешедшим в социологию, а второй географом, и оба не числились в ряду дипломированных историков.

К стр. 17. *Фюстель де Куланж.* Вводная лекция 1862 года в «Журнале исторического синтеза», т. II, 1901, стр. 243; *Мишле.* Курс лекций в Нормальной школе, 1829, цитируемый Г. Моно в книге: «Жизнь и идеи Жюля Мишле», т. I, стр. 127: «Мы будем заниматься одновременно изучением человека индивидуального — это будет философия — и изучением человека социального — это будет история». Надо заметить, что Фюстель де Куланж позже высказал эту мысль в форме более сжатой и полной, развитие которой в вышеприведенной фразе является в целом лишь неким комментарием: «История — не скопление всевозможных фактов, совершившихся в прошлом. Она — наука о человеческих обществах». Но, пожалуй, тут чрезмерно сужается роль индивидуума в истории: «человек в обществе» и «общества» — это два понятия, не вполне эквивалентные.

К стр. 18. «Не еще одного человека, и никогда просто человека, но человеческие общества, организованные группы» (*Люсьен Февр.* «Земля и человеческая эволюция», стр. 201).

К стр. 23. Предисловие к «Accessiones Historicae» (1700), t. IV, 2, p. 53: «Tria sunt quae expetimus in Historia: primum, voluptatem noscendi res singulares; deinde, utilia in primis vitae praecepta; ac denique origines praesentium a praeteritis repetitas, cum omnia optime ex causis noscantur». («Трех выгод мы ждем от истории: прежде всего — наслаждения узнавать необычные вещи, затем — полезных, особенно для жизни, наставлений и наконец — рассказа о том, как настоящее произошло из прошлого, когда все превосходно выводится из своих причин».)

К стр. 65. В юности я слышал, как весьма знаменитый ученый, преподаватель Школы Хартий, с гордостью говорил нам: «Я датирую рукописи по характеру письма безошибочно с точностью до двадцати лет». Он забыл лишь одно: многие люди, в том числе и писцы, живут больше сорока лет, и если почерк иногда в старости меняется, то при этом он очень редко приспосабливается к новому стилю письма. Около 1200 года наверняка были писцы лет шестидесяти, которые писали еще так, как их учили в году 1150. История письма поразительно отстает от истории. языка. Она еще ждет своего Дица или своего Мейе.

Марк Блок

ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Том I. Часть первая, книга II. Условия жизни и духовная атмосфера

Глава первая

МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕР ЭКОНОМИКИ

1. Два феодальных периода

Устройство управляющих обществом учреждений можно по-настоящему объяснить, лишь зная данную человеческую среду в целом. Иллюзорная работа, которую мы проделываем, превращая существо из плоти и крови в разные призраки, вроде homo oeconomicus, philosophicus, juridicus, полезна только в той степени, в какой мы не поддаемся ее соблазнам. Вот почему, хотя в этой серии[1] уже есть книги, посвященные различным аспектам средневековой цивилизации, нужно полагать, что описания, сделанные в них под углом зрения, отличным от нашего, не освобождают от необходимости напомнить здесь основные черты исторического климата, характерного для европейского феодализма. Стоит ли добавлять, что, помещая этот очерк почти в начале книги, я вовсе не считаю, будто категории фактов, которые тут будут вкратце очерчены, обладают невесть какой первостепенной важностью. Когда сопоставляешь два частных феномена, относящихся к различным рядам (например, особый тип поселения и некие формы юридических групп), неизбежно возникает щекотливая проблема причины и следствия. Но если мы, сравнивая две цепи по природе несхожих явлений и рассматривая их эволюцию на протяжении веков, скажем: «Вот тут все причины, а вот там — все следствия», то подобная дихотомия будет уж вовсе лишена смысла. Разве общество, как и дух человека, не является сплетением непрестанных взаимодействий? И все же у любого исследования есть своя собственная ось. Анализ экономики или психологии, конечные пункты, с точки зрения изысканий, иначе ориентированных, — отправной пункт для историка социальной структуры.

В этой предваряющей картине, сознательно ограниченной в смысле темы, придется останавливаться лишь на самом существенном и наименее сомнительном. Об одном же намеренном пробеле надо все же сказать пару слов. Поразительный расцвет искусства в феодальную эпоху, по крайней мере с XI в., не только создал в глазах потомства неувядающую славу этой эпохе в жизни человечества. Искусство служило тогда языком для выражения наиболее возвышенных форм религиозного чувства, равно как и для столь характерного взаимопроникновения священных и

мирских сюжетов, самыми наивными свидетельствами чего остались некоторые фризы и капители в церквах. Но, кроме того, искусство очень часто служило как бы прибежищем для духовных ценностей, которые не могли проявиться иным образом. Умеренность, к которой эпос был совершенно неспособен, следует искать в романской архитектуре. Точное мышление, которого не могли достигнуть нотариусы в своих грамотах, царило в работе строителей сводов. Однако отношения, связывающие пластическое выражение с другими аспектами цивилизации, пока еще слишком мало изучены, слишком, как нам кажется, сложны и слишком часто характеризуются отставанием или отклонениями; поэтому здесь придется не затрагивать проблем, создаваемых столь тонкими связями и столь вопиющими, на первый взгляд, противоречиями.

Было бы все же грубой ошибкой рассматривать «феодальную цивилизацию» как нечто цельное во времени. К середине XI в. наблюдается ряд весьма глубоких и всеобщих изменений, которые, несомненно, вызвало или сделало возможными прекращение последних нашествий [2]; но в той мере, в какой эти изменения были его результатом, они проявились с запозданием в несколько поколений. Разумеется, то был не разрыв, а смена направления, которая, несмотря на неизбежную разновременность, в зависимости от страны и рассматриваемого феномена, охватила одну за другой почти все кривые социальной жизни. Короче, было два последовательных «феодальных» периода с весьма различными ведущими тональностями. В дальнейшем мы постараемся наметить как общие черты, так и различия в этих двух фазах.

2. Первый феодальный период: население

Мы не можем и никогда не сможем определить в цифрах, пусть приблизительных, численность населения наших стран в течение первого феодального периода. Плотность его наверняка сильно различалась по областям, и эти различия постоянно увеличивались из-за социальных потрясений. Наряду с подлинной пустыней иберийских плато, что накладывало на пограничную зону христианства и ислама унылый отпечаток обширного no man's land (англ.: «ничейная земля». — *Ред.*), даже наряду с древней Германией, где медленно заполнялись бреши, пробитые миграциями предыдущего периода, земли Фландрии или Ломбардии представляли зоны относительно благополучные. Хотя эти контрасты, равно как их отголоски во всех нюансах цивилизации, бесспорно существенны, основная черта эпохи — повсеместное и резкое снижение демографической кривой. На всей территории Европы было куда меньше людей не только по сравнению с периодом, начинающимся XVIII в., но даже с временами после XII в.; также и в провинциях, прежде находившихся под властью рим-

лян, население, по всем данным, было гораздо более малочисленным, чем в период расцвета империи. Даже в городах (а население самых крупных из них не превышало нескольких тысяч душ) между домами там и сям вклинивались пустоши, сады, даже поля и пастбища.

Ничтожная плотность населения еще снижалась из-за неравномерного его распределения. Понятно, что в сельских местностях природные условия, а также социальные навыки способствовали сохранению глубоких различий между заселенностью разных зон. В одних местах семьи, по крайней мере некоторые, селились подальше одна от другой, каждая в центре своего земельного владения — так было в Лимузене. В других, например в Иль-де-Франсе, почти все жители, напротив, были сосредоточены в селах. В целом, однако, давление господ и особенно забота о безопасности служили серьезными помехами для слишком большого рассеяния. Смуты раннего средневековья способствовали возникновению многолюдных поселений, где жили очень скученно. Но между этими поселениями повсюду пролегали пустынные земли. Даже под пашни, доставлявшие селу пропитание, надо было выделять, по отношению к числу обитателей, гораздо более обширные пространства, чем в наши дни. Ибо земледелие являлось тогда великим пожирателем территорий [3]. На мелко вспаханных и, как правило, плохо унавоженных нивах колосья были тощие и росли негусто. А главное, никогда не подготовлялся под посев весь участок целиком. Самые передовые методы чередования культур предписывали, чтобы каждый год половина или треть возделываемой земли отдыхала. Часто бывало и так, что чередование пара и посевов проводилось беспорядочно, и поэтому дикой растительности всегда предоставлялся более длительный отрезок времени, чем культурным растениям; поля в таких случаях отвоевывались у целины лишь на время, причем на короткое. Так в самом сердце населенных мест природа постоянно стремилась взять верх. А вокруг, окаймляя селения и проникая в них, простирались леса, кустарники и ланды, огромные дикие пространства, где человек не то чтобы вовсе отсутствовал, но где он, угольщик, пастух, отшельник или изгой, мог существовать, лишь решившись на долгое отчуждение от подобных себе.

3. Первый феодальный период: коммуникации

Общение между этими распыленными группами людей было сопряжено со многими трудностями. Крушение Каролингской империи [4] привело к исчезновению последней власти, достаточно разумной, чтобы заботиться об общественных работах, и достаточно сильной, чтобы довести до конца хотя бы некоторые из них. Даже древние римские дороги — менее прочные, чем обычно думают, — разрушались, так как их не поддерживали. Особенно

портились мосты, которых уже никто не чинил. Добавьте к этому опасность передвижения, усиливавшуюся из-за сокращения населения, ею же отчасти вызванного. Каким сюрпризом было в 841 г. появление при дворе Карла Лысого в Труа посланцев, которые привезли государю королевские регалии из Аквитании! Горсточка людей со столь драгоценным грузом сумела без помех преодолеть такое огромное пространство, где повсюду свирепствовали грабители. Гораздо меньшее удивление выражено в англосаксонской хронике, где рассказано о том, как в 1061 г. у ворот Рима один из знатнейших баронов Англии, эрл Тостиг, был захвачен шайкой бандитов, взявших с него выкуп.

По сравнению с современным нам миром скорость передвижения в те времена кажется ничтожной. Однако она была не намного меньше, чем впоследствии, до конца средних веков, даже до начала XVIII в. В отличие от того, что мы наблюдаем теперь, наиболее высокой, причем с весьма существенной разницей, она была на море. 100—150 км в день не являлись для судна каким-то исключительным рекордом, разумеется если направление ветра было не слишком неблагоприятным. Нормальный дневной переход по суше составлял, можно полагать, в среднем 30—40 км. Так ездили путешественники, которые не мчались, как угорелые: купеческие караваны, знатный сеньор, странствовавший от замка к замку или от одного аббатства к другому, армия, двигавшаяся с обозом. Какой-нибудь гонец или кучка решительных молодцов могли, постаравшись, проехать вдвое больше. Письмо, написанное Григорием VII в Риме 8 декабря 1075 г., прибыло в Гослар, у подножия Гарца, 1 января следующего года; гонец проделывал примерно по 47 км в день в среднем, а фактически, очевидно, гораздо больше.

Чтобы путешествие было не слишком утомительным и долгим, следовало ехать верхом или в повозке: лошадь, мул не только идут быстрей человека, они лучше пробираются по бездорожью. Сезонные перерывы в связях возникали не столько из-за непогоды, сколько из-за отсутствия корма; уже каролингские missi[5] требовали, чтобы их не посылали в поездки до сенокоса. Между тем опытный пешеход мог, как ныне в Африке, покрыть в короткий срок поразительные расстояния и, вероятно, преодолевал некоторые препятствия лучше, чем всадник. Карл Лысый, готовясь ко второму своему походу в Италию[6], намеревался обеспечить себе связь с Галлией, в том числе и через Альпы, с помощью пеших гонцов.

Неудобные и небезопасные, эти дороги и тропы не были, однако, пустынными. Напротив, там, где транспортировка затруднена, человек вынужден двигаться к вещи, ибо вещи дойти до него не так-то просто. А главное, не было такой службы, такого технического усовершенствования, которые заменяли бы личный контакт. Управлять государством, сидя во дворце, было невоз-

можно; чтобы держать страну в руках, приходилось беспрестанно разъезжать по ней во всех направлениях. Короли первого феодального периода буквально не вылезали из седла. Так, в течение одного года, отнюдь не исключительного, а именно 1033, император Конрад II проехал из Бургундии к польской границе, оттуда в Шампань и, наконец, вернулся в Лужицу.

Барон со свитой постоянно переезжал из одного своего владения в другое. И не только чтобы лучше за ними присматривать. Приходилось их посещать, чтобы тут же на месте употребить съестные припасы, перевозка которых в общий центр была бы и затруднительной и дорогостоящей. Всякий купец, не имевший агентов, на которых можно возложить заботы о купле-продаже, и вдобавок знавший почти наверняка, что в одном месте он не найдет нужного числа клиентов для обеспечения своих барышей, был разносчиком, «коробейником», странствовавшим в погоне за богатством по горам и долам. Клирик, жаждущий знаний или аскетической жизни, должен был пересечь Европу, чтобы добраться до желанного наставника: Герберт из Орильяка [7] изучал математику в Испании, а философию в Реймсе; англичанин Стефан Гардинг постигал праведную монашескую жизнь в бургундском аббатстве Молем. До него святой Эд [8], будущий настоятель Клюни, объехал всю Францию в поисках монастыря, где братия блюдет устав.

Несмотря на давнюю враждебность бенедиктинского ордена к «пустобродам», плохим монахам, вечно «шатающимся по свету», все в жизни духовенства способствовало кочевому образу жизни: интернациональный тип церкви, использование священниками и образованными монахами латыни как общего языка; преемственные связи между монастырями, разбросанность земель их вотчин, наконец, «реформы», которые, периодически сотрясая огромное тело церкви, превращали места, прежде других захваченные новым духом, в притягательные очаги, куда стекались отовсюду жаждущие правильного устава, а также в центры рассеяния, откуда ревнители веры устремлялись во все концы во имя торжества католицизма. Сколько чужаков нашло приют в Клюни! Сколько клюнийцев разлетелось по чужим краям! При Вильгельме Завоевателе во главе почти всех нормандских епископств и крупных аббатств, куда докатились первые волны «григорианского» пробуждения [9], стояли итальянцы или лотарингцы; архиепископ Руана Мориль был уроженцам Реймса и до того, как занял кафедру в Нейстрии, учился в Льеже, преподавал в Саксонии и вел отшельническую жизнь в Тоскане.

Но и простые люди хаживали по дорогам Запада: то были беженцы, спасавшиеся от войны или от голода; искатели приключений, полусолдаты-полубандиты; крестьяне, которые, ища лучшей жизни, надеялись найти вдали от родины еще невозделанные земли; и, наконец, пилигримы. Ибо само религиозное умонастрое-

ние побуждало к перемещениям, и не один добрый христианин, богатый или бедный, клирик или мирянин, полагал, что только дальнее паломничество может спасти его тело или душу.

Часто отмечалось, что хорошие дороги имеют свойство образовывать с выгодой для себя пустоту вокруг. В феодальную эпоху, когда все дороги были плохими, не существовало таких дорог, которые могли притянуть к себе все движение. Конечно, особенности рельефа, традиция, наличие рынка или святыни оказывали свое воздействие. Однако с гораздо меньшим постоянством, чем иногда думают историки, изучающие литературные или эстетические влияния. Какое-нибудь случайное происшествие — дорожное несчастье или вымогательства местного сеньора — могло отклонить поток в сторону, и порою надолго. Когда на старинной римской дороге был сооружен замок, в котором обосновался род рыцарей-грабителей господ де Меревиль, а в нескольких лье оттуда аббатство Сен-Дени учредило приорство в Туре, где купцы и паломники находили радушный прием, этого оказалось достаточно, чтобы окончательно отклонить на запад проходивший по области Бос отрезок пути из Парижа в Орлеан, отныне навсегда изменивший античным каменным плитам.

Но главное, с момента отбытия и до прибытия у путешественника почти всегда было на выбор несколько маршрутов, ни один из которых не представлялся безусловно наилучшим. Короче, движение не сосредоточивалось в нескольких крупных артериях, но прихотливо растекалось по множеству мелких сосудов. Обитатели любого замка, села или монастыря, даже самого отдаленного, могли рассчитывать, что их время от времени будут посещать странники, эта живая связь с большим миром. Зато немного было таких поселений, куда странники наведывались регулярно.

Дорожные препятствия и опасности отнюдь не отбивали вкуса к передвижению. Только каждое перемещение становилось целой экспедицией, чуть ли не волнующим приключением. Хотя под давлением необходимости люди не боялись предпринимать довольно далекие путешествия — вернее, боялись, но, пожалуй, не так, как в более близкие к нам века, — они очень неохотно совершали короткие, но часто повторяющиеся переходы туда и обратно, которые в других цивилизациях входят в повседневный быт, особенно, если то были люди простые, по роду занятий домоседы. Отсюда удивительная, на наш взгляд, структура системы общения. Не было такого уголка, который не вступал бы время от времени в контакт с этим подобием броуновского движения, непрерывного и в то же время непостоянного, которым было охвачено все общество. Но между двумя близлежащими селениями сношения были куда более редкими, расстояние между людьми, если можно так выразиться, бесконечно бо́льшим, чем в наши дни. Если цивилизация феодальной Европы предстает, в зависимости от угла зрения, то поразительно универсалистской,

то крайне партикуляристской, источник этой антиномии прежде всего в системе коммуникаций, столь же благоприятной для далекого распространения течений весьма общего воздействия, сколь неблагоприятной в малом масштабе для унифицирующего влияния соседских взаимоотношений.

Единственная служба пересылки писем, функционировавшая почти регулярно в течение всей феодальной эпохи, связывала Венецию и Константинополь. Западу она была практически неизвестна. Последние попытки поддерживать для государя почтовую службу с перекладными по завещанному римскими властями образцу прекратились вместе с распадом Каролингской империи. Для всеобщей дезорганизации тех времен показательно, что даже у германских государей, подлинных наследников этой империи и ее честолюбивых стремлений, не хватало то ли власти, то ли разума, чтобы возродить эту службу, столь необходимую для управления обширными территориями. Монархи, бароны, прелаты вынуждены были поручать свою корреспонденцию нарочным. Лица же менее высокого ранга прибегали к услугам странников, например паломников, направлявшихся в Сант-Яго [10] в Галисии. Относительная медлительность посланцев, невзгоды, на каждом шагу грозившие им задержками, приводили к тому, что действенной властью была только власть на месте. Всякий местный представитель высшей власти, непрестанно вынужденный принимать на свой страх и риск ответственные решения (в этом смысле богата поучительными примерами история папских легатов), старался, по вполне естественной склонности, обеспечить при этом выгоду для себя и в конце концов стремился основать независимую династию.

Если же кто хотел узнать, что делается в дальних местах, ему независимо от ранга приходилось полагаться на случайные встречи. В картине тогдашнего мира, которая рисовалась уму даже самых осведомленных людей, было немало пробелов; о них могут дать представление ляпсусы, от которых не свободны и лучшие из монастырских анналов, своего рода протоколов, составленных охотниками до новостей. И очень редко в них верно указано время. Разве не поразительно, например, что такая особа, как епископ Фульберт Шартрский, имевший благодаря сану немалые возможности узнавать новости, удивился, получив для своей церкви дары от Кнута Великого, ибо, по его признанию, он полагал, что этот государь — еще язычник, хотя в действительности Кнут Великий был окрещен в детстве. Весьма недурно осведомленный в германских делах монах Ламберт Герсфельдский [11], переходя к рассказу о важных событиях, происходивших в его время во Фландрии, стране пограничной и — частично — имперском феоде, громоздит одну нелепость на другую. Что и говорить, такие примитивные знания были весьма жалкой основой для политики с большим размахом.

4. Первый феодальный период: торговый обмен

Европа первого феодального периода не вела абсолютно замкнутую жизнь. Между нею и соседними цивилизациями существовало несколько потоков торгового обмена [12]. Самым оживленным был, вероятно, обмен между Европой и мусульманской Испанией [13], тому свидетельство — множество арабских золотых монет, которые таким путем проникали на север Пиренейского полуострова, где их высоко ценили и поэтому часто имитировали. Напротив, в западной части Средиземного моря плаванье судов на дальние расстояния прекратилось. Главные линии коммуникаций с Востоком пролегали в других местах. Одна, морская, проходила по Адриатическому морю, на берегу которого красовалась Венеция, обломок Византии в оправе чуждого ей мира. Сухопутная линия — дорога на Дунай, давно перерезанная венграми [14], — была почти полностью заброшена. Но дальше на север, по путям, соединявшим Баварию с крупным пражским рынком и тянувшимся оттуда по уступам северного склона Карпат до самого Днепра, двигались караваны, на обратном пути груженные также товарами из Константинополя и Азии. В Киеве они встречали могучий перекрестный поток, который по степям и водным путям устанавливал контакт между странами Балтики и Черным и Каспийским морями, а также с оазисами Туркестана. Ибо Запад тогда был не в силах выполнять функцию посредника между Севером или Северо-Востоком континента и Восточным Средиземноморьем; и, без сомненья, он не мог предложить на своих землях ничего равноценного тому мощному товарообмену, что принес процветание Киевской Руси.

Сосредоточенная в очень жиденькой сети торговля вдобавок была крайне анемичной. Хуже того, ее баланс, видимо, был резко дефицитным, по крайней мере в торговле с Востоком. Из стран Леванта Запад получал почти исключительно предметы роскоши, стоимость которых, очень высокая сравнительно с их весом, позволяла не считаться с расходами и риском транспортировки. Взамен Запад не мог предложить ничего, кроме рабов. Да еще можно полагать, что бо́льшая часть двуногого скота, награбленного в землях славян и латтов за Эльбой или закупленного у британских торговцев, направлялась в мусульманскую Испанию; Восточное Средиземноморье было в изобилии обеспечено этим товаром и не нуждалось в его импорте большими партиями. Барыши от этой торговли, в целом невысокие, не покрывали расходов на закупку драгоценностей и пряностей на рынках византийского мира, Египта или Передней Азии. Происходило постепенное выкачивание серебра и особенно золота. Если несколько купцов и были обязаны своим богатством этой торговле с далекими странами, то для общества в целом она была лишь еще одной причиной нехватки звонкой монеты.

Конечно, на «феодальном» Западе сделки никогда не производились полностью без денег, даже в среде крестьян. А главное, деньги не переставали играть роль обменного эквивалента. Должник часто платил продуктами, но продукты эти обычно «оценивались» каждый по своей стоимости, и итог стоимостей совпадал с ценой, выраженной в ливрах, солидах и денариях.

Итак, будем избегать слишком общего и неопределенного термина «натуральное хозяйство». Лучше говорить просто о монетном голоде. Недостаток монет еще усугублялся анархией, которая царила в их чеканке и сама была результатом как политической раздробленности, так и затрудненных коммуникаций, ибо на всяком крупном рынке приходилось, во избежание нехватки монет, иметь свой монетный двор. Если не считать имитаций чужеземных монет и исключить некоторые неходкие местные монетки, повсюду чеканили денарий, серебряную монету невысокой пробы. Золото циркулировало лишь в виде арабских и византийских монет или их копий. Ливр и солид стали всего лишь арифметическим производным от денариев, без надлежащего материального обеспечения. Но у разных денариев была в зависимости от их происхождения различная стоимость в металле. Мало того, в одной и той же местности, в каждой или почти каждой партии монет менялись либо вес, либо лигатура. Редкие и из-за отклонений от нормы неудобные монеты обращались к тому же медленно и нерегулярно, и человек никогда не был уверен, что при надобности сможет их раздобыть. Мешало и то, что торговый обмен был недостаточно интенсивным.

Но остережемся и здесь чересчур поспешной формулы: «замкнутое хозяйство». Ее нельзя применить с точностью даже к мелким крестьянским усадьбам. Мы знаем о существовании рынков, где простолюдины, несомненно, продавали часть своего урожая и живности горожанам, духовенству, воинам. Так они добывали денарии для уплаты повинностей. И лишь самый горький бедняк никогда не покупал нескольких унций соли или железа. Что же до пресловутой «автаркии» крупных сеньорий, то пришлось бы допустить, что их владельцы обходились без оружия и драгоценностей, никогда не пили вина, если только виноград не рос на их землях, и довольствовались одеждой из грубых тканей, изготовленных женами их держателей. Даже несовершенство земледельческой техники, социальные смуты и, наконец, стихийные бедствия отчасти способствовали поддержанию некоей внутренней торговли; если в случае неурожая многие буквально умирали с голоду, то население в целом не доходило до такой крайности, и нам известно, что из краев более благополучных в края, охваченные голодом, шло на продажу зерно, причем часто по спекулятивным ценам. Таким образом, товарообмен отнюдь не отсутствовал, но был в высшей степени нерегулярным. Общество того

времени знало, конечно, и куплю и продажу. Но, в отличие от нашего, оно еще не жило куплей и продажей.

Торговля, хотя бы в форме обмена, была не единственным и, пожалуй, не самым важным из каналов, по которым в те времена происходило перемещение материальных благ от одного социального слоя к другому. Большое количество продуктов переходило из рук в руки в виде повинностей, выплачивавшихся господину за покровительство или просто в знак признания его власти. Так же и товар иного типа — человеческий труд: барщина доставляла больше рабочих рук, чем наем батраков. Короче, торговый обмен в строгом смысле занимал в экономике, бесспорно, меньше места, чем повинности; и поскольку торговый обмен был мало распространен, а существовать одними трудами рук своих было терпимо лишь для неимущих, то богатство и благополучие представлялись неотделимыми от власти.

Но и самим власть имущим подобная организация экономики давала в конечном счете весьма ограниченные средства. Произнося слово «деньги», мы подразумеваем возможность накопления, способность выжидать, «предвкушение будущих благ», а все это при нехватке монет было чрезвычайно затруднено. Разумеется, люди пытались копить иными способами. Бароны и короли набивали сундуки золотой или серебряной посудой и драгоценностями; в храмах собирали побольше дорогой церковной утвари. Нужно сделать непредвиденный расход? Что ж, продают или закладывают корону, чашу, распятие или же отдают их переплавить на ближайший монетный двор. Но такой вид расчета, именно в силу замедленного торгового обмена, был делом нелегким и не всегда выгодным, да и самые сокровища не обеспечивали в целом значительной суммы. Люди знатные, как и простые, жили ближайшим днем, рассчитывая лишь на сегодняшние доходы и будучи вынужденными тут же их тратить.

Вялость товарооборота и денежного обращения имела и другое, притом серьезнейшее, следствие. Она до крайности снижала общественную роль жалованья. Ведь выплата жалованья предполагает со стороны работодателя владение достаточно большой наличностью, источнику которой не грозит с минуты на минуту иссякнуть, а со стороны нанимающегося — уверенность, что полученные им деньги он сможет потратить на приобретение необходимых для жизни товаров. В первый феодальный период не было ни того, ни другого условия. На всех ступенях иерархии — шла ли речь о короле, желавшем обеспечить себе службу видного военачальника, или мелком сеньоре, старавшемся удержать при себе оруженосца или скотника, — приходилось прибегать к форме вознаграждения, не основанной на периодической выплате некоей денежной суммы. Тут было возможно два решения: взять человека к себе, кормить его, одевать, давать ему, как говорилось, «харчи» или же, как компенсацию за труд, уступить ему участок земли,

который, то ли при непосредственной эксплуатации, то ли в форме повинностей, взимаемых с земледельцев, позволит ему самому обеспечить свое существование.

И тот и другой метод способствовали, хотя и в противоположных смыслах, установлению человеческих связей, весьма отличных от возникающих при наемном труде. Чувство привязанности у «кормящегося» к его господину, под чьим кровом он жил, было, конечно, куда более интимным, чем связь между хозяином и наемным рабочим, который, выполнив работу, мог уйти куда хотел со своими деньгами в кармане. И, напротив, связь эта почти неизбежно ослабевала, как только подчиненный обосновывался на земельном наделе, который, по естественному побуждению, он вскоре начинал считать собственным, стараясь при этом облегчить бремя своей службы. Добавьте, что в те времена, когда неудобство коммуникаций и худосочность торговли затрудняли создание даже относительного изобилия для многочисленной челяди, система «харчей» в целом не могла получить такого распространения, как система вознаграждения землей. Если феодальное общество постоянно колебалось между этими двумя полюсами — тесной связью человека с человеком и ослабленными узами при земельном наделе, — то причиной тут в большой степени является экономическая система, которая, по крайней мере вначале, препятствовала наемному труду.

5. Экономическая революция второго феодального периода

Во второй части этой книги мы постараемся описать движение народонаселения, которое с 1050 до 1250 г. преобразило облик Европы. На рубежах западного мира происходила колонизация иберийских плато и великой равнины за Эльбой; в самом сердце древнего края лес и целину непрестанно подтачивал плуг; на полянах, проложенных среди деревьев и кустарников, вырастали на девственной земле новые села; а вокруг мест, испокон веку заселенных, под неуклонным натиском корчевателей расширялись участки под пашню. В дальнейшем надо будет выделить этапы, охарактеризовать региональные варианты. Но пока для нас важны, наряду с этим феноменом как таковым, его главные следствия.

Наиболее явно ощущалось, несомненно, сближение человеческих групп. Не считая некоторых особенно бедных местностей, отныне между селениями уже не пролегали обширные пустынные пространства. Там, где расстояния остались, их теперь было легче преодолевать. Благодаря демографическому подъему окрепли или консолидировались влиятельные силы, у которых расширился кругозор и появились новые заботы. Это городская буржуазия [15], которая без торговли была бы ничем; короли и герцоги, также заинтересованные в процветании торговли, из которой они посред-

ством налогов и проездных пошлин извлекают крупные суммы, но, кроме того, сознающие куда ясней, чем прежде, жизненную важность для них свободной циркуляции распоряжений и армий. Деятельность Капетингов до решительного переворота, отмеченного царствованием Людовика VI, их воинские предприятия, их политика укрепления домена, их роль в организации населения в большой мере определялись заботами этого характера: сохранением господства над коммуникациями между двумя столицами, Парижем и Орлеаном; укреплением по ту сторону Луары или Сены связи с Берри или с долинами Уазы и Эны. По правде сказать, хотя охрана дорог усилилась, сами дороги вряд ли стали более высокого качества. Все же оснащение их значительно улучшилось. Сколько мостов было переброшено через европейские реки в течение XII в.! Наконец, удачное усовершенствование упряжи весьма увеличило в тот же период эффективность гужевого транспорта.

В связях с соседними цивилизациями — та же метаморфоза. Средиземное море бороздят все более многочисленные суда; его порты, от скалы Амальфи до Каталонии, становятся крупными торговыми центрами; диапазон венецианской торговли непрерывно растет; даже по дороге через Дунайскую равнину движутся тяжелые повозки с грузами — уже и эти факты весьма существенны.

Но связь с Востоком стала не только более легкой и интенсивной. Важно, что изменилась ее природа. Запад, прежде выступавший почти исключительно как импортер, стал мощным поставщиком изделий ремесла. Товары, массами отправляемые им в византийский мир, на мусульманский или латинский Левант[16] и даже, хотя и в меньшем масштабе, в Магриб, относятся к очень разным категориям. Одна из них решительно преобладала. В средневековой экспансии европейской экономики сукно играло такую же ведущую роль, как в XIX в. для Англии металлургия и хлопчатобумажные ткани. Во Фландрии, Пикардии, Бурже, Лангедоке, Ломбардии и в других краях — ибо центры производства сукон существовали повсюду — слышался стук станков и грохот сукновален, и там они работали почти столько же для дальних рынков, сколько для внутреннего потребления. И чтобы объяснить эту революцию, при которой наши страны начали с Востока экономическое завоевание мира, следовало бы, безусловно, назвать множество причин, заглянуть не только на Запад, но, по возможности, и на Восток. Одно несомненно — только вышеупомянутые демографические сдвиги сделали ее возможной. Если бы население не возросло и возделанная площадь не увеличилась, если бы поля не стали производительней благодаря большему числу рабочих рук и более регулярной вспашке, а урожаи не были бы более обильными и частыми, каким образом можно было бы собрать в городах столько ткачей, красильщиков, стригальщиков сукон и кормить их?

Север, как и Восток, завоеван. С конца XI в. в Новгороде продавали фламандские сукна. Но постепенно дорога в русские степи пустеет и, наконец, закрывается. Отныне Скандинавия и балтийские страны поворачиваются к Западу. Это намечающееся изменение завершится на протяжении XII в., когда германская торговля аннексирует Балтику. Теперь порты Нидерландов, особенно Брюгге, становятся местом обмена северных товаров не только на товары самого Запада, но и на те, что прибывают с Востока.

Мощный поток мировых связей соединяет через Германию и особенно через ярмарки в Шампани два фронта феодальной Европы.

Благоприятно уравновешенная внешняя торговля, естественно, притягивала в Европу деньги и драгоценные металлы и, следовательно, резко увеличила запасы платежных средств. К этой, пусть относительной, обеспеченности деньгами присоединялся, усиливая ее влияние, ускоренный темп их обращения. Ибо внутри страны рост населения, облегчение связей, прекращение нашествий, которые держали западный мир в постоянной тревоге и панике, и ряд других причин, которые долго здесь перечислять, оживили торговый обмен.

Но не будем преувеличивать. В этой картине следовало бы тщательно выявить нюансы, отличающие разные местности и классы. Жить на своих хлебах — таков был еще на протяжении веков идеал, правда, редко достигаемый, многих крестьян и большинства деревень. С другой стороны, глубокие преобразования экономики происходили довольно медленно. Примечательно, что из двух главных симптомов в монетном деле один — чеканка крупных серебряных монет, гораздо более тяжелых, чем денарий, — проявился лишь в начале XIII в., да и то в это время в одной только Италии, а другого — возобновления чеканки монет из золота по собственным образцам — пришлось ждать до второй половины того же века. Второй феодальный период во многих отношениях ознаменовался не столько исчезновением прежних условий, сколько их смягчением. Это относится и к роли расстояния, и к системе обмена. Но то, что короли, крупные бароны и сеньоры вновь могли благодаря сбору налогов взяться за накопление больших сокровищ, что наемный труд — порой в негибких юридических формах, подсказанных стариной, — постепенно опять занял среди других способов вознаграждения услуг преобладающее место, — эти приметы обновления экономики начиная с XII в. действовали в свою очередь на всю систему человеческих отношений.

Это еще не все. Эволюция экономики влекла за собой настоящую переоценку социальных ценностей. Всегда существовали ремесленники и купцы. Последние даже могли в отдельных случаях играть кое-где важную роль. Но как группы ни те, ни другие не имели никакого значения. С конца XI в. класс ремесленников и

класс купцов, став гораздо многочисленней и необходимей для жизни всего общества, начали прочно утверждаться в городском быту.

Прежде всего — класс купеческий. Ибо в средневековой экономике с великой весны этих решающих лет всегда господствовал не производитель, а торговец. Но юридическая арматура предыдущего периода, основанная на экономической системе, в которой торговые люди занимали весьма скромное место, была создана не для них. Их практические требования и духовный склад, естественно, должны были внести в нее новый фермент. Рожденный в весьма редко сотканном обществе, где торговля мало что значила и деньги были редкостью, европейский феодализм глубоко изменился, когда ячейки человеческой сети уплотнились, а обращение товаров и звонкой монеты стало более интенсивным.

Глава вторая

ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВ И ОБРАЗА МЫСЛЕЙ

1. Отношение человека к природе и времени

Человек обоих феодальных периодов стоял гораздо ближе, чем мы, к природе, которая, в свою очередь, была гораздо менее упорядоченной и подчищенной. В сельском пейзаже, где невозделанные земли занимали так много места, следы человеческой деятельности были менее ощутимы. Хищные звери, ныне встречающиеся лишь в нянюшкиных сказках, медведи и особенно волки, бродили по всем пустошам и даже по возделанным полям. Охота была спортом, но также необходимым средством защиты и составляла почти столь же необходимое дополнение к столу. Сбор диких плодов и меда практиковался широко, как и на заре человечества. Инвентарь изготовлялся в основном из дерева. При слабом тогдашнем освещении ночи были более темными, холод, даже в замковых залах, — более суровым. Короче, социальная жизнь развивалась на архаическом фоне подчинения неукротимым силам, несмягченным природным контрастам. Нет прибора, чтобы измерить влияние подобного окружения на душу человека. Но как не предположить, что оно воспитывало в ней грубость?

История, более достойная этого названия, чем робкие наброски, на которые нас ныне обрекает ограниченность наших возможностей, уделила бы должное место телесным невзгодам. Очень наивно пытаться понять людей, не зная, как они себя чувствовали. Но данные текстов и, что еще важней, недостаточная отточенность наших методов исследования безнадежно ограничивают нас. Несомненно, что весьма высокая в феодальной Европе детская смертность притупляла чувства, привыкшие к почти постоянному

трауру. Что же до жизни взрослых, она, даже независимо от влияния войн, была в среднем относительно короткой, по крайней мере если судить по коронованным особам, к которым относятся единственные имеющиеся у нас сведения, пусть и не слишком точные. Роберт Благочестивый умер в возрасте около 60 лет; Генрих I — в 52 года; Филипп I и Людовик VI — в 56 лет. В Германии четыре первых императора из Саксонской династии прожили соответственно: 60 или около того, 28, 22 и 52 года[1]. Старость, видимо, начиналась очень рано, с нашего зрелого возраста. Этим миром, который, как мы увидим, считал себя очень старым, правили молодые люди.

Среди множества преждевременных смертей немалое число было следствием великих эпидемий, которые часто обрушивались на человечество, плохо вооруженное для борьбы с ними, а в социальных низах — также следствием голода. В сочетании с повседневным насилием эти катастрофы придавали существованию как бы постоянный привкус бренности. В этом, вероятно, заключалась одна из главных причин неустойчивости чувств, столь характерной для психологии феодальной эпохи, особенно в первый ее период. Низкий уровень гигиены, наверное, также способствовал нервному состоянию. В наши дни затрачено немало труда, чтобы доказать, что сеньориальному обществу были известны бани. Но не ребячество ли забывать при этом об ужаснейших условиях жизни, а именно — о недоедании у бедняков и о переедании у богачей! Наконец, можно ли пренебречь удивительной восприимчивостью к так называемым сверхъестественным явлениям? Она заставляла людей постоянно с почти болезненным вниманием следить за всякого рода знамениями, снами и галлюцинациями. По правде сказать, эта черта особенно проявлялась в монашеской среде, где влияние самоистязаний и вытесненных эмоций присоединялось к профессиональной сосредоточенности на проблемах незримого. Никакой психоаналитик не копался в своих снах с таким азартом, как монахи X или XI в. Но и миряне также вносили свою лепту в эмоциональность цивилизации, в которой нравственный или светский кодекс еще не предписывал благовоспитанным людям сдерживать свои слезы или «обмирания». Взрывы отчаяния и ярости, безрассудные поступки, внезапные душевные переломы доставляют немалые трудности историкам, которые инстинктивно склонны реконструировать прошлое по схемам разума; а ведь все эти явления существенны для всякой истории и, несомненно, оказали на развитие политических событий в феодальной Европе большое влияние, о котором умалчивают лишь из какой-то глупой стыдливости.

Эти люди, подверженные стольким стихийным силам, как внешним, так и внутренним, жили в мире, движение которого ускользало от их восприятия еще и потому, что они плохо умели измерять время. Дорогие и громоздкие водяные часы существо-

вали, но в малом числе экземпляров. Песочными часами, по-видимому, пользовались не очень широко. Недостатки солнечных часов, особенно при частой облачности, были слишком явны. Поэтому прибегали к занятным ухищрениям. Король Альфред, желая упорядочить свой полукочевой образ жизни, придумал, чтобы с ним повсюду возили свечи одинаковой длины, которые он велел зажигать одну за другой. Такая забота о единообразии в делении дня была в те времена исключением. Обычно, по примеру античности, делили на двенадцать часов и день и ночь в любую пору года, так что даже самые просвещенные люди приноравливались к тому, что каждый из этих отрезков времени то удлинялся, то сокращался, в зависимости от годового обращения Солнца. Так продолжалось, видимо, до XIV в., когда изобретение часов с маятником привело к механизации инструмента.

Анекдот, приведенный в хронике области Эно[2], прекрасно отображает эту постоянную зыбкость времени. В Монсе должен был состояться судебный поединок. На заре явился только один участник, и когда наступило девять часов — предписанный обычаем предел для ожидания, — он потребовал, чтобы признали поражение его соперника. С точки зрения права сомнений не было. Но действительно ли наступил требуемый час? И вот судьи графства совещаются, смотрят на солнце, запрашивают духовных особ, которые благодаря богослужениям навострились точнее узнавать движение времени и у которых колокола отбивают каждый час на благо всем людям. Бесспорно, решает суд, «нона»[3] уже минула. Каким далеким от нашей цивилизации, привыкшей жить, не сводя глаз с часов, кажется нам это общество, где судьям приходилось спорить и справляться о времени дня!

Несовершенство в измерении часов — лишь один из многих симптомов глубокого равнодушия к времени. Кажется, уж что проще и нужней, чем точно отмечать столь важные, хотя бы для правовых притязаний, даты рождений в королевских семьях; однако в 1284 г. пришлось провести целое изыскание, чтобы с грехом пополам определить возраст одной из богатейших наследниц Капетингского королевства, юной графини Шампанской. В X и XI вв. в бесчисленных грамотах и записях, единственный смысл которых был в сохранении памяти о событии, нет никаких хронологических данных. Но, может быть, в виде исключения есть документы с датами? Увы, нотариусу, применявшему одновременно несколько систем отсчета, часто не удавалось свести их воедино. Более того, туман окутывал не только протяженность во времени, но и вообще сферу чисел. Нелепые цифры хронистов — не только литературное преувеличение; они говорят о полном отсутствии понятия статистического правдоподобия. Хотя Вильгельм Завоеватель учредил в Англии, вероятно, не более пяти тысяч рыцарских феодов, историки последующих веков, даже кое-какие администраторы, которым было вовсе нетрудно навести справки, приписы-

вали ему создание от 32 до 60 тыс. военных держаний. В ту эпоху, особенно с конца XI в., были свои математики, храбро нащупывавшие дорогу вслед за греками и арабами; архитекторы и скульпторы умели применять несложную геометрию. Но среди счетов, дошедших до нас — и так вплоть до конца средних веков, — нет ни одного, где бы не было поразительных ошибок. Неудобства латинских цифр, впрочем, остроумно устранявшиеся с помощью абака [4], не могут целиком объяснить эти ошибки. Суть в том, что вкус к точности с его вернейшей опорой, уважением к числу, был глубоко чужд людям того времени, даже высокопоставленным.

2. Средства выражения

С одной стороны, язык культуры, почти исключительно латинский, с другой, все разнообразие обиходных говоров — таков своеобразный дуализм, под знаком которого проходила почти вся феодальная эпоха. Он был характерен для цивилизации западной в собственном смысле слова и сильно способствовал ее отличию от соседних цивилизаций: от кельтского и скандинавского миров, располагавших богатой поэтической и дидактической литературами на национальных языках; от греческого Востока; от культуры ислама, по крайней мере в зонах, по-настоящему арабизированных.

Надо отметить, что даже на Западе одно общество долго составляло исключение — общество англосаксонской Британии. На латыни там, конечно, писали, и превосходно. Но писали не только на латыни. Староанглийский язык был рано возведен в достоинство языка литературного и юридического. Король Альфред требовал, чтобы его изучали в школах, и лишь потом самые способные переходили к латинскому. Поэты сочиняли на нем песни, которые не только пелись, но и записывались. На нем короли издавали законы, в канцеляриях составляли акты для королей и вельмож, даже монахи употребляли его в своих хрониках. То был поистине единственный для того времени пример цивилизации, сумевшей сохранить контакт со средствами выражения народной массы. Нормандское завоевание пресекло это развитие [5]. Начиная с письма, направленного Вильгельмом жителям Лондона сразу же после битвы при Гастингсе [6], и до нескольких указов конца XII в. уже все королевские акты составляются на латыни. Англосаксонские хроники, за одним исключением, умолкают с середины XI в. Что же до произведений, которые можно с натяжкой назвать литературными, они появляются вновь лишь незадолго до 1200 г., причем вначале только в виде небольших назидательных трактатов.

На континенте в эпоху культурного подъема каролингского Ренессанса [7] не совсем пренебрегали национальными языками. Правда, никому тогда не приходило в голову считать достойными

письменности романские наречия, которые просто казались чудовищно испорченной латынью. Германские диалекты, напротив, привлекали внимание многих особ при дворе и среди высшего духовенства, которые считали их родным языком. Записывались и переписывались старинные песни, прежде существовавшие лишь в устой передаче, сочинялись и новые, в основном на религиозные темы; в библиотеках магнатов находились рукописи на «тевтонском» языке. Но и тут политические события — на сей раз крушение Каролингской империи и последовавшие за ним смуты — вызвали перелом. С конца IX до конца XI в. всего несколько поэм духовного содержания и переводов — вот скудная добыча, которой вынуждены ограничиться в своих реестрах историки немецкой литературы. По сравнению с латинскими сочинениями, написанными в тех же краях и в тот же период, она — как по количеству, так и по интеллектуальной значимости — просто ничтожна.

Однако не надо воображать себе латынь феодальной эпохи в виде мертвого языка со стереотипами и однообразием, с которым ассоциируется этот эпитет. Вопреки восстановленному каролингским Ренессансом вкусу к языковой правильности и пуризму возникали — в очень различном объеме, в зависимости от места и от автора — новые слова и обороты. К этому вели: необходимость выражения реалий, не известных древним, или мыслей, которые, особенно в плане религиозном, были им чужды; контаминация логического механизма традиционной грамматики с сильно отличавшимся механизмом, к которому приучало употребление народных наречий; наконец, невежество или полуграмотность. Пусть книга способствует неподвижности языка, зато живая речь — всегда фактор движения. А ведь на латыни не только писали. На ней пели — свидетель тому поэзия, по крайней мере в формах, более всего насыщенных подлинным чувством; пели, отходя от классической просодии долгих и кратких слогов и усваивая акцентированный ритм, отныне единственную воспринимаемую ухом музыку. По-латыни также говорили. Некий итальянский ученый, приглашенный ко двору Оттона I был жестоко осмеян монахом из Санкт-Галлена за допущенный в беседе солецизм[8]. Епископ Льежа Ноткер проповедовал мирянам на валлонском языке, а если перед ним было духовенство — на латинском. Вероятно, многие церковники, особенно среди приходских кюре, были неспособны ему подражать и даже понять его. Но для образованных священников и монахов старинное койнэ[9] церкви сохраняло свою функцию устного языка. Как бы могли без его помощи общаться в папской курии, на великих соборах и в своих странствиях от одного аббатства к другому все эти уроженцы разных краев?

Конечно, почти во всяком обществе способы выражения различаются, порою весьма ощутимо, в зависимости от целей говорящего или его классовой принадлежности. Но обычно различие

это ограничивается нюансами в грамматической точности или качеством лексики. Здесь оно было несравненно более глубоким. В большой части Европы обиходные наречия, относившиеся к германской группе, принадлежали к другой семье, чем язык культуры. Да и сами романские говоры настолько отдалились от своего родоначальника, что перейти от них к латинскому мог лишь человек, прошедший основательную школу. Так что лингвистический раскол сводился в конечном итоге к противопоставлению двух человеческих групп. С одной стороны, огромное большинство неграмотных, замурованных каждый в своем региональном диалекте и владевших в качестве литературного багажа несколькими мирскими поэмами, которые передавались почти исключительно с голоса, и духовными песнопениями, которые сочинялись благочестивыми клириками на народном языке ради пользы простого люда и иногда записывались на пергамене. На другом берегу горсточка просвещенных людей, которые, беспрестанно переходя с повседневного местного говора на ученый универсальный язык, были, собственно, двуязычными. Для них и писались сочинения по теологии и истории, сплошь по-латыни, они понимали литургию, понимали деловые документы. Латинский был не только языком — носителем образования, он был единственным языком, которому обучали. Короче, умение читать означало умение читать по-латыни. Но если, как исключение, в каком-нибудь юридическом документе употреблялся национальный язык, эту аномалию, где бы она ни имела место, мы без колебаний признаем симптомом невежества. Если в X в. некоторые грамоты Южной Аквитании, написанные на более или менее неправильной латыни, напичканы провансальскими словами, причина в том, что в монастырях Руэрга или Керси, расположенных вдали от крупных очагов каролингского Ренессанса, образованные монахи были редкостью. Сардиния была бедным краем, население которого, покидая побережье из-за пиратских набегов, жило почти в полной изоляции; поэтому первые документы на сардинском диалекте намного древнее самых старых итальянских текстов Апеннинского полуострова.

Прямым следствием этой иерархии языков было, несомненно, то, что дошедшая до нас картина первого феодального периода, нарисованная им самим, крайне нечетка. Акты продаж или дарений, порабощения или освобождения, приговоры судов, королевские привилегии, формулы клятв в верности, изложения религиозных обрядов — вот самые ценные источники для историка. Пусть они не всегда искренни, зато, в отличие от повествовательных текстов, предназначенных для потомства, они в самом худшем случае пытались обмануть только современников, чья доверчивость имела по сравнению с нашей иные границы. Как уже сказано выше, до XIII в. эти документы, за редкими исключениями, обычно составлялись по-латыни. Но факты, память о которых они старались сохранить, первоначально бывали выражены совсем

иначе. Когда два сеньора спорили о цене участка земли или о пунктах в договоре о вассальной зависимости, они, по-видимому, изъяснялись не на языке Цицерона. Затем уж было делом нотариуса каким угодно способом облечь их соглашения в классическую одежду. Таким образом, всякая или почти всякая латинская грамота или запись представляет собой результат транспозиции, которую нынешний историк, желающий докопаться до истины, должен проделать снова в обратном порядке.

Добро бы, если эта работа совершалась всегда по одним и тем же правилам! Но где там! От школьного сочинения, которое неуклюже калькирует мысленную схему на народном языке, до латинской речи, тщательно отшлифованной ученым церковником, мы встретим множество ступеней. Иногда — это, бесспорно, самый благоприятный случай — обиходное слово просто кое-как переряжено с помощью добавленного латинского окончания: так, hommage [а], слегка замаскировавшись, стало homagium. Иногда же, наоборот, старались употреблять только самые классические слова, вплоть до того, что, уподобляя в почти кощунственной языковой игре жреца Юпитера служителю Бога Живого, именовали архиепископа archiflamen [10]. Хуже всего, что в поисках параллелизмов пуристы не боялись идти по пути аналогии звуков, а не смысла: так как французское слово comte [б] в именительном падеже (на старофранцузском) звучало cuens, его передавали словом consul [в], a fief [г] превращали в fiscus [д]. Разумеется, постепенно выработались общие принципы транскрипции, порою отмеченные универсалистским духом ученого языка: слово fief, по-немецки Lehn, имело в латинских грамотах Германии правильными эквивалентами слова, образованные на основе французского. Но даже при искусных переводах на нотариальную латынь всегда происходила некоторая деформация.

Итак, сам технический язык права располагал словарем, слишком архаическим и расплывчатым для точной передачи действительности. Что же до лексики обиходных говоров, то ей были присущи неточности и непостоянство чисто устного и народного словаря. А в сфере социальных институтов беспорядок в словах почти неизбежно влечет за собой беспорядок в реалиях. Пожалуй, именно из-за несовершенства терминологии классификация человеческих отношений страдает великой неопределенностью. Но это наблюдение надо еще расширить. Где бы ни употребляли латынь, ее преимущество заключалось в том, что она служила средством интернационального общения интеллектуалов той эпохи. И напротив, опасным ее недостатком являлось то, что у большинства

а Клятвенное обещание верности сеньору (франц.).
б Граф (франц.).
в Консул (лат.).
г Феод (франц.).
д Фиск (лат.).

тех, кто ею пользовался, она резко отделялась от внутренней речи, и, следовательно, говорившие на латыни всегда были вынуждены выражать свою мысль приблизительно. Если отсутствие точности мысли было, как мы видели, одной из характерных черт того времени, то как же не включить в число многих причин, объясняющих ее, постоянное столкновение двух языковых планов?

3. Культура и общественные классы

В какой мере средневековая латынь, язык культуры, была языком аристократии? Иными словами, до какой степени группа litterati[a] совпадала с группой господствующих? Что касается церкви, тут все ясно. Неважно, что дурная система назначений кое-где выдвигала на первые роли невежд. Епископские дворы, крупные монастыри, королевские капеллы, словом — все штабы церковной армии никогда не знали нужды в просвещенных людях, которые, часто будучи, впрочем, баронского или рыцарского происхождения, формировались в монастырских, особенно кафедральных школах. Но если речь идет о мирянах, проблема усложняется.

Не надо думать, будто это общество даже в самые мрачные времена сознательно противилось всякой интеллектуальной пище. Для тех, кто повелевал людьми, считалось полезным иметь доступ к сокровищнице мыслей и воспоминаний, ключ к которой давала только письменность, т. е. латынь; об этом верней всего говорит то, что многие монархи придавали большое значение образованию своих наследников. Роберт Благочестивый, «король, сведущий в Господе», учился в Реймсе у знаменитого Герберта[11]; Вильгельм Завоеватель взял в наставники своему сыну Роберту[12] духовное лицо. Среди сильных мира сего встречались истинные друзья книги: Оттон III, которого, правда, воспитывала мать[13], византийская принцесса, принесшая со своей родины навыки гораздо более утонченной цивилизации, свободно читал по-гречески и по-латыни; Вильгельм III Аквитанский собрал прекрасную библиотеку и, бывало, читал далеко за полночь. Добавьте отнюдь не исключительный случай, когда лица, вначале предназначенные для церкви, сохраняли от своего первоначального обучения некие знания и склонности, присущие церковной среде: таков, например, Балдуин Бульонский, который, однако, был суровым воином и венчался иерусалимской короной.

Но чтобы получить более или менее приличное образование, требовалась атмосфера знатного рода, прочно укрепившего наследственную власть. Весьма примечателен довольно закономерный контраст между основателями династий в Германии и их преемниками: Оттону II, третьему королю Саксонской династии,

[a] Образованных (лат.).

и Генриху III, второму в Салической династии, которые оба получили хорошее образование, противостоят их отцы: Оттон Великий, научившийся читать в 30 лет, и Конрад II, чей капеллан признает, что он «не знал грамоты». Как часто бывало, и тот и другой вступили слишком молодыми в жизнь, полную приключений и опасностей; у них не было досуга готовить себя к профессии властелина, разве что на практике или внимая устной традиции. То же самое, и в еще большей мере, наблюдалось на более низких ступенях общественной лестницы. Относительно блестящая культура нескольких королевских или баронских фамилий не должна внушать иллюзий. Равно как верность педагогическим традициям, впрочем, довольно примитивным, которую в виде исключения сохраняли рыцарские классы Италии и Испании: Сид и Химена [14], возможно, были не очень образованны, но они, во всяком случае, умели подписать свое имя. Можно не сомневаться, что по крайней мере севернее Альп и Пиренеев большинство мелких и средних синьоров, в чьих руках тогда сосредоточивалась власть, представляло собой людей совершенно неграмотных в полном смысле слова, настолько неграмотных, что в монастырях, куда некоторые из них уходили на склоне лет, считались синонимами слова conversus, т. е. поздно принявший постриг, и idiota, обозначавшее монаха, не умеющего читать Священное писание.

Этим отсутствием образованности в миру объясняется роль духовных лиц как выразителей мысли государей и одновременно хранителей политических традиций. Монархам приходилось искать у этой категории своих слуг то, что прочие лица в их окружении были неспособны им предоставить. К середине VIII в. исчезли последние миряне-«референдарии» меровингских королей. И лишь в апреле 1298 г. Филипп Красивый вручил государственные печати рыцарю Пьеру Флотту. Между этими двумя датами прошло более пяти веков, в течение которых во главе канцелярий правивших Францией королей стояли только церковники. То же в общем происходило и в других странах.

Нельзя недооценивать того факта, что решения сильных мира сего подчас подсказывались и всегда выражались людьми, которые при всех своих классовых или национальных пристрастиях принадлежали по воспитанию к обществу, по природе универсалистскому и основанному на духовном начале. Нет сомнения, что они старались напоминать властителям, поглощенным суетой мелких местных конфликтов, о более широких горизонтах. С другой стороны, поскольку их обязанностью было облекать политические акты в письменную форму, им неизбежно приходилось официально эти акты оправдывать мотивами, взятыми из их собственного кодекса морали, и таким образом покрывать документы почти всей феодальной эпохи лаком мотивировок, по большей части обманчивых; это, в частности, изобличают преамбулы многочисленных освобождений за деньги, изображаемых как акты чистого ве-

ликодушия, или многих королевских привилегий, которые неизменно продиктованы якобы одним лишь благочестием. Поскольку историография с ее оценочными суждениями также долго находилась в руках духовенства, условности мысли, а равно условности литературные соткали для прикрытия циничной реальности человеческих побуждений некую вуаль, разорвать которую удалось лишь на пороге нового времени крепким рукам какого-нибудь Коммина или Макиавелли.

Между тем миряне во многих отношениях выступали как деятельный элемент светского общества. Даже самые неученые из них, конечно, не были невеждами. При надобности они могли приказать перевести то, что не умели прочитать сами, а кроме того, мы вскоре увидим, насколько рассказы на народном языке их обогащали воспоминаниями и мыслями. Представьте себе, однако, положение большинства сеньоров и многих знатных баронов, администраторов, не способных лично ознакомиться с донесением или со счетом, судей, чьи приговоры записывались — если записывались — на языке, не знакомом трибуналу. Владыкам обычно приходилось восстанавливать свои прежние решения по памяти; надо ли удивляться, что они нередко были начисто лишены духа последовательности которую нынешние историки тщатся им приписать?

Чуждые написанному слову, они порой бывали к нему равнодушны. Когда Оттон Великий в 962 г. получил императорскую корону, он учредил от своего имени привилегию [15], которая, вдохновляясь «пактами» каролингских императоров и, возможно, историографией, признавала за папами «до скончания веков» власть над огромной территорией; обездоливая себя, император-король отдает, мол, престолу святого Петра бо́льшую часть Италии и даже господство над некоторыми важнейшими альпийскими дорогами. Конечно, Оттон ни на минуту не допускал, что его распоряжения — кстати, очень четкие — могут быть исполнены на деле. Было бы не столь удивительно, если бы речь шла об одном из лживых договоров, которые во все времена под давлением обстоятельств подписывались с твердым намерением не исполнять их. Но ничто, абсолютно ничто, кроме более или менее дурно понятой исторической традиции, не понуждало саксонского государя к подобной фальши. С одной стороны, пергамен и чернила, с другой, вне связи с ними, действие — таково было последнее и в этой особо резкой форме исключительное завершение гораздо более общего раскола. Единственный язык, на котором считалось достойным фиксировать — наряду со знаниями, наиболее полезными для человека и его спасения, — результаты всей социальной практики, этот язык множеству лиц, по положению своему вершивших человеческие дела, был непонятен.

4. Религиозное сознание

«Народ верующих», говорят обычно, характеризуя религиозную жизнь феодальной Европы. Если здесь подразумевается, что концепция мира, из которого исключено сверхъестественное, была глубоко чужда людям той эпохи, или, точнее, что картина судеб человека и вселенной, которую они себе рисовали, почти полностью умещалась в рамках христианской теологии и эсхатологии западного толка, — это бесспорная истина. Неважно, что временами высказывались сомнения относительно «басен» Писания; лишенный всякой рациональной основы, этот примитивный скептицизм, который обычно не был присущ людям просвещенным, таял в минуту опасности, как снег на солнце. Позволительно даже сказать, что никогда вера не была так достойна своего названия. Ибо старания ученых придать чудесам опору в виде логического рассуждения, прекратившиеся с упадком античной христианской философии и лишь на время оживившиеся при каролингском Ренессансе, возобновились только к концу XI в. Зато было бы грубой ошибкой представлять себе кредо этих верующих единообразным.

Дело не только в том, что католицизм еще был далек от окончательной разработки своей догматики: самая строгая ортодоксия разрешала себе тогда гораздо больше вольностей, чем в дальнейшем, после схоластической теологии и контрреформации[16]. И не только в том, что на зыбкой границе, где христианская ересь вырождалась в противостоящую христианству религию, древнее манихейство[17] сохраняло приверженцев, которые то ли унаследовали свою веру от групп, с первых веков средневековья упорно остававшихся верными этой преследуемой секте, то ли, напротив, после долгого перерыва, получили эту веру из Восточной Европы[18]. Серьезнее было то, что католицизм не вполне завладел массами. Приходское духовенство, вербуемое без должного контроля и дурно образованное (чаще всего образование сводилось к случайным урокам какого-нибудь священника, тоже не больно ученого, даваемым мальчишке, который, прислуживая при мессе, готовился принять сан), оказывалось в целом — интеллектуально и морально — не на уровне своей задачи. Проповеди, которые одни только могли по-настоящему открыть народу доступ к тайнам, заключенным в священных книгах, читались нерегулярно. В 1031 г. собор в Лиможе был вынужден восстать против ложного мнения, что чтение проповедей надо, мол, дозволить только епископам, хотя епископы, конечно, были бы не в состоянии растолковать Евангелие всему своему диоцезу.

Католическую мессу служили более или менее правильно — а порой весьма неправильно — во всех приходах. Фрески и барельефы, эти «книги для неграмотных» на стенах или на карнизах главных церквей, поучали трогательно, но неточно. Наверное,

почти все прихожане в общем кое-что знали о самых впечатляющих эпизодах в христианских изображениях прошлого, настоящего и будущего нашего мира. Но наряду с этим их религиозная жизнь питалась множеством верований и обрядов, которые были либо завещаны древнейшей магией, либо возникли в сравнительно недавнюю эпоху в лоне цивилизации, еще способной к живому мифотворчеству, и оказывали на официальную доктрину постоянное давление. В грозовом небе люди по-прежнему видели сонмы призраков: это покойники, говорила толпа; это лукавые демоны, говорили ученые, склонные не столько отрицать эти видения, сколько подыскивать для них почти ортодоксальное толкование. В селах справлялись бесчисленные, связанные с жизнью природы обряды, среди которых нам благодаря поэзии особенно близки празднества майского дерева. Короче, никогда теология не была столь чужда коллективной религии, по-настоящему прочувствованной и переживаемой.

Несмотря на бесконечные оттенки, обусловленные местной средой и традицией, можно при таком понимании религиозного сознания выделить несколько общих элементов. От нас, конечно, ускользнет немало глубоких и волнующих черт, немало страстных вопросов, наделенных вечным человеческим смыслом; но мы вынуждены ограничиться здесь упоминанием о тех направлениях мысли и чувства, влияние которых на социальное поведение было, по-видимому, особенно сильным.

В глазах людей, способных мыслить, чувственный мир представал лишь как некая маска, за которой происходило все истинно важное; язык также служил для выражения более глубокой реальности. А поскольку призрачная пелена сама по себе не может представлять интереса, результатом такого взгляда было то, что наблюдением, как правило, пренебрегали ради толкования. В небольшом «Трактате о вселенной», написанном в IX в. и очень долго пользовавшемся успехом, Рабан Мавр так объяснял свой замысел: «Пришло мне на ум написать сочинение..., которое трактовало бы не только о природе вещей и о свойстве слов..., но также об их мистическом значении». Этим в значительной мере объясняется слабый интерес науки к природе, которая и впрямь как будто не заслуживала, чтобы ею занимались. Техника при всех ее достижениях, порою немалых, оставалась чистым эмпиризмом.

Кроме того, можно ли было ожидать, что хулимая природа способна извлечь сама из себя собственное толкование? Разве не была она задумана в бесконечных деталях своего иллюзорного развертывания прежде всего как творение тайных воль? «Воль» во множественном числе, если верить людям простым и даже многим ученым. Ибо основная масса людей представляла себе, что ниже единого бога и подчиненные его всемогуществу (обычно, впрочем, масштабы этого подчинения представляли не очень-то

ясно) находятся в состоянии вечной борьбы противостоящие воли толп добрых и злых существ: святых, ангелов, особенно же дьяволов. «Кто не знает, — писал священник Гельмольд, — что войны, ураганы, чума, поистине все беды, что обрушиваются на род человеческий, насылают на нас демоны?» Заметьте, войны названы рядом с бурями, т. е. явления социальные стоят в том же ряду, что и явления, которые мы теперь назвали бы природными. Отсюда умонастроение, которое нам продемонстрировала история нашествий: не отрешенность от мира в точном смысле слова, а скорее обращение к средствам воздействия, которые считались более эффективными, чем человеческое усилие. Но если какой-нибудь Роберт Благочестивый или Оттон III могли придавать паломничеству не меньшую важность, чем сражению или изданию закона, то историки, которые то возмущаются этим, то упорно ищут за богомольными путешествиями тайные политические цели, просто показывают свою неспособность снять с себя очки людей XIX в. или XX в. Царственных пилигримов вдохновлял не только эгоизм личного спасения. От святых заступников, к которым были обращены их молитвы, они ожидали для своих подданных и для самих себя обещаний вечной жизни, но также и земных благ. В святилище, как в бою или в суде, они исполняли, как им казалось, обязанности вождей народа.

Мир видимостей был также миром преходящим. Картина последней катастрофы, неотделимая от всякого христианского образа вселенной, вряд ли еще когда-нибудь так сильно владела умами. Над нею размышляли, старались уловить предвещающие ее симптомы. Самая всеобщая из всех всеобщих историй, хроника епископа Оттона Фрейзингенского[19], начинающаяся с сотворения мира, завершается картиной Страшного суда. Разумеется, с неизбежным пробелом: от 1146 г. — даты, когда автор закончил писать, — до дня великого крушения. Оттон, конечно, считал этот пробел недолгим: «Мы, поставленные у конца времен», — говорит он несколько раз. Так думали сплошь да рядом вокруг него и до него. Не будем говорить: мысль церковников. Это означало бы забыть о глубоком взаимопроникновении двух групп, клерикальной и светской. Даже среди тех, кто, в отличие от святого Норберта, не рисовал гибель мира настолько близкой, что нынешнее поколение, мол, еще не состарится, как она грянет, никто не сомневался в ее неминуемой близости. Во всяком дурном государе набожным душам чудились когти Антихриста, чье жестокое владычество должно предварять наступление Царства божьего.

Но когда же пробьет этот час, столь близкий? «Апокалипсис» как будто давал ответ: «доколе не окончится тысяча лет...»[20]. Надо ли было понимать: после смерти Христа? Некоторые так и полагали и, по обычному счету, приурочивали день катастрофы к 1033 г. Или же: от рождества Христова? Последнее толкование, кажется, было более принято. Во всяком случае, несомненно, что

накануне тысячного года один проповедник в парижских церквах приурочил конец времен именно к этой дате. Если массами тогда и не завладел панический ужас[21], как изображали нам вожди романтизма, причина прежде всего в том, что люди этой эпохи, внимательно следившие за сменой сезонов и годовым ритмом богослужений, в общем не разбирались в хронологии, и еще меньше — в датах, ясно высчитанных. Мы видели, сколько было грамот без хронологических указаний. А среди прочих — какой разнобой в системах счисления, чаще всего и не связанных с жизнью Христа: годы царствования или понтификата, всевозможные астрономические вехи, пятнадцатилетний цикл налогового кадастра, когда-то взятый из практики римской фискальной системы! Целая страна, Испания, пользуясь более широко, чем другие, точным летосчислением, почему-то приписывала ему начало, совершенно чуждое Евангелию: 38 лет до рождества Христова. И было ли исключением, что некоторые акты, а чаще хроники, вели счет с Воплощения? Надо еще принять во внимание различные начала года. Ибо церковь подвергла остракизму первое января как языческий праздник. В разных провинциях, в разных канцеляриях наступление этого тысячного года, таким образом, приходилось на шесть или семь различных сроков, которые по нашему календарю располагались от 25 марта 999 г. до 31 марта 1000 г. Более того, приуроченные к тому или иному литургическому эпизоду пасхального периода, некоторые из этих отправных точек были по природе своей подвижными (а значит, предсказать их нельзя было, не имея таблиц, коими располагали лишь ученые) и чрезвычайно усиливали сумятицу в мозгах, обрекая последующие годы на весьма неравную длительность. Вот и получалось, что в одном году частенько повторялось дважды одно и то же число марта или апреля, либо праздник одного святого. В самом деле, для большинства жителей Запада слово «тысяча», которое, как нас уверяют, вселяло ужас, не могло обозначать никакого строго определенного этапа в череде дней.

Но можно ли считать вовсе неверной мысль, что предвещание «дня гнева» омрачало тогда души? К концу первого тысячелетия вся Европа не затрепетала вдруг, чтобы тут же успокоиться, когда прошла роковая дата. Однако — а это, возможно, было еще хуже — волны страха набегали почти беспрерывно то здесь, то там и, утихнув в одном месте, вскоре возникали в другом. Иногда толчком служило видение, или большая историческая трагедия, как в 1009 г. разрушение гроба господня, или же попросту свирепая буря. Иной раз их порождали выкладки, сделанные для литургии, которые исходили из просвещенных кругов и распространялись в народе. «Почти во всем мире прошел слух, что конец наступит, когда Благовещенье совпадет со Страстной пятницей», — писал незадолго до тысячного года Аббон из аббатства Флери. Правда, вспоминая слова святого Павла[22], что господь застигнет

людей врасплох, «аки тать в ночи», многие богословы осуждали эти дерзкие попытки проникнуть в тайну, коей божеству угодно укрыть свои громы. Но если не знаешь, когда обрушится удар, разве ожидание менее мучительно? В окружающих непорядках, которые мы бы теперь назвали бурлением юности, тогдашние люди усматривали дряхлость «состарившегося» человечества. Вопреки всему в людях бродила неуемная жизнь. Но когда они пускались размышлять, ничто не было им более чуждо, чем предчувствие огромного будущего, открывавшегося перед молодыми силами.

Если людям казалось, что все человечество стремительно несется к своему концу, то с еще бо́льшим основанием это ощущение жизни «в пути» было свойственно каждому в отдельности. По излюбленному выражению многих религиозных сочинений, разве не был верующий в сем мире неким «пилигримом», для которого цель путешествия, естественно, куда важнее, чем превратности пути? Большинство, разумеется, не думало о своем спасении постоянно. Но уж если задумывалось, то всерьез и рисуя себе весьма конкретные картины. Эти яркие образы обычно порождались определенным состоянием: весьма неустойчивые души тогдашних людей были подвержены резким сменам настроения. Мысль о вечной награде в сочетании с любованием смертью, свойственным дряхлеющему миру, заставила уйти в монастырь не одного сеньора и даже оставила без потомства не один знатный род: шестеро сыновей сеньора де Фонтен-ле-Дижона ушли в монастырь во главе с самым выдающимся из них — Бернардом Клервоским. Так религиозное сознание способствовало, на свой лад, перемешиванию общественных слоев.

Однако у многих христиан не хватало духу обречь себя на столь суровую жизнь. С другой стороны, они — возможно, не без оснований — полагали, что не смогут заслужить царство небесное собственными добродетелями. Поэтому они возлагали надежду на молитвы благочестивых людей, на накопление аскетами заслуг перед богом на благо всех верующих, на заступничество святых, материализованное в мощах и представляемое служащими им монахами. В этом христианском обществе самой необходимой для всего коллектива функцией представлялась функция духовных институтов. Но не будем обманываться — именно в качестве духовных. Благотворительная, культурная, хозяйственная деятельность крупных кафедральных капитулов и монастырей была, разумеется, значительной. Но в глазах современников она являлась лишь побочной. Этому способствовали понятия о земном мире как пронизанном сверхъестественным и навязчивая мысль о мире потустороннем. Благополучие короля и королевства — это в настоящем; спасение предков короля и его самого — в вечности; такова была двойная выгода, которой, по словам Людовика Толстого, он ожидает, учреждая в парижской церкви Сен-Виктор общину регуляр-

ных каноников. «Мы полагаем, — говорил также Оттон I, — что благополучие нашей империи зависит от роста богопочитания». Могучая, богатая церковь создала своеобразные юридические институты; страстно дебатировалось множество каверзных проблем, вызванных приспособлением этого «града» церковного к «граду» светскому и впоследствии нависших тяжким бременем над общей эволюцией Запада. Вспоминая об этих чертах, необходимых для верного изображения феодального мира, как не признать, что страх перед адом был одним из великих социальных фактов того времени?

Глава третья

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ

1. Историография

В феодальном обществе многое стимулировало интерес к прошлому. В религии священными книгами являлись книги исторические; ее праздники были воспоминанием об определенных событиях, в самых популярных формах ее питали легенды о древних святых; наконец, утверждая, что человечество близко к гибели, она устраняла иллюзии, побуждающие в периоды великих надежд интересоваться только настоящим или будущим. Каноническое право основывалось на древних текстах, светское право — на прецедентах. Часы досуга в монастыре или в замке были благоприятны для длинных рассказов. История, правда, не преподавалась в школах ex professo [a], разве что посредством чтений, имевших в принципе другие цели: читались религиозные сочинения, в которых искали богословское или моральное поучение, и произведения классической древности, предназначенные прежде всего служить образцами красноречия. Тем не менее в коллективном интеллектуальном багаже история занимала, можно сказать, преобладающее место.

В каких источниках могли черпать просвещенные люди, жаждавшие узнать, что было до них? Историки латинской античности, известные только во фрагментах, ничуть не утратили своего авторитета; хотя Тит Ливий далеко не был в числе тех, кого чаще всего листали, его имя значится среди авторов, чьи книги раздавали между 1039 и 1049 гг. монахам Клюни для чтения в великий пост. Не были также забыты повествовательные произведения раннего средневековья: мы, например, располагаем несколькими рукописями сочинений Григория Турского, переписанными между X и XII вв.

[a] Специально, как особый предмет (лат.).

Но самое значительное влияние, бесспорно, оказывали писатели, которые к решающему перелому IV—V вв. поставили себе задачей создать синтез двух до той поры весьма далеких одна от другой исторических традиций, чье двойное наследие досталось новому миру: традиции библейской и традиции греко-римской. Чтобы воспользоваться плодами этого согласования, которым занимались Евсевий Кесарийский, святой Иероним, Павел Орозий, вовсе не было надобности непосредственно обращаться к самим зачинателям. Суть их произведений была изложена и все время излагалась в многочисленных сочинениях более недавнего времени. Ибо стремление дать почувствовать за настоящей минутой течение великого потока времени было столь сильно, что многие авторы, даже среди тех, чье внимание сосредоточивалось прежде всего на ближайших событиях, считали полезным включать в виде преамбулы некую краткую сводку всемирной истории. В «Анналах», которые около 1078 г. монах Ламберт составил в своей келье в Герсфельде, нас интересуют преимущественно сведения о раздорах в империи во времена Генриха IV; начинаются «Анналы», однако, с сотворения мира.

Нынешние исследователи, ищущие данных о франкских королевствах после крушения Каролингской империи в хронике Регинона Прюмского, об англосаксонских обществах — в Вустерской или Питербороской хрониках [1], а о мелких подробностях бургундской истории — в «Анналах» Беза, нередко обнаруживают, что судьбы человечества изложены в этих сочинениях начиная с Воплощения! Даже когда рассказ начинается с времен не столь древних, он все же уходит корнями в эпоху, намного более давнюю, чем воспоминания самого хрониста. Состряпанные на основе плохо усвоенных или плохо понятых текстов и, следовательно, неспособные сообщить нам что-то дельное о слишком далеких событиях, которые автор тщится изложить, эти пролегомены зато являются драгоценным свидетельством умственной жизни; они рисуют перед нами картину того, как феодальная Европа представляла себе свое прошлое. Вдобавок они убедительно показывают, что составители хроник или анналов не ограничивали свой кругозор намеренно. К сожалению, как только писатель, покинув надежную сень литературной традиции, был вынужден сам добывать сведения, раздробленность общества ставила преграду его любознательности; сплошь да рядом, по странному контрасту, чем дальше вперед движется рассказ, тем все больше он обогащается деталями и в то же время охваченное в нем пространство становится все у́же. Так, большая история французов, составленная в одном ангулемском монастыре Адемаром Шабаннским, этап за этапом сводится к истории Аквитании.

Само разнообразие жанров у этих историографов свидетельствует еще и о том, как любили тогда рассказывать и слушать рассказы. Истории всемирные или слывшие таковыми, истории на-

родов, истории церквей соседствуют с простыми перечнями новостей, составлявшимися из года в год. Когда умы поражало какое-нибудь важное событие, оно становилось темой целого повествовательного цикла, например борьба императоров и пап и, в особенности, крестовые походы. Хотя тогдашние писатели были не искусней скульпторов в умении схватывать своеобразные черты, которые делают человеческое существо индивидуальностью, биография была в моде. И не только в форме житий святых. Вильгельм Завоеватель, Генрих IV германский, Конрад II, не имевшие, разумеется, никаких прав на то, чтобы красоваться на алтарях, нашли клириков, описавших их подвиги. Знатный барон XI в. анжуйский граф Фульк ле Решен пошел дальше: он написал сам (или же приказал написать) собственную историю и историю своего рода: такую важность придавали памяти о себе великие мира сего! Некоторые местности, впрочем, в этом смысле обездолены. Причина в том, что там вообще мало писали. Аквитания и Прованс, которые гораздо бедней хрониками и анналами, чем края между Сеной и Рейном, создали также куда меньше богословских трудов. Среди вопросов, волновавших феодальное общество, история занимала достаточно важное место, чтобы по степени ее успехов можно было, как по барометру, судить об уровне культуры в целом.

Однако не будем обольщаться: этот период, столь склонный заниматься прошлым, имел о нем сведения скорее обильные, чем достоверные. Трудность получения информации, даже о самых недавних событиях, как и неточность мышления вообще, обрекали большинство исторических трудов на засоренность странным шлаком. Целая итальянская повествовательная традиция, начинающаяся с середины IX в., забыв отметить коронование 800 г., представляла Людовика Благочестивого первым каролингским императором. Критика свидетельства, почти неразлучная со всяким размышлением, не была, конечно, совершенно неизвестна; доказательство тому — любопытный трактат Гиберта Ножанского о реликвиях[2]. Но никому не приходило на ум систематически применять критику к старинным документам, по крайней мере до Абеляра[3], да и этот великий человек применял ее в довольно ограниченной сфере. Над писателями тяготело сковывающее наследие классической историографии, ораторские и героические условности. Если некоторые монастырские хроники напичканы архивными документами, то лишь потому, что они скромно ставили почти единственной своей целью оправдать права братии на ее владения. Напротив, если какой-нибудь Жиль д'Орваль в сочинении более возвышенного характера намерен воспроизвести деяния льежских епископов, он, наткнувшись на своем пути на одну из первых хартий городских вольностей, дарованную городу Юи, отказывается от ее анализа из боязни «наскучить» читателю. Одним из достоинств исландской школы[4], в понимании истории намного превос-

ходившей хроники латинского мира, было то, что она не знала этих претензий.

С другой стороны, понимание реальностей затемнялось символическим толкованием, исходившим от другого духовного течения. Священные книги — исторические ли они? Несомненно. Но по крайней мере в одной части этой истории, в Ветхом завете, экзегетика предписывала видеть не столько картину событий, самодовлеющих по своему значению, сколько предвосхищение грядущего, «тень будущего», по выражению святого Августина[5]. Наконец, и это главное, картина мира страдала от слабого восприятия различий между последовательными планами перспективы.

Дело тут не в том, что, как утверждал Гастон Парис, люди, мол, упорно верили в «неизменность» вещей. Подобное убеждение было бы несовместимо с идеей, что человечество быстрыми шагами движется к предназначенной цели. «О переменчивости времен» — так, в согласии с общим настроением, озаглавил свою хронику Оттон Фрейзингенский[6]. Однако никого не шокировало, что поэмы на народных языках одинаково изображали каролингских паладинов, гуннов Аттилы и античных героев рыцарями XI или XII в. Люди практически были абсолютно неспособны охватить во всей широте постоянные изменения, которые отнюдь не отрицались. Разумеется, по невежеству. Но главным образом потому, что общность между прошлым и настоящим скрывала контрасты и даже избавляла от необходимости их замечать. Как можно было устоять перед искушением воображать императоров древнего Рима абсолютно схожими с современными государями, если считалось, что Римская империя продолжает существовать и что саксонские или салические короли — прямые наследники Цезаря и Августа? Всякое религиозное движение рассматривало себя как реформу в собственном смысле слова, т. е. как возвращение к первоначальной чистоте. Таков традиционалистский дух, который непрестанно тянет настоящее к прошлому и, таким образом, естественно приводит к смешению красок того и другого. Не является ли он антиподом исторического понимания, в котором царит чувство разнообразия?

Этот мираж, чаще всего невольный, иногда становился нарочитым. Нет сомнения, что знаменитые фальшивки, оказавшие влияние на светскую и религиозную политику феодальной эпохи, несколько предшествуют ей: «Дар Константина» был сочинен в конце VIII в.; продукция удивительной мастерской, главными изделиями которой являются подложные декреталии, приписанные Исидору Севильскому[7], и подложные капитулярии диакона Бенедикта, была плодом каролингского Ренессанса в период его расцвета. Но этому примеру следовали и в дальнейшем. Канонический сборник, скомпилированный между 1008 и 1012 гг. св. Бурхардом, епископом Вормса, кишит ложными атрибуциями и почти циничными переделками. Подложные документы изготавливались

при императорском дворе. Другие, в несметном количестве, в церковных scriptoria [a], имевших в этом смысле столь дурную славу, что обнаруженные или угадываемые искажения истины, присущие их изделиям, немало способствовали дискредитации письменного свидетельства. «Любым пером можно написать невесть что», — говорил на судебном процессе один немецкий сеньор.

Если извечная деятельность подделывателей и мифоманов испытала в эти несколько веков исключительный расцвет, в том, несомненно, в большой мере повинны как условия юридической жизни, основывавшейся на прецедентах, так и окружающая неразбериха, ибо немало подложных документов изготовлялось лишь взамен погибших подлинников. Однако то, что фальшивки стряпали в таком количестве, что множество благочестивых особ, бесспорно благородных, участвовали в этих махинациях, уже и тогда сурово осуждаемых правом и моралью, — это психологический симптом, заслуживающий внимания; именно уважение к прошлому парадоксально заставляло реконструировать его таким, каким оно должно быть.

Впрочем, при всем обилии исторических сочинений они были доступны лишь довольно узкой элите. Ибо языком их повсюду, кроме страны англосаксов, была латынь. В зависимости от того, принадлежал ли данный правитель к небольшому кругу litterati, прошлое в его истинном или искаженном виде влияло на него более или менее сильно. Свидетельство тому: в Германии после реализма Оттона I — полная реминисценций политика Оттона III; после неграмотного Конрада II, склонного предоставить Вечный город междоусобицам аристократических партий и пап-марионеток, — весьма образованный Генрих III, «римский патриций» и реформатор папства. Но и самые непросвещенные государи в какой-то мере черпали из этой сокровищницы воспоминаний. В этом им, несомненно, помогали их придворные писцы. Оттон I, наверняка менее чувствительный, чем его внук, к престижу римского ореола, постарался, тем не менее, первый в своем роду венчаться короной цезарей [8]. Кто теперь расскажет нам, какие наставники были у этого почти неграмотного короля и какие сочинения они ему переводили или резюмировали, чтобы ознакомить его с императорской традицией до того, как он ее реставрировал?

Но основными историческими книгами для не умевших читать, но любивших слушать, были эпические рассказы на народных языках. Проблемы эпоса принадлежат к самым спорным в науке о средневековье. Раскрыть их во всей сложности на нескольких страницах невозможно. Но здесь, пожалуй, уместно поставить их в том плане, который важней всего для истории социальной структуры и, в более общем смысле, вероятно откроет плодотворные перспективы, — в плане коллективной памяти.

[a] Мастерских письма (лат.).

2. Эпос

История французского эпоса, как мы ее понимаем, начинается с середины XI в., возможно, немного раньше. Известно, что с этого времени на севере Франции вошли в обиход героические «песни» на народном языке. Об этих относительно древних сочинениях мы, к сожалению, имеем лишь косвенные сведения: ссылки в хрониках, фрагмент переложения на латинский язык (загадочный «Гаагский фрагмент»). Нет ни одной рукописи эпоса, выполненной до второй половины следующего века. Но по возрасту копии мы еще не можем судить о дате создания оригинала. У нас есть указания, что самое позднее около 1100 г. существовали по крайней мере три поэмы в форме, очень близкой к той, в какой мы их читаем ныне: «Песнь о Роланде»; «Песнь о Вильгельме», где мимоходом упоминаются песни, не дошедшие до нас в древних вариантах, и, наконец, поэма «Гормонт и Изамбарт», известная по началу одной рукописи и по пересказам, первый из которых относится к 1088 г.

Интрига «Роланда» восходит скорее к фольклору, чем к истории: вражда между пасынком и отчимом, зависть, предательство. Последний мотив есть и в «Гормонте». В «Песни о Вильгельме» фабула строится на легенде. Во всех трех поэмах многие актеры драмы, даже из числа основных, вероятно, полностью вымышленные: Оливье, Изамбарт, Вивьен. Однако повсюду узоры повествования вышиты на канве исторической. Действительно, 15 августа 778 г. на арьергард Карла Великого напал при переходе через Пиренеи вражеский отряд басков, по данным истории, сарацин, по словам легенды, — и в жестокой стычке погиб граф по имени Роланд со многими другими военачальниками. На равнинах Виме, где развертывается действие «Гормонта», в 881 г. подлинный король Людовик, а именно Людовик III Каролинг, действительно одержал победу над подлинными язычниками — норманнами, которых фантазия, как то нередко бывало, превратила в воинов ислама. Граф Вильгельм, как и его жена Гибур, жили при Карле Великом, и граф был отважным борцом с мусульманами (как и описано в «Песни»), порою, как там сказано, терпевшим от неверных поражения, но всегда в героической борьбе.

На втором плане всех трех поэм, даже в толпе на фоне картины, нетрудно различить рядом с вымышленными тенями немало персонажей, которые, хоть и не всегда помещены поэтами в надлежащую эпоху, все же существовали в действительности: архиепископ Турпин, король-язычник Гормонт, который был знаменитым викингом, и даже загадочный граф Буржский, Эстюрми, чей облик «Песнь о Вильгельме» рисует столь мрачными красками, бессознательно отражая презрение, на которое был обречен в те времена человек рабского происхождения.

В многочисленных поэмах на аналогичные темы, записанных в XII и XIII вв., — тот же контраст. Небылицы заполняют их все в большем изобилии в той мере, в какой сюжеты этого бурно развивавшегося жанра могли обновляться только путем вымысла. Однако почти всегда — по крайней мере в произведениях, чей общий замысел, если не редакция, нам известная, явно восходит к достаточно древней эпохе, — мы обнаруживаем то несомненно исторические мотивы в самом центре действия, то неожиданно точные воспоминания в деталях: эпизодическую фигуру, какой-нибудь замок, о существовании которого, казалось, должны были давно забыть.

Так перед исследователем встают две неразрывно связанные проблемы. По каким мостам, переброшенным через пропасть в несколько веков, были переданы поэтам сведения о столь далеком прошлом? Какая традиция протянула таинственные нити, например от трагедии 15 августа 778 г., к «Песни» последних лет XI в.? От кого трувер, автор «Рауля де Камбре» узнал в XII в. о нападении, совершенном в 943 г. на сыновей Герберта, графа Вермандуа, этим самым Раулем, сыном Рауля де Гуи, о гибели нападавшего и, наряду с этими событиями, составившими узел драмы, имена нескольких современников героя: Иберта, сира де Рибемон, Бернарда де Ретель, Эрно де Дуэ? Такова первая загадка. Но вот и вторая, не менее важная: почему эти точные данные так странно искажены? Или иначе (ибо, очевидно, нельзя считать ответственными за всю деформацию в целом только последних авторов): как получалось, что зерно истины доходило до них лишь вместе со столькими ошибками или выдумками? Часть подлинная, часть вымышленная — всякая попытка истолкования, не учитывающая с равной полнотой того и другого элемента, будет обречена на неудачу.

Эпические «деяния» [9] не были в принципе рассчитаны на чтение. Они создавались для декламации или, вернее, для распевания. Из замка в замок, с одной рыночной площади на другую их приносили профессиональные исполнители, которых называли «жонглерами». Самые скромные из них, существуя на монетки, которые бросали им слушатели, «завернув полу кафтана», и впрямь сочетали ремесло бродячего сказителя с ремеслом акробата. Другие, которым посчастливилось снискать покровительство знатного сеньора, причислившего их к своему двору, были обеспечены более надежным куском хлеба. Из этой-то среды и выдвигались авторы поэм. Иными словами, жонглеры либо исполняли устно чужие произведения, либо сами «изобретали» песни, которые затем исполняли.

Между этими двумя крайностями существовало, впрочем, бесконечное количество нюансов. «Трувер» редко придумывал все целиком, исполнитель редко воздерживался от переделок. Весьма пестрая публика, в основном неграмотная, была почти всегда неспособна оценить подлинность фактов и вдобавок куда менее чув-

ствительна к правдивости, чем к занимательности. В качестве творцов выступали люди, привыкшие непрестанно переделывать текст своих рассказов; они вели к тому же образ жизни мало благоприятный для занятий, но имели возможность время от времени общаться со знатью и старались ей угодить. Таков человеческий фон этой литературы. Искать, каким образом в нее просочилось столько точных воспоминаний, значит спросить себя, какими путями жонглеры могли получать сведения о событиях и именах.

Пожалуй, излишне напоминать, что, насколько нам известно, все достоверное, содержащееся в песнях, фигурировало в том или ином виде в хрониках и грамотах — в противном случае как могли бы мы сегодня производить отсев? Однако было бы вопиющим неправдоподобием представлять себе жонглеров этакими книгочеями, роющимися в библиотеках. И напротив, вполне законным будет вопрос, не могли ли они каким-либо косвенным путем иметь доступ к содержанию текстов, с которыми им вряд ли приходилось знакомиться самостоятельно. В качестве посредников естественно представить себе обычных хранителей этих документов: духовенство, особенно монахов. Такая мысль никак не противоречит условиям жизни феодального общества. Действительно, глубоким заблуждением историков романтического толка, стремившихся всюду противопоставить «спонтанное» «ученому», была их идея, что между носителями так называемой народной поэзии и профессиональными знатоками латинской литературы, лицами духовного звания, существовала бог весть какая непроницаемая стена. За отсутствием иных свидетельств изложение «Песни о Гормонте» в хронике монаха Хариульфа [10], «Гаагский фрагмент», являющийся, вероятно, школьным упражнением, латинская поэма, которую сочинил в XII в. французский клирик о предательстве Ганелона [11], достаточно убедительно показывают, что под сенью монастырей знали и отнюдь не презирали эпос на народном языке. Так и в Германии «Вальтариус» [12], где германская легенда причудливо облечена в Вергилиевы гекзаметры, был, возможно, написан в качестве ученического задания, и есть сообщение о том, что уже позднее, в Англии XII в., патетическая повесть о приключениях короля Артура исторгала слезы у молодых монахов и мирян [13]. Добавьте к этому, что, несмотря на анафемы отдельных ригористов против «гистрионов», в общем духовные лица, стремившиеся, естественно, распространить славу своей обители и реликвий — ценнейшего их сокровища, вряд ли могли не понимать, что жонглеры, которые на общественных площадях исполняли наряду с самыми светскими песнями благочестивые поэмы агиографического содержания, были превосходным орудием пропаганды.

Действительно, как показал в своих незабываемых трудах Жозеф Бедье [14], на многих эпических легендах стоит монастырское клеймо. Только настойчивостью монахов из Потьера и еще

больше из Везеле можно объяснить перемещение в Бургундию «деяний» Жерара Руссильонского, все исторические эпизоды которых происходили на берегу Роны. Без аббатства Сен-Дени, близ Парижа, его ярмарки и мощей его святых нельзя было бы понять ни поэмы «Паломничество Карла Великого» [15], юмористической вышивки на тему истории реликвий, несомненно более популярной у посетителей ярмарки, чем у паломников этого аббатства, ни «Флованта», где сходная тема трактуется более серьезно и скучно, ни, вероятно, многих других песен, где на фоне задника с контурами монастыря появляются каролингские властители, память о которых в нем благоговейно сохранялась. Об участии этого крупного аббатства, союзника и советника капетингских королей, в разработке темы Карла Великого последнее слово, безусловно, еще не сказано.

Существует, однако, немало других произведений, притом относящихся к числу наиболее древних, где трудно обнаружить следы монашеского влияния, по крайней мере последовательного и непрерывного: таковы «Песнь о Вильгельме», «Рауль де Камбре», весь цикл «Лотарингцев». Не удивительно ли, что — если эта гипотеза верна — даже в «Роланде», которого пытались связать с паломничеством в Компостеллу, не упоминается среди множества святых имя святого Иакова, а среди множества испанских городов название знаменитой галисийской святыни? Как объяснить в сочинении, созданном, как нас уверяют, под влиянием монахов, ядовитое презрение к монашеской жизни, которого не скрывает поэт? Кроме того, если бесспорно, что все используемые исторические данные в «деяниях» могли в принципе быть почерпнуты из собраний грамот и в библиотеках, то документы, в которых они отражены, сообщают о них, как правило, отрывочно, среди многих других сведений, не перешедших в поэмы. Чтобы извлечь из текстов эти данные — и только их, — требовалась большая работа по сопоставлению и отсеву, настоящая работа ученого, словом, то, что отнюдь не было присуще интеллектуальному складу людей того времени.

Наконец, и это главное, предположение, что у истоков каждой песни стояла некая педагогическая пара — в качестве учителя образованный клирик, а в качестве ученика послушный жонглер, — представляется нам отказом от объяснения того, как могла рядом с истиной появиться ошибка. Ведь и при невысоком уровне анналистической литературы, засоренной легендами и фальшивками не менее, чем устная традиция монашеских общин, которые, как и жонглеры, были весьма склонны фантазировать и забывать, даже самый скверный рассказ, построенный на основе хроник или грамот, не мог бы содержать и четверти тех нелепостей, какими грешит наименее лживая из песен. Есть у нас и доказательство от противного: к середине XII в. два клирика, один вслед за другим, изложили французскими сти-

хами в стиле, примерно калькирующем эпос, исторический сюжет, во всяком случае в большей своей части заимствованный ими из рукописей. Конечно, ни в «Романе о Ру» Васа, ни в «Истории нормандских герцогов» Бенуа де Сент-Мора [16] нет недостатка в легендах и путанице, но по сравнению с «Роландом» это шедевры точности.

Итак, если считать невероятным, что по крайней мере в большинстве случаев «труверы» конца XI и первых лет XII в., создавая свои «деяния», могли для них тут же подбирать, пусть не прямым путем, какие-то элементы из хроник и архивных документов, приходится допустить, что в основе их рассказов лежала предшествующая устная традиция. Правду сказать, эту гипотезу, долго считавшуюся классической, компрометировали лишь формы, в которые ее слишком часто облекали. Вначале, мол, были очень короткие песни, современные событиям, а наши «деяния», какими мы их знаем, — это позднейшие, более или менее искусно слаженные поделки, в которых изначальные «кантилены» подшиты одна к другой; короче, в отправной точке спонтанность народной души, а в конце — работа литератора. Эта картина, соблазнявшая простотой схемы, не выдерживает серьезной критики. Разумеется, не все песни возникали одинаково; среди них есть и такие, в которых чувствуются следы неуклюжих швов. Кто, однако, читая непредубежденным глазом «Роланда», станет отрицать, что это творение единого порыва, творение одного человека, причем значительного, чья эстетика в той мере, в какой она не была его личной, отражала идеи его времени, а не являлась бледным отражением утраченных славословий? В этом смысле можно смело сказать, что «деяния» «родились» в конце XI в. Но разве поэт, наделенный талантом (это, разумеется, встречалось не так уж часто; забывают, что красота «Роланда» — явление исключительное), не использует — с большим или меньшим мастерством — темы, которые как коллективное наследие переданы ему рядом поколений?

Зная, с каким интересом люди феодальной эпохи относились к прошлому и как любили слушать рассказы о нем, можно ли удивляться, что устная традиция прошла через века? Излюбленными ее очагами были все те места, где встречались странники: центры паломничеств и ярмарочные площади, дороги паломников и купцов, воспоминание о коих сохранили многие поэмы. О странствующих купцах мы благодаря случаю знаем из одного текста, что они из Германии занесли в скандинавский мир некоторые немецкие легенды. Можно ли сомневаться, что и французские купцы вместе со свертками сукна и мешками пряностей перевозили с одного конца привычных своих маршрутов на другой немало героических сюжетов и даже просто имен? Наверняка из их рассказов, как и рассказов паломников, жонглеры и узнавали географическую терминологию Востока, а поэты Севера знакомились

с красотой средиземноморской оливы, которую «деяния» с наивным вкусом к экзотике и великолепным презрением к местному колориту храбро помещают на холмах Бургундии или Пикардии. Хотя обычно легенды и не диктовались в монастырях, то были, однако, места, чрезвычайно благоприятные для их возникновения: через монастыри проходило множество путников, в них сохранялась память о многих старинных сооружениях, их обитатели, наконец, всегда любили рассказывать — даже чересчур, по словам таких пуритан, как Петр Дамиани. Самые древние анекдоты о Карле Великом записывались с IX в. в Санкт-Галлене[17]; составленная в начале XI в. хроника монастыря в Новалез по дороге в Мон-Сени изобилует легендарными элементами.

Но не будем воображать, что все вышло из монашеских обителей. У знатных родов тоже были свои устные предания, которые сохраняли в точном или искаженном виде немало воспоминаний; в замковых залах столь же любили поговорить о предках, как и под сводами монастырей. Мы знаем, что герцог лотарингский Годфрид не стеснялся потчевать своих гостей забавными историями о Карле Великом. Надо ли полагать, что такие вкусы были у него одного? Впрочем, и в эпосе нетрудно различить два противоположных образа великого Каролинга: благородному государю «Роланда», окруженному почти религиозным почитанием, противостоит «алчный» и «выживший из ума» старик многих других «деяний». Первый соответствовал народному варианту церковной историографии, а также нуждам капетингской пропаганды; как не узнать во втором антимонархического отпечатка баронской среды?

Всякие кратенькие истории превосходно могут передаваться таким образом из поколения в поколение, не облекаясь в форму поэм. Но поэмы все же существовали. С какого времени? Этот вопрос почти неразрешим. Ибо мы имеем дело с французским языком, который, слывя просто-напросто испорченной латынью, лишь через несколько веков был возведен в ранг литературного языка. Просачивался ли героический элемент в те «деревенские песни», т. е. песни на народных диалектах, которые в конце IX в., как передают, один орлеанский епископ счел долгом запретить петь своим священникам? Об этом мы никогда уже не узнаем, так как все происходило в сфере, не удостаивавшейся внимания образованных людей. Однако, не злоупотребляя доказательством ex silentio[a], надо все же признать, что первые упоминания об эпических поэмах относятся лишь к XI в.; внезапное появление этих свидетельств после долгой ночи как будто говорит о том, что стихотворные «деяния» возникли не намного раньше, во всяком случае в изрядном количестве. С другой стороны, весьма примечательно, что в большинстве старинных поэм обычной резиденцией каролингских королей назван Лан; даже в «Роланде», где восста-

[a] Умолчания (лат.).

новлен в своем истинном ранге Ахен, сохранились, словно по недосмотру, следы этой «ланской» традиции. А она могла зародиться лишь в X в., когда «Мон-Лоон» действительно играл приписываемую ему роль. Более позднее, как и более раннее, ее появление было бы необъяснимым. Итак, по всей видимости, именно в этом веке были зафиксированы главные темы эпоса, если и не в стихотворной форме, то по крайней мере уже вполне пригодными для поэтической обработки.

Одна из главных черт «деяний» — та, что в них изображаются только давние события. Почти единственное исключение — крестовые походы, представлявшиеся, по-видимому, достойными эпоса. В них было все, что способно потрясти воображение; несомненно также, что они переносили в настоящее некую форму христианского героизма, присущего поэмам начиная с XI в. Эти произведения, посвященные современности, позволяли жонглерам оказывать осторожное давление на своих меценатов: за то, что Арну д'Ардр отказался дать жонглеру красные штаны, его имя было вычеркнуто из «Песни об Антиохии» [18].

Но при всем удовольствии, которое должны были испытывать бароны, слушая восхваления своих подвигов, при всех выгодах, которых могли ждать поэты, создавая подобные сочинения, войны современности, если они происходили не в Святой земле, не находили, как правило, желающих прославить их в этом жанре. Означает ли это, что, как писал Гастон Парис, «эпическое брожение» прекратилось в тот самый момент, когда окончательно сформировалась французская нация? Такое утверждение, само по себе малоправдоподобное, предполагает, что рассказы, относящиеся к событиям IX и X вв., немедленно облекались в поэтическую форму, а это крайне сомнительно. Истина, бесспорно, в том, что люди, полные почтения к временам минувшим, считали предметом, способным воспламенить их чувства, лишь воспоминания, окруженные ореолом древности. В 1066 г. нормандских воинов при Гастингсе сопровождал жонглер. Что он пел? «О Карле Великом и о Роланде». Другой жонглер около 1100 г. находился в шайке бургундских грабителей, участвовавших в небольшой местной стычке. Что он пел? «О славных деяниях предков». Когда великие ратные дела XI и XII вв. в свою очередь отодвинулись в глубь времен, вкус к прошлому все еще сохранялся, но удовлетворяли его иначе. Эпос заменила история, порой еще изложенная в стихах, но уже основанная на письменной традиции и, следовательно, куда меньше сдобренная легендами.

Любовь к историческим и легендарным рассказам в феодальную эпоху не являлась особенностью Франции. Но, будучи общей для всей Европы, она в разных странах удовлетворялась по-разному.

Как далеко ни углубимся мы в историю германских народов, мы увидим, что их обычаем было прославлять в стихах подвиги

героев. У германцев на континенте, в Британии и у скандинавов существовали рядом два жанра воинских песен: одни посвящались персонажам весьма древним, порой мифическим, другие прославляли вождей живых или недавно умерших. Затем, в X в., начался период, когда вовсе не писали или, за немногими исключениями, писали только по-латыни. В течение этих темных веков существование древних легенд на германской земле засвидетельствовано почти исключительно одним латинским переложением — «Вальтариусом» и миграцией некоторых тем в страны Севера, где не иссякал источник народной литературы. Они, однако, продолжали жить и очаровывать умы. Епископ Гунтер, занимавший с 1057 по 1065 г. кафедру в Бамберге, предпочитал, если верить его канонику, чтению святого Августина или святого Григория рассказы об Аттиле и об Амалах, древней остготской династии, угасшей в VI в. Возможно даже, что епископ — текст тут неясен — сам «стихотворствовал» на эти светские сюжеты. Видимо, вокруг него еще продолжали рассказывать о делах давно исчезнувших королей. Наверняка о них еще и пели на обиходном языке, но от этих песен до нас ничего не дошло. Жизнь архиепископа Анно, изложенная в немецких стихах вскоре после 1077 г. клириком кельнского диоцеза, относится скорее к агиографии, чем к повествовательной литературе, рассчитанной на широкую аудиторию [19].

Завеса приоткрывается перед нами лишь примерно век спустя после возникновения французских «деяний» — точнее, после того, как подражание им или сочинениям более недавним, но того же рода, уже успело приучить поколение немецкой публики ценить большие поэтические фрески на народном языке. Первые героические поэмы, вдохновленные местными событиями, были сочинены в форме, близкой к той, в какой они нам теперь известны, лишь в конце XII в. Предоставляя хронистам или латинской версификации подвиги современников, авторы этих поэм в Германии, как и во Франции, ищут отныне свои сюжеты в похождениях, уже неоднократно воспетых. Примечательно, что излюбленное ими прошлое оказывается в их поэмах еще более далеким. Только одна Lied [a] — о герцоге Эрнсте — излагает (кстати, со странными искажениями) события начала XI в. В других к чистым легендам и порой совершенно еще языческой фантастике примешаны давние воспоминания об эпохе переселений, обычно, впрочем, низведенных с их ранга мировых катастроф до невысокого уровня банальной личной мести. Двадцать один главный герой, кого удалось во всей этой литературе идентифицировать в хронологическом порядке, располагается от одного готского короля, умершего в 375 г., до лангобардского короля, умершего в 575 г.

Но что если случайно то здесь, то там появляется персонаж из более недавнего времени? Например, если в «Песнь о Ни-

[a] Песня (нем.)

белунгах»[20] в сборище, само по себе весьма разношерстное, где рядом с тенями без всякой исторической основы, вроде Зигфрида и Брунгильды, фигурируют Аттила, Теодорих Великий и бургундские короли Рейна, пробрался епископ X в.? Что ж, подобный втируша появляется только в эпизодической роли — вероятно, благодаря своему местному или церковному влиянию. Если бы поэты получали темы от клириков, роющихся в рукописях, дело, конечно, обстояло бы иначе; вожди варваров не были основателями германских монастырей, и если хронисты и упоминали об Аттиле, даже о «тиране» Теодорихе, то изображали их в гораздо более мрачных красках, чем эпос.

Отметим тут, однако, поразительный контраст. Франция, чья цивилизация подверглась глубокой переплавке в горниле раннего средневековья, чей язык как вполне дифференцированное лингвистическое единство был сравнительно молод, эта Франция, обращаясь к своему самому далекому прошлому, находила там Каролингов (меровингская династия, насколько нам известно, появляется лишь в одной песни, «Флованте», достаточно поздней и, как мы видели, вероятно, входившей в группу сочинений, созданных по прямой указке ученых монахов Сен-Дени); Германия, напротив, располагала в качестве пищи для своих сказаний несравненно более древней материей, ибо поток рассказов и, возможно, песен, долгое время текший подспудно, никогда там не прерывался.

Кастилия являет нам столь же поучительную картину. Страсть к воспоминаниям была там не менее сильна, чем в других краях. Но в этой стране Реконкисты древнейшие национальные воспоминания были еще совсем свежими. Вследствие этого жонглеры — в той мере, в какой они не воспроизводили чужеземные образцы, — черпали вдохновение в недавно отгремевших событиях. Сид скончался 10 июля 1099 г., а «Поэма о Сиде», единственный уцелевший потомок целой семьи cantares[a], посвященных героям недавних войн, создана около 1150 г. Более удивителен пример Италии. У нее не было — и, видимо, никогда — автохтонного эпоса. Почему? Слишком дерзка попытка решить в двух словах столь сложную проблему. Все же стоило бы упомянуть об одном возможном ее решении. Италия в феодальную эпоху была одной из немногих стран, где в классе сеньоров, вероятно, как и в классе купцов, насчитывалось немало грамотных людей. Если интерес к прошлому не привел там к созданию песен, не в том ли причина, что его удовлетворяли чтением латинских хроник?

Эпос там, где ему суждено было развернуться, оказывал особенно сильное воздействие на воображение, ибо в отличие от книги, воспринимаемой только зрением, он пользовался всей страстностью устной речи и своеобразным приемом «вдалблива-

[a] Песен (исп.).

ния» путем повторения рефренов и даже целых строф. Спросите у нынешних правительств, не является ли радио еще более действенным орудием пропаганды, чем газета. Без сомнения, высшие классы начали по-настоящему переживать свои легенды в основном с конца XII в. и в среде, чья образованность была уже более основательной: например, чтобы в колкой и всем понятной остроте высмеять труса, рыцарь прибегал к намеку на какой-нибудь куртуазный роман; позже целая группа кипрской знати забавлялась, представляя в лицах персонажей цикла «Лиса»[21], подобно тому как в более близкое к нам время в некоторых светских кругах разыгрывали бальзаковских героев. Во всяком случае, едва только появились на свет французские «деяния», как сеньоры, еще до 1100 г., стали давать своим сыновьям имена Оливье и Роланд, между тем как отмеченное клеймом позора имя Ганелон навсегда исчезло из ономастики.

Случалось, что к этим сказаниям обращались, как к подлинным документам. Знаменитый сенешал Генриха II Плантагенета Ранульф Глэнвилл[22], сын эпохи уже гораздо более книжной, на вопрос о причинах бессилия французских королей в их борьбе с нормандскими герцогами отвечал ссылкой на то, что прежние войны «почти уничтожили» французское рыцарство, о чем свидетельствуют, говорил он, повести «Гормонт» и «Рауль де Камбре». Несомненно, этот крупный политик научился размышлять об истории в основном на подобных поэмах. Выраженное в «деяниях» понимание жизни во многих отношениях лишь отражало мировоззрение их аудитории: в любой литературе общество созерцает свой собственный образ. Однако вместе с воспоминаниями о давних событиях, пусть искаженными, просочилось немало сведений, действительно почерпнутых из прошлого, отпечаток чего мы увидим еще не раз.

Глава четвертая

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ВО ВТОРОМ ФЕОДАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

1. Некоторые черты новой культуры

Появление во Франции XI в. больших эпических поэм можно рассматривать как один из симптомов могучего культурного расцвета последующего периода. Нередко говорят: «Возрождение XII века». При всех оговорках, касающихся этих слов, буквальный смысл которых, казалось бы, должен означать отнюдь не изменение, а всего лишь воскресение, формулу можно сохранить — с ус-

ловием, однако, что мы не будем слишком точно соблюдать ее хронологические рамки. Если это движение и развернулось во всю ширь именно в тот век, с которым его обычно связывают, то первые проявления его, а также соответствующих демографических и экономических изменений относятся к поистине решающему периоду в два-три десятилетия накануне 1100 г. Тогда, чтобы ограничиться лишь несколькими примерами, были созданы философские труды Ансельма Кентерберийского, юридические труды первых итальянских знатоков римского права и их соперников, знатоков канонического права, начался подъем в изучении математики в школах Шартра[1]. В интеллектуальной области, как и во всех остальных, революция не была тотальной. Но как ни близок во многих отношениях оставался второй феодальный период к первому, его характеризуют некие новые интеллектуальные черты, воздействие которых необходимо уточнить.

Прогресс общественной жизни, столь заметный на экономической карте, не менее четко обозначается на карте культуры. Обилие переводов сочинений греческих и особенно арабских (последние, впрочем, были большей частью лишь толкованиями греческой мысли), влияние этих переводов на сознание и философию Запада показывают нам цивилизацию, гораздо лучше оснащенную антеннами для восприятия чужого. Отнюдь не случайно, что среди переводчиков оказалось несколько членов торговых колоний в Константинополе. Внутри самой Европы древние кельтские легенды, переносившиеся с запада на восток, наложили на воображение французских сказителей отпечаток необычного магического духа. В свою очередь поэмы, сложенные во Франции — старинные «деяния» или повести в более новом вкусе, — породили подражания в Германии, Италии, Испании. Очагами новой науки являются крупные интернациональные школы[2]: Болонья, Шартр, Париж — эти «лестницы Иакова, устремленные к небу»[3]. Романское искусство в целом, если отвлечься от бесчисленных местных вариантов, выражало прежде всего некую общность цивилизации или взаимодействие множества мелких очагов влияния. Готическое искусство, напротив, дает пример экспортирования эстетических форм, которые, разумеется, со всевозможными отклонениями, распространяются из вполне определенных центров излучения: Франция между Сеной и Эной, цистерцианские монастыри в Бургундии.

Аббат Гиберт Ножанский, родившийся в 1053 г. и в 1115 написавший свою «Исповедь»[4], противопоставляет эти две даты своей жизни в следующих словах: «Во времена незадолго до моего детства и в мои детские годы школьных учителей было так мало, что в маленьких городках было почти невозможно их встретить, да и в больших городах они были редкостью. А если и удавалось случайно найти учителя, его знания были столь скудны, что их нельзя сравнить даже с образованностью нынешних бродячих клириков». Нет сомнения, что в течение XII в. образован-

ность и по уровню, и по распространенности в различных общественных слоях сделала огромные успехи. Больше чем когда бы то ни было она основывалась на подражании античным образцам, которые, возможно, пользовались не бо́льшим почтением, но были лучше известны, лучше понимались, острее чувствовались: настолько, что у некоторых поэтов на окраине церковного мира (как знаменитый рейнский Архипиита) [5] это приводило к появлению своеобразной языческой морали, совершенно чуждой предыдущему периоду. Но в основном новый гуманизм был гуманизмом христианским. «Мы карлики, взобравшиеся на плечи великанов», — эта часто повторяемая формулировка Бернарда Шартрского [6] показывает, насколько самые глубокие умы той эпохи считали себя в долгу перед классической культурой.

Новые веяния дошли и до мирской среды. Отныне уже нельзя назвать исключением графа шампанского Генриха Щедрого, который читал в подлинниках Вегеция и Валерия Максима, или графа анжуйского Жоффруа Красивого, который при сооружении крепости руководствовался тем же Вегецием [7]. Чаще всего помехой подобным склонностям было слишком еще примитивное образование, не позволявшее глубоко проникнуть в тайны сочинений, написанных на языке ученых. Однако это не отбивало желания их постигнуть. К примеру, Бодуэн II де Гин (умерший в 1205 г.), страстный охотник, волокита и любитель выпить, был не хуже любого жонглера сведущ в «деяниях», равно как в грубых фаблио; этот пикардийский сеньор, хоть и был «неграмотным», ни в чем не находил такого удовольствия, как в героических или забавных рассказах. Он охотно беседовал с духовными особами, которых, в свою очередь, потчевал «языческими» историями и, по мнению одного священника тех мест, был благодаря ученым сим беседам чересчур просвещенным. Не пользовался ли он позаимствованными от них теологическими познаниями для споров со своими учителями? Но просто беседовать для него было недостаточно. Он велел перевести на французский и читать ему вслух немало латинских книг: наряду с «Песнью песней» [8], «Евангелиями», «Житием святого Антония» [9], также бо́льшую часть «Физики» Аристотеля и древнюю «Географию» римлянина Солина [10]. Из этой новой потребности возникла в Европе почти повсеместно литература на народных языках, которая была уже рассчитана на мирян и предназначалась не только для развлечения. Неважно, что вначале она почти исключительно состояла из переложений. Она все же открывала широкий доступ к целой культурной традиции. И в частности, доступ к прошлому, изображенному в менее ложном свете.

Правда, исторические сказания на народных языках еще долго оставались верны стихотворной оболочке и тону старинных «деяний». Переход к прозе, этому естественному орудию литературы фактов, совершился лишь в первые десятилетия XIII в., когда

появляются то мемуары, написанные людьми, чуждыми миру жонглеров и клириков (знатного барона Виллардуэна[11], скромного рыцаря Робера де Клари)[12], то компиляции, предназначенные для просвещения широкой публики: «Деяния римлян»[13], свод хроник, без ложной скромности названный «Полная история Франции», саксонская «Всемирная хроника». Почти столько же лет прошло, пока во Франции, а затем в Нидерландах и Германии стали появляться, вначале единичные, грамоты, записанные на обиходном языке, благодаря чему участники контракта могли непосредственно ознакомиться с их содержанием. Пропасть между действием и его выражением мало-помалу заполнялась.

В ту же пору при просвещенных дворах крупных государей — Плантагенетов Анжуйской империи[14], графов Шампанских, германских Вельфов[15] — чаровала умы литература сказок и грез. Разумеется, «деяния», более или менее приспособленные к новым вкусам и украшенные вставными эпизодами, не переставали нравиться. Но в той мере, в какой подлинная история постепенно вытесняла из коллективной памяти эпос, возникали новые поэтические формы, которые, зародившись в Провансе или во Франции, вскоре распространились по всей Европе. То были романы чистого вымысла, где удивительные ратные подвиги, «великие потасовки», восхищавшие общество, все еще остававшееся в основе своей военным, разыгрывались отныне на фоне мира, пронизанного таинственным волшебством: отсутствие притязаний на историчность, как и это бегство в мир фей, выражали дух эпохи, уже достаточно утонченной, чтобы отличить описание реального от чисто литературного эскапизма. То были также короткие лирические стихотворения, в своих первых образцах почти равные по древности героическим песням, но сочинявшиеся все в большем количестве и все с более изысканной тонкостью. Ибо обострившееся эстетическое чувство все больше ценило поэтические находки, даже вычурность формы; вполне в духе времени была выразительная строка стихотворения, где один из соперников Кретьена де Труа[16], признанного в XII в. самым обольстительным рассказчиком, не нашел для него лучшей похвалы, чем слова: «Он черпал французский язык полными пригоршнями».

Примечательно, что романы и лирические поэмы уже не ограничиваются описанием деяний; чуть неуклюже, но весьма усердно они стараются анализировать чувства. Даже в военных эпизодах поединок двух бойцов становится более важным, чем столкновения целых армий, о которых с такой любовью повествовали старинные «деяния». Новая литература стремилась всеми путями к реинтеграции индивидуального и приглашала слушателей к размышлению над своим «я». В этой склонности к самосозерцанию она перекликалась с религиозным началом: практика исповеди «на ухо» духовнику, которая долгое время была в ходу лишь в монастырском мире, распространилась в XII в. среди мирян.

Многими чертами человек из высших слоев общества периода около 1200 г. походит на своих предков, представителей предшествующих поколений: тот же дух насилия, те же резкие скачки настроения, те же тревожные мысли о сверхъестественном — быть может, еще более мучительные ввиду навязчивой идеи о вездесущем дьяволе, внушенной дуализмом, который проникал из процветавших тогда манихейских ересей даже в ортодоксальные круги. Но по крайней мере две вещи резко отличают этого человека. Он более образован. Он более сознателен.

2. Рост самосознания

Этот рост самосознания, не ограничиваясь отдельной личностью, распространялся на все общество. Толчок был дан во второй половине XI в. великим религиозным «пробуждением», которое по имени папы Григория VII, одного из главных его деятелей, привыкли называть «григорианской реформой». То было сложное движение, где к устремлениям духовенства, и в особенности монахов, знатоков старинных текстов, примешивалось немало представлений, всплывших из глубин народной души: мысль, что священник, чье тело осквернено плотским актом, неспособен должным образом славить святые тайны, находила самых рьяных поборников не только среди монастырских аскетов и, в еще большей мере, среди теологов, но главным образом в толпе мирян. Движение также чрезвычайно мощное, к которому можно без натяжки приурочить окончательное формирование латинского католичества, именно тогда и не по случайному совпадению навсегда отделившегося от восточного христианства[17]. Как ни различны были проявления этого духа, более нового, чем думалось его ревнителям, его существо можно выразить в нескольких словах: в мире, где до той поры священное и светское были почти неотделимы, григорианское течение стремилось утвердить изначальность и превосходство духовной миссии, носителем которой является церковь, стремилось выделить священника и поставить его над простым верующим.

Наибольшие ригористы среди реформаторов, бесспорно, отнюдь не были приверженцами разума. Философии они не доверяли. Риторику они презирали, часто, впрочем, поддаваясь ее обаянию. «Моя грамматика — это Христос», — говорил Петр Дамиани, который, однако, склонял и спрягал вполне правильно. Верующий, полагали они, создан, чтобы сокрушаться о своих грехах, а не заниматься наукой. Короче, в великой драме сознания, разыгрывавшейся начиная со святого Иеронима в сердце многих христиан, у которых восхищение античной мыслью и искусством боролось с ревнивыми требованиями аскетической религии, реформаторы решительно вставали в ряды непримиримых; не в пример Абеляру они отнюдь не желали видеть в философах язычества людей,

«вдохновленных богом», и вслед за Герхо из Райхерсберга [18] считали их лишь «врагами креста Христова». Но в попытках оздоровления, а затем в битвах, к которым вынуждала их программа, со светскими властями, и прежде всего с империей, им приходилось излагать свои идеалы в логической форме, рассуждать, призывать к рассуждению. Проблемы, которые до сих пор трактовались лишь горсточкой эрудитов, внезапно приобрели весьма злободневный характер. Как рассказывают, в Германии повсеместно, даже на площадях и в трактирах, читали или по крайней мере просили переводить сочинения, где еще разгоряченные жаркими стычками церковники рассуждали на все лады о целях государства, о правах королей, их народов или пап. Другие страны не были до такой степени захвачены полемикой. Однако повсюду она оказывала свое действие. Отныне дела человеческие стали в большей мере, чем прежде, предметом для размышления.

Решающей метаморфозе помогало еще одно обстоятельство. Интерес к изучению права, о котором еще будет идти речь, в это время, когда всякий человек действия должен был быть немного юристом, охватил широкие круги; он также побуждал видеть в социальных реальностях нечто такое, что может быть методично описано и истолковано. Но самые явные результаты подъема юридической образованности следует, бесспорно, искать в другом направлении. Каков бы ни был предмет рассуждения, он прежде всего приучал умы рассуждать последовательно. В этом прогресс юридической науки сочетался с прогрессом в сфере философской спекуляции, которая, впрочем, всегда с нею тесно связана. Разумеется, подняться к высотам логической мысли вслед за святым Ансельмом, Абеляром, Петром Ломбардским было под силу лишь немногим, принадлежавшим почти исключительно к духовенству. Но часто эти люди находились в самой гуще жизни: бывший ученик парижских школ Рейнальд фон Дассель, имперский канцлер, затем архиепископ кёльнский, много лет заправлял политическими делами в Германии; прелат-философ Стефан Лэнгтон [19] возглавил при Иоанне Безземельном взбунтовавшееся английское дворянство.

Да так ли уж необходимо быть причастным к самым высоким достижениям мысли для того, чтобы оказаться под ее влиянием? Сравните две грамоты — одну, написанную около 1000 г., другую — конца XII в. Вторая окажется, как правило, более подробной, более точной, менее беспорядочной по содержанию. Правда, по своему характеру документы XII в. различаются весьма сильно, в зависимости от их происхождения. В грамотах городских, продиктованных бюргерами, больше здравого смысла, чем образованности, и если говорить о связности изложения, они почти всегда стоят гораздо ниже блестяще обоснованных документов, вышедших из ученой канцелярии Барбароссы. Тем не менее при взгляде «с птичьего полета» различие между двумя указанными

периодами ощущается весьма четко. Но ведь способ выражения был тут неотделим от содержания. Можно ли считать несущественным в еще полной загадок истории связей между мыслью и практикой тот факт, что к концу второго феодального периода люди действия обычно располагали более совершенным, чем прежде, инструментом логического анализа?

Глава пятая

ОСНОВЫ ПРАВА

1. Господство обычая

Как поступал в дофеодальной Европе начала IX в. судья, чтобы вынести приговор? Первым долгом он обращался к текстам: римским компиляциям, если тяжбу следовало решать по римским законам; обычаям германских народов, постепенно зафиксированным письменно якобы во всей их полноте; наконец, законодательным эдиктам, изданным в большом количестве государями варварских королевств. Там, где эти памятники содержали определенные указания, оставалось лишь повиноваться. Но не всегда дело обстояло так просто. Даже не говоря о случае (несомненно, весьма частом в судебной практике), когда нужного манускрипта либо не оказывалось под рукой, либо разобраться в нем (например в громоздких римских сборниках) казалось слишком хлопотным, предписания, хотя и основанные на текстах, фактически были известны только благодаря обычаю. Хуже всего было то, что никакая книга не могла дать решение на все случаи. Целые секторы социальной жизни — отношения внутри сеньориального владения, личные отношения между людьми, уже предвещавшие феодализм, — регламентировались текстами весьма несовершенно или даже вовсе не регламентировались. Так, наряду с письменным правом уже существовала сфера чисто устной традиции. Одной из важнейших черт последующего периода — иначе говоря, периода полного утверждения феодальной системы — было то, что эта сфера непомерно возросла и в некоторых странах охватила всю правовую область целиком.

Крайних пределов эта эволюция достигла в Германии и Франции. Издание законов прекратилось: во Франции последний «капитулярий», к тому же весьма малооригинальный, датируется 884 г.; в Германии источник, по-видимому, иссяк с расчленением империи после Людовика Благочестивого. Лишь кое-кто из владетельных особ — какой-нибудь герцог нормандский или герцог баварский — то здесь, то там публикуют указы более или менее общего значения. В этом отсутствии юридического творчества иногда

усматривают результат слабости королевской власти. Но такое объяснение — быть может, и соблазнительное, если бы речь шла только о Франции, — очевидно, никак не применимо к гораздо более могущественным государям Германии. Разве саксонские или салические императоры, которые к северу от Альп трактовали в своих дипломах только отдельные частные вопросы, не выступали в качестве законодателей в своих итальянских владениях, где, разумеется, их власть отнюдь не была более сильной? Если севернее Альп уже не испытывали потребности что-либо добавлять к некогда сформулированным законам, то истинная причина лежит в том, что сами эти законы канули в забвение.

В течение X в. варварские «правды», как и каролингские ордонансы, постепенно перестают переписывать или упоминать, разве что в беглых ссылках. Если какой-нибудь нотариус захочет пощеголять цитатами из римлян, это на три четверти будут общие места или просто нелепости. Да и как могло быть иначе? Знание латыни — языка, на котором были составлены на континенте все старинные юридические документы, — являлось, за редкими исключениями, монополией духовенства. Но общество церковников выработало для себя собственное право, становившееся все более обособленным. Основанное на текстах (единственные франкские капитулярии, которые еще продолжали комментировать, были те, что касались церкви), каноническое право преподавалось только в школах церковных. Светское право, напротив, нигде не являлось предметом обучения. Знание старинных уложений, вероятно, полностью не исчезло, раз существовала профессия законника. Но в судебной процедуре обходились без адвокатов, и всякий, кто имел власть, был судьей. Это означает, что большинство судей не умело читать — обстоятельство явно неблагоприятное для поддержания письменного права.

Тесная связь между упадком старинного права и упадком образования среди мирян во Франции и Германии особенно видна при сопоставлении с примерами противоположного характера. В Италии эта связь была великолепно подмечена уже в XI в. чужеземным наблюдателем — императорским капелланом Випо[1]; в этой стране, говорит он, где «всех, как есть, молодых людей» (надо понимать, из высших классов) «посылают в школы, чтобы они там трудились в поте лица», не переставали изучать, резюмировать, комментировать и варварские законы, и каролингские капитулярии, и римское право.

Ряд актов — конечно, не очень частых, но явно сохраняющих преемственность, — также свидетельствует о непрекращавшейся законодательной деятельности. В англосаксонской Англии, где языком права был язык всего народа, благодаря чему, как замечает биограф короля Альфреда, даже судьи, не знавшие грамоты, могли приказать прочитать им манускрипты и понимали их, государи, вплоть до Кнута, один за другим занимались кодифициро-

ванием обычаев или их дополнением и сознательным изменением с помощью эдиктов. После нормандского завоевания возникла необходимость сделать доступным для победителей или, по крайней мере, для их чиновников содержание текстов, язык которых был им непонятен. И тогда, с начала XII в., в Англии получило развитие нечто, совершенно не известное по ту сторону Ламанша: юридическая литература, которая, будучи латинской по языку, являлась англосаксонской по основным своим источникам.

Однако как ни значительно было различие, намечавшееся между разными частями феодальной Европы, оно не затрагивало самой сути развития. Там, где право перестало основываться на текстах, многие старинные законы всевозможного происхождения сохранялись все же в устной передаче. Напротив, в тех странах, где продолжали изучать и чтить древние тексты, социальные потребности привели к возникновению наряду с этими текстами — то в виде дополнений, то в виде замены — множества новых обычаев. Короче говоря, повсюду судьба юридического наследия предыдущего периода зависела от одного авторитета — обычая, единственного в то время живого источника права, и государи, издавая законы, старались только по-своему его толковать.

Развитие обычного права сопровождалось глубокой перестройкой юридической структуры. В континентальных провинциях древней Romania[a], заселенной варварами, а позднее в Германии, покоренной франками, существование бок о бок людей, принадлежащих к разным народам, привело сперва к невероятнейшей сумятице, которая профессору права может привидеться как страшный сон. В принципе, учитывая все трудности применения закона, которые неизбежно возникали, когда два тяжущихся были разного происхождения, всякий человек, где бы он ни проживал, подчинялся праву своих предков: согласно знаменитой шутке одного лионского архиепископа, когда во франкской Галлии собирались вместе пять человек, не надо было удивляться, если каждый из них — например, римлянин, салический франк[2], рипуарский франк, вестгот и бургунд, — подчинялся своим особым законам.

С IX в. уже ни один вдумчивый наблюдатель не мог сомневаться, что подобная система, некогда вызванная необходимостью, стала крайне неудобной и к тому же все меньше соответствовала характеру общества, где сплав этнических элементов почти завершился. Англосаксы, которым вовсе не пришлось принимать в расчет туземное население, никогда не знали такой системы. Вестготская монархия в 654 г. ее сознательно упразднила. Но пока все эти особые права были письменно закреплены, они обладали большой стойкостью. Примечательно, что страной, где дольше всего — до начала XII в. — удержалась эта множественность юридических укладов, была просвещенная Италия. И то ей пришлось

[a] Территории, подвластной Риму (лат.).

претерпеть странную деформацию. Так как установить родословную становилось все трудней, возник обычай, по которому всякий человек, участвующий в юридическом акте, называл право, которому он намерен повиноваться и которое порой, по желанию сторон и в зависимости от характера дела, можно было заменить другим. В остальной части континента забвение, поглотившее с X в. тексты предыдущего периода, привело к появлению совершенно нового порядка. Иногда его называют системой территориальных обычаев. Несомненно, правильней было бы говорить об обычаях групп.

Действительно, всякий человеческий коллектив, велик он или мал, очерчена ли его территория точными границами или нет, стремится установить свою собственную юридическую традицию, вплоть до того, что в зависимости от различных аспектов деятельности человек переходит из одной такой правовой зоны в другую. Возьмем, например, некую сельскую группу. Семейный статут крестьян обычно соответствует более или менее сходным нормам во всей окружающей местности. Их аграрное право, напротив, подчинено обычаям, сложившимся именно в данной общине. Среди возложенных на них повинностей одни, которые они несут в качестве держателей, закреплены обычаем данной сеньории, чьи границы далеко не всегда совпадают с границами территории деревни; если же они сервы, другие повинности, затрагивающие их личность, определяются правом данной группы, обычно более узкой, которая состоит из сервов одного господина, проживающих в одной местности. Все в целом, разумеется, не умаляет силы всяческих контрактов или прецедентов, порой только личных, порой способных передаваться в роду от отца к сыну. Там, где в двух небольших обществах, расположенных по соседству и имеющих аналогичное устройство, системы обычаев первоначально складывались в чертах примерно сходных, в дальнейшем они, поскольку не были письменно закреплены, неизбежно все более отдалялись одна от другой. Глядя на подобную раздробленность, кто из историков не согласится с трезвым наблюдением автора «Трактата об английских законах» [3], написанного при дворе Генриха II: «Изложить письменно во всей полноте законы и права этого королевства в наши дни невозможно... столь они многоразличны и многочисленны»?

Между тем различия сказывались прежде всего в частностях и в форме выражения. В правилах, применявшихся внутри разных групп одной местности, обычно царил общий, объединяющий их дух. Часто это сходство заходило еще дальше. Некоторые коллективные идеи, могучие и простые, порой присущие какому-то одному из европейских обществ, порой общие для всей Европы, господствовали в праве феодальной эпохи. И если верно, что разнообразие в их применении было бесконечным, то состояла ли

роль права, этой преломляющей призмы, являвшей множественность факторов эволюции, в чем-либо ином, как не в обогащении истории редкостно разнообразной игрой естественных вариантов?

2. Основные черты обычного права

Юридическая система первого феодального периода, глубоко традиционалистская, как и вся цивилизация того времени, зиждилась на убеждении, что все то, что было, имеет тем самым право на существование. Разумеется, не без оговорок, подсказанных более высокой моралью. В частности, духовенство, созерцая светское общество, в наследстве которого далеко не все согласовалось с их идеалами, с полным правом отказывалось всегда отождествлять справедливое с уже виденным. Король, заявлял Гинкмар Реймский [4], не должен судить по обычаю, ежели тот окажется более жестоким, чем «христианская справедливость». Выражая григорианский дух, поддерживаемый у лучших представителей церкви истинно революционным порывом, папа Урбан II [5], тоже сотрясатель традиции, подобно старику Тертуллиану [6], писал в 1092 г. графу Фландрии: «Ты, слышал я, хвалишься, что до сей поры всегда следовал весьма древнему обычаю своего края? Однако ты должен знать, что твой Создатель сказал: Мое имя Истина. Он не сказал: Мое имя Обычай». Следовательно, могли быть «дурные обычаи». И правда, в юридических документах часто встречается это выражение. Но почти всегда — для осуждения обычаев, недавно введенных или считающихся недавними: «эти мерзостные новшества», «эти неслыханные поборы» обличаются во многих монастырских документах. Другими словами, обычай казался предосудительным главным образом тогда, когда он был достаточно молод. Идет ли речь о какой-нибудь реформе церкви или о процессе между сеньорами-соседями, авторитет прошлого мог быть поколеблен, только если ему противопоставляли еще более почтенное прошлое.

Любопытно, что это право, в соответствии с которым всякое изменение — зло, отнюдь не оставалось неподвижным; более того, оно было одним из самых гибких в истории. Прежде всего по той причине, что оно не закреплялось письменно ни в документах юридической практики, ни в форме законов. Большинство трибуналов довольствовалось вынесением устных приговоров. А когда надо было восстановить их содержание, это делали путем опроса судей, если те еще были живы. При заключении контрактов согласие сторон скреплялось в основном с помощью жестов, а иногда — священных слов, т. е. неким формальным обрядом, для вящего воздействия на умы, мало восприимчивые к абстракциям. Если же в Италии, например, письменный документ играл при заключении договора какую-то роль, то он тут выступал опять же в качестве ритуального предмета: чтобы символизиро-

вать переход земли к другому владельцу, грамота передавалась из рук в руки, как в других странах кусок дерна или стебель. К северу от Альп лист пергамена, если таковой случайно был под руками, служил только для памяти: не обладая никакой подлинной силой, «запись» производилась главным образом для того, чтобы перечислить свидетелей. Ибо, в конечном счете, все сводилось к свидетельству, даже если были применены «черные чернила», и уж, конечно, в тех случаях, безусловно более многочисленных, когда обходились без чернил. Так как воспоминание, очевидно, могло сохраняться тем дольше, чем больше проживут на земле его хранители, участники контракта часто приводили с собой детей. А против детской забывчивости применялись для закрепления ассоциации образов разные средства: пощечина, небольшой подарок, даже насильственное купанье.

Как при частных сделках, так и в общих предписаниях обычая у традиции, следовательно, не было иных поручителей, кроме человеческой памяти. Но память, ненадежная, «дырявая» память, по выражению Бомануара [7], — это превосходное орудие для вымарываний и переделок; особенно та память, которую мы называем коллективной и которая по сути является лишь передачей от поколения к поколению. Не закрепленная письменно, она прибавляет к ошибкам восприятия каждого отдельного человека неточности устного слова. Добро бы в феодальной Европе существовала каста профессиональных хранителей юридических воспоминаний, как было в других цивилизациях, например у скандинавов [8]. Но в феодальной Европе большинство мирян, которым приходилось вершить правосудие, делали это от случая к случаю. Не пройдя методической выучки, они чаще всего бывали вынуждены, как сетовал один из них, действовать «в меру своих способностей или прихотей». Одним словом, юриспруденция была выражением не столько знаний, сколько потребностей. В своем стремлении подражать прошлому общество первого феодального периода располагало весьма неточными зеркалами, и потому очень быстро и очень глубоко изменялось, воображая, что остается прежним.

Впрочем, признаваемый за традицией авторитет в одном смысле сам благоприятствовал изменению. Ибо всякий акт, совершенный однажды, а тем более повторенный три или четыре раза, мог превратиться в прецедент, даже если вначале был исключением, даже явным злоупотреблением. В начале IX в. монахов Сен-Дени однажды попросили, когда в королевских погребах в Вере не хватило вина, послать туда двести мюи. С тех пор от них стали этого требовать каждый год как обязательной повинности, и, чтобы ее отменить, понадобился государев диплом.

Рассказывают также, что в Ардре какой-то сеньор завел у себя медведя. Местные жители, которым нравилось смотреть, как медведь дерется с собаками, предложили его кормить. Затем медведь

околел. А сеньор продолжал требовать, чтоб ему приносили хлеб. Правдивость этого анекдота, быть может, сомнительна, зато его символическое значение бесспорно. Многие повинности возникли подобным же путем из добровольных подношений и долгое время сохраняли такое наименование. Напротив, если рента не выплачивалась в течение нескольких лет или если вассал не возобновлял присягу господину, тот почти неизбежно утрачивал свои права в силу давности. Установился даже обычай составлять любопытные документы — со временем их становится все больше, — которые дипломатисты называют «грамотами о ненанесении ущерба». Барон или епископ просит убежища у аббата; нуждающийся в деньгах король взывает к щедрости своего подданного. Согласен, отвечает тот, кого просят. Но при одном условии: пусть будет написано черным по белому, что оказываемая мною любезность не будет мне в ущерб обращена в ваше право. Однако эти предосторожности, к которым могла прибегнуть только особа известного ранга, оказывались эффективны лишь тогда, когда соотношение сил не было чересчур неравным. Одним из следствий признания силы обычая слишком часто было узаконение насилия и расширение сферы его действия. Разве в Каталонии не существовал обычай при захвате чужой земли обусловливать в поразительно циничной формуле, что земля эта уступается со всеми правами, которыми пользовался ее владелец «безвозмездно или насильно»?

Это почтение к свершившемуся некогда факту оказывало мощное воздействие на систему вещных прав. В течение всей феодальной эпохи очень редко говорят о собственности — будь то земля, будь то право повелевать людьми; еще реже — если такой случай вообще встречается где-либо, кроме Италии, — эта собственность становится предметом тяжбы. Стороны, как правило, судятся из-за «сейзины» (по-немецки Gewere) [9]. В XIII в. парламент капетингских королей, находившийся под влиянием римского права, тщетно оговаривал во всяком решении по поводу «сейзины» право на «петиторий», т. е. на иск о признании собственности: нет никаких данных, что предусмотренная таким образом процедура когда-либо осуществлялась.

Чем же была эта пресловутая «сейзина»? Она не являлась в точном смысле владением, которое приобреталось путем простого захвата земли или права. Но это было владение, узаконенное временем. Предположим, что два тяжущихся спорят о поле или о судейской должности. Кем бы ни был нынешний обладатель, победу одержит тот, кто сумеет доказать, что он возделывал эту землю или вершил суд в течение предыдущих лет, или — что еще лучше — докажет, что его отцы делали то же еще до него. Для этого он, если дело не должно решаться ордалиями или судебным поединком, будет ссылаться на «человеческую память, насколько она уходит в прошлое». Если он и представит доку-

менты, то лишь затем, чтобы пособить памяти, и если они подтверждают передачу ему права, то это будет право на «сейзину». Стоило дать доказательство длительного пользования, и никто уже не считал нужным доказывать что-либо еще.

Слово «собственность» в применении к недвижимости было еще и по другим причинам почти лишено смысла. Или же надо было бы говорить — как обычно делали позже, располагая более разработанным юридическим словарем, — «собственность, или сейзина», на такое-то право на землю. Действительно, почти над всеми землями и над многими людьми тяготело в то время множество всевозможных прав, различных по своей природе, но считавшихся каждое в своей области равно достойным уважения. Ни одно из этих прав не характеризовалось той строгой исключительностью, какая характерна для собственности римского типа. Держатель, который — обычно из поколения в поколение — пашет и снимает урожай; его прямой сеньор, которому он платит ренту и который в определенных случаях мог отобрать участок; сеньор его сеньора — и так далее, во всю длину феодальной лестницы, находилось множество людей, каждый из которых мог с равным основанием заявить: «Мое поле»!

Но этого еще мало. Разветвления шли не только сверху вниз, но и горизонтально, и тут следует упомянуть также сельскую общину, которая, как только снят урожай, обычно вновь обретает право на всю свою территорию; упомянуть семью держателя, без согласия которой участок не может быть отчужден, а также семьи вышестоящих сеньоров. Такое иерархизированное переплетение связей между человеком и землей восходило, без сомнения, к очень отдаленным временам. В большой части самой Romania не была ли квиритская собственность [10] чем-либо иным, как не показным фасадом? Однако в феодальные времена эта система развилась несравненно сильнее. Подобное взаимопроникновение «сейзин» на одну и ту же вещь ничуть не смущало умы, малочувствительные к логике противоречия; это состояние права и общественного мнения, пожалуй, лучше всего определить заимствованной у социологии знаменитой формулой: юридическая «причастность» [11].

3. Возрождение письменного права

В итальянских школах, как мы видели, изучение римского права никогда не прекращалось. Но в конце XI в., по свидетельству одного марсельского монаха, уже «толпы» теснятся на лекциях, читаемых целыми плеядами ученых, более многочисленными, чем прежде, и лучше организованными, особенно в Болонье, где блистал великий Ирнерий, «светоч права». Одновременно глубоким преобразованиям подвергается предмет обучения. Источники в подлинниках, которыми раньше часто пренебрегали ради посредственных кратких изложений, вновь занимают первое место;

в частности «Дигесты»[12], которые были почти забыты, открывают доступ к латинскому юридическому мышлению в его утонченнейших формах. Совершенно очевидны связи этого возрождения с другими интеллектуальными течениями эпохи. Кризис григорианской реформы вызвал во всех партиях подъем юридической, равно как и политической, мысли; не случайно составление больших канонических сборников, непосредственно этим кризисом вдохновленных, совпадает по времени с первыми трудами болонской школы. И как не увидеть в этих последних приметы возвращения к античности и интереса к логическому анализу, которые затем разовьются в новой литературе на латинском языке, как и в возрождающейся философии?

Примерно в то же время аналогичные потребности возникли и в остальных странах Европы. Там также знатные бароны начинали все больше прибегать к советам профессиональных юристов: примерно с 1096 г. среди влиятельных придворных графа Блуа мы встречаем особ, которые не без гордости именуют себя «знатоками законов». Свою образованность они, возможно, заимствовали из некоторых текстов античного права, еще сохранявшихся в монастырских библиотеках по ту сторону Альп. Но эти источники были слишком скудны, чтобы они сами по себе могли дать пищу для местного ренессанса. Импульс пришел из Италии. Деятельность болонской группы, развиваясь под влиянием более интенсивной, чем прежде, общественной жизни, получила распространение благодаря открытому для иностранцев обучению, трудам ученых, наконец эмиграции некоторых ее светил. Владыка Итальянского королевства и Германии Фридрих Барбаросса во время итальянских походов[13] принял в свою свиту ломбардских законоведов. Бывший болонский студент Плацентин[14] вскоре после 1160 г. обосновался в Монпелье; другой болонец, Ваккарий[15], был за несколько лет до того приглашен в Кентербери. В течение XII в. римское право проникло во все школы. Его, например, около 1170 г. преподавали наряду с каноническим правом под сенью Сансского кафедрального собора.

Все это, надо признать, вызывало и острое недовольство. Скрытый языческий дух глубоко светского римского права тревожил многих церковных деятелей. Ревнители монашеской добродетели обвиняли римское право в том, что оно отвращает монахов от молитвы. Теологи осуждали его за то, что оно мешает единственному виду размышлений, достойному духовной особы. Даже короли Франции и их советники, по крайней мере начиная с Филиппа-Августа, стали с подозрением относиться к аргументам, которыми оно щедро снабжало теоретиков императорской гегемонии. Все эти анафемы, однако, были бессильны затормозить движение и лишь свидетельствовали о его мощи.

В Южной Франции, где традиция обычного права сохранила явный римский отпечаток, усилиями юристов, которые отныне

могли пользоваться подлинными текстами, «письменное» право было возведено в ранг некоего общего права, применявшегося там, где не было обычаев, явно ему противоречивших. Так же в Провансе, где с середины XII в. знание Кодекса Юстиниана[16] казалось настолько важным даже для мирян, что их снабдили кратким его изложением на народном языке. В других местах новые веяния сказались не так непосредственно. Даже там, где они встречали особенно благоприятную почву, обычаи предков еще слишком прочно держались в «памяти людей» и вдобавок были слишком тесно связаны со всей системой социальной структуры, глубоко отличавшейся от древнеримской, чтобы их могли поколебать одни только усилия нескольких докторов права. Разумеется, проявлявшееся отныне повсюду осуждение старинных способов доказательства, а именно судебного поединка, и разработка в публичном праве понятия оскорбления величества были кое-чем обязаны примерам из Corpus juris[a] и комментарию к нему. Подражанию античности в данном случае сильно способствовали также совсем иные влияния: отвращение церкви к кровопролитию, как и ко всяким действиям, которые представлялись попыткой «искушать Бога»; привлекательность, особенно для купцов, более удобных и рациональных юридических процедур; возрождение престижа монарха. Если в XII и XIII вв. некоторые законоведы с великим трудом старались передать на языке кодексов реальности своего времени, эти неуклюжие попытки никак не затрагивали основы человеческих отношений. Настоящее воздействие ученого права на право живое шло тогда иным, окольным, путем: оно приучало живое право к более ясному осознанию самого себя.

Действительно, имея дело с чисто традиционными предписаниями, которые до той поры с грехом пополам управляли обществом, люди, прошедшие школу римского права, неизбежно должны были стремиться устранить в них противоречия и неясности. Но такое состояние умов имеет свойство, подобно масляному пятну, распространяться вширь, и эти тенденции не замедлили выйти за пределы сравнительно узких кругов, непосредственно владевших превосходными орудиями интеллектуального анализа, полученными в наследство от античного учения. И тут они также развивались в согласии с рядом спонтанных течений. Преодолевавшая свое невежество цивилизация жаждала письменных формулировок. Более мощные коллективы, прежде всего городские группы, требовали фиксирования законов, туманный характер которых приводил к стольким злоупотреблениям. Перегруппировка социальных элементов в большие государства или в крупные княжества была благоприятна не только для возрождения законодательства, но также для распространения на обширные территории унифицирующей юриспруденции. Не без оснований автор «Трактата об

[a] Свод права (лат.).

английских законах» в продолжение цитированного нами выше пассажа противопоставлял обескураживающей пестроте местных обычаев гораздо более упорядоченную юридическую практику королевского суда. Характерно, что около 1200 г. в Капетингском королевстве при сохранении местных обычаев в самом узком смысле появляются обширные области применения единых обычаев: Франция вокруг Парижа, Нормандия, Шампань. Судя по всем этим признакам, шла подготовка к кристаллизации законов, которая к концу XII в. если и не завершилась, то во всяком случае дала своих первых предвестников.

В Италии после Пизанской хартии 1132 г.[17] умножается число городских статутов. К северу от Альп акты пожалования вольностей бюргерству все более явно превращаются в подробные изложения обычаев. Генрих II, король-юрист, «сведущий в установлении и в исправлении законов, остроумный в решении необычных судебных дел», развивает в Англии бурную законодательную деятельность. Под сенью движения за умиротворение практика законодательства проникает и в Германию. Во Франции Филипп-Август, склонный во всем подражать английским соперникам, упорядочивает с помощью ордонансов различные феодальные спорные вопросы. Наконец, появляются писатели, которые без всякого официального задания, просто для удобства практиков, сводят воедино юридические нормы, действующие в их окружении. Естественно, что эта инициатива исходит из местностей, где издавна привыкли не довольствоваться чисто устной традицией: Северной Италии, где около 1150 г. некий компилятор собирает в своего рода Corpus советы относительно права феодов, подсказанные юристам его края законами, изданными на сей счет императорами в Лангобардском королевстве; Англии, где в 1187 г. в окружении юстициария Ранульфа Глэнвилла был создан «Трактат», на который мы уже несколько раз ссылались. Затем около 1200 г. появился самый древний сборник нормандских обычаев; около 1221 г. — «Саксонское зерцало»[18], написанное неким рыцарем на народном языке и тем самым вдвойне подтверждавшее глубокое проникновение нового духа. Эта работа активно продолжалась и в последующих поколениях: настолько активно, что, если мы желаем понять социальную структуру, которая до XIII в. описана весьма неполно и много черт которой, несмотря на серьезные изменения, еще существовало в Европе периода великих монархий, мы часто вынуждены прибегать — со всей надлежащей осторожностью — к этим произведениям, сравнительно поздним, но отражающим организационную ясность, присущую периоду возведения соборов и создания «Сумм»[19]. Может ли кто из историков отказаться от помощи самого замечательного аналитика средневекового общества, бальи[20] королей, бывших сыновьями и внуками Людовика Святого, рыцаря-поэта и юриста,

написавшего в 1283 г. «Обычаи» края Бовези, — Филиппа де Бомануар?

Но могло ли право, которое отныне было частично зафиксировано законодательным путем и все в целом преподавалось и записывалось, не утратить вместе с разнообразием и свою гибкость? Разумеется, ничто не мешало ему эволюционировать, что и произошло в действительности. Но теперь оно изменялось менее стихийно, а стало быть, более редко. Ибо размышление над каким-либо новшеством всегда таит в себе опасность отказа от этого новшества.

Итак, периоду чрезвычайно подвижному, периоду скрытого, глубинного вызревания приходит на смену со второй половины XII в. эпоха, когда общество стремится организовать человеческие отношения более строго, установить более четкие границы между классами, устранить многие из местных особенностей и, наконец, допускать только постепенные преобразования. В этой решающей метаморфозе, совершившейся около 1200 г., безусловно были повинны не только перемены в юридическом мышлении, впрочем, тесно связанные с другими каузальными цепями. Однако нет сомнения, что они широко этому способствовали.

МАРК БЛОК И «АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ»

Биография ученого — в его идеях, открытиях, книгах, учениках. Однако биография Блока этим не исчерпывается. Все, кто знал его, отмечают исключительную цельность личности: ученый и человек были нераздельны. Выдающийся историк, он был вместе с тем гражданином и патриотом. Отдав свой ум и исследовательский темперамент всемирной «республике ученых», он отдал жизнь родине, и имя его числится в пантеоне героев французского Сопротивления.

Марк Блок родился 6 июля 1886 г. в Лионе, в семье университетского профессора. Его отец, Гюстав Блок, был в свое время известным специалистом-античником. Впоследствии Блок неоднократно отмечал большое влияние отца на формирование его интереса к истории. Не без гордости вспоминал он о том, что его прадед был солдатом революционной армии в 1793 г. Республиканская и патриотическая традиция, по его собственному признанию, оказалась не менее существенным фактором в формировании его мировоззрения, чем традиция академическая.

Годы ученья в парижской Высшей Нормальной школе (1904—1908) и занятий историей и географией в Лейпциге и Берлине (1908—1909) были важным этапом подготовки Блока-медиевиста. С 1912 г. он преподает в лицеях Монпелье и Амьена. В 1913 г. появляется его первая монография «Иль-де-Франс: Страна вокруг Парижа» (L'Île-de-France: Les pays autour de Paris). На протяжении всей первой мировой войны он находится на военной службе, дослужившись до чина капитана и получив несколько боевых наград.

После демобилизации Блок преподает в Страсбургском университете, в то время — важном центре научной и интеллектуальной жизни Франции. С 1936 г. он — профессор экономической истории в Сорбонне. Наиболее продуктивный период его научной деятельности охватывает двадцать лет, с 1919 по 1939 гг. В эти годы выходит ряд его монографий по истории средневековой Европы: «Короли и сервы — глава из истории периода Капетингов» (Rois et serfs — un chapitre d'histoire capétienne, 1920), «Короли-чудотворцы» (Les rois thaumaturges, 1924), «Характерные черты французской аграрной истории» (Les caractères originaux de l'histoire rurale française, 1931) — курс лекций, прочитанных Блоком в Институте сравнительного изучения культур в Осло, наиболее капитальная из его работ «Феодальное общество» (La société féodale, 2 vols, 1939, 1940), множество статей и рецензий. Блок

выдвигается на одно из первых мест не только во французской, но и вообще в западной медиевистике.

Однако ему было чуждо стремление довольствоваться исследовательской и профессорской работой, — сознавая глубокое неблагополучие в состоянии современной ему исторической науки, он ставит перед собой задачу сломать сложившиеся и устаревшие традиции и открыть перед ней новые перспективы. Огромной удачей было его сближение с другим выдающимся французским историком — Люсьеном Февром, который так же, как и Блок, был движим стремлением радикально обновить «ремесло историка». Плодом их совместных усилий было основание в 1929 г. журнала «Анналы экономической и социальной истории». Друзья и единомышленники общими силами издавали журнал вплоть до начала второй мировой войны, когда его публикация временно прервалась.

Не оставался Блок в стороне и от общественной жизни. Он активно сочувствовал Народному фронту в 1936—1938 гг., настаивая и в эти годы и позднее на необходимости реформы высшего образования во Франции. Сохранившиеся от этого времени письма Блока свидетельствуют о попытках его и Февра установить научное сотрудничество с историками других стран, — им была чужда тенденция замкнуться в мирке национальной историографии.

В августе 1939 г. Блок вновь мобилизован в армию, вместе с нею переживает разгром 1940 г. и дюнкеркскую эвакуацию на Британские острова. Свое отношение к этим трагическим событиям он выразил в книге «Странное поражение» (L'étrange défaite, написана в 1940 г., опубликована посмертно в 1946 г.). В этой книге Блок, не ограничиваясь критикой военных руководителей Франции («командование стариков»), не понимавших отличий второй мировой войны от первой и продемонстрировавших свою неспособность организовать отпор гитлеровскому вторжению, ищет более глубокие источники краха Третьей республики и подвергает «экзамену совесть француза». Он указывает на классовый эгоизм французской буржуазии и представителя ее интересов — правительства «мюнхенцев», которое отказалось честно определить цели войны. Однако причины трагедии, свидетелем и участником которой он стал, Блок анализировал преимущественно в интеллектуальном и психологическом аспектах. С болью писал он: «Я принадлежу к поколению с нечистой совестью». «Пусть дети наши простят нам кровь на наших руках!» В будущей Франции, когда она возродится, геронтократию (господство старцев) должна сменить республика молодых. Но для этого новому поколению необходимо извлечь все уроки из прошлого и избежать ошибок отцов. Ныне (в 1940 г.), пишет Блок, французы находятся в отвратительном положении: судьба родины перестала зависеть от них самих, и им приходится уповать на военные успехи союзников. Но Блок верит, что возрождение Франции лишь от-

кладывается. Это возрождение немыслимо без самопожертвования, подлинная национальная независимость может быть завоевана только самими французами.

Мысли Блока о необходимости коренной реформы французского образования, в которой он видел одно из условий обновления моральной атмосферы во Франции, оказались удивительно злободневными четверть века спустя, когда страну потрясли мощные выступления студенческой молодежи. Плоть от плоти академической элиты, Блок безусловно не принадлежал к тем университетским «мандаринам», на которых обрушили свой гнев мятежники Сорбонны в 1968 г. Достаточно вспомнить одну из его излюбленных формул: «Нет ничего худшего для педагога, чем учить словам, а не делам».

«Апология истории», над которой Блок работал в 1941—1942 гг., несет на себе отпечаток того трагического времени. По собственному его признанию, книга возникла как «противоядие», в котором он «среди ужасных страданий и тревог, личных и общественных», пытался «найти немного душевного спокойствия». Обращаясь к Л. Февру, Блок замечал: «Долгое время мы вместе боролись за то, чтобы история была более широкой и гуманной. Теперь, когда я это пишу, общее наше дело подвергается многим опасностям. Не по нашей вине. Мы — временно побежденные несправедливой судьбой. Все же, я уверен, настанет день, когда наше сотрудничество сможет полностью возобновиться, как в прошлом, открыто и, как в прошлом, свободно» [1].

Но «Апология истории» — не попытка укрыться в трудную годину от бедствий, нависших над историком и его страной. В своей книге Блок видел средство борьбы за идеи, которые он отстаивал на протяжении всей жизни. Проблема оправданности истории — это проблема всей современной цивилизации, оказавшейся под угрозой гибели в результате вспышки гитлеровского варварства. Два вопроса поставлены перед историком. Один — ребенком, сыном: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?» Другой — французским офицером в день вступления немцев в Париж: «Надо ли думать, что история нас обманула?»

Блоку не удалось завершить книгу, но ответ на эти вопросы он все же дал. Ученый ответил не только своей последней рукописью, но и самою жизнью.

Некоторое время после поражения он преподавал в Страсбургском университете, переведенном в Клермон-Ферран, затем в Монпелье. Но работать в оккупированной Франции как историку и профессору у него не было возможности. Он получил приглашение переселиться в Алжир или в Соединенные Штаты и тем самым избавиться от преследований, угрожавших ему как представителю «неарийской расы» («Я еврей, — писал Блок, — но не вижу в этом

[1] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire ou Métier d'Historien. Paris. 1961. P. VII.

причины ни для гордыни, ни для стыда, и отстаиваю свое происхождение лишь в одном случае: перед лицом антисемита»)[2]. Его библиотеку украли немцы. О возвращении в Сорбонну не могло быть и речи. Он был вынужден отказаться от участия в редактировании «Анналов», выходивших в период оккупации нерегулярно, в виде сборников, однако продолжал печататься под псевдонимом М. Фужер.

Но Блок уже избрал для себя иной путь, единственный, по его убеждению, в момент национального унижения его родины. Связь с жизнью, с современностью всегда оставалась характернейшей чертой этого специалиста по истории далекого средневековья. Но то не был интерес бесстрастного стороннего наблюдателя — Блок, переживавший трагедию Франции как свою личную трагедию, не мог не вмешаться в ход событий и не принять в них самое активное участие. Натура борца, проявлявшаяся в нем ранее в кипучей деятельности, направленной на преобразование исторической науки, теперь искала себе иного выхода. Наблюдая хладнокровие Блока во время бомбардировки, один молодой офицер сказал ему: «Существуют профессиональные военные, которые никогда не станут воинами, и есть штатские люди — воины по натуре, вот вы — воин». Блок не возражал против подобной оценки. «Вопреки обычному предрассудку, — писал он, — привычка к научным поискам вовсе не так уж неблагоприятна для того, чтобы спокойно принять пари с судьбой». И Блок бросил ей вызов.

Уже в Клермон-Ферране и Монпелье он устанавливает контакты с первыми группами борцов за свободу. «Самый старый капитан во французской армии» (как он сам себя называл) вступил в ряды движения Сопротивления. С 1943 г. он полностью отдается борьбе с нацистскими оккупантами и становится одним из руководителей подпольного движения патриотов на своей родине — в Лионе, членом региональной Директории Сопротивления. «Арпажон», «Шеврез», «Нарбонн», «Бланшар» — под этими кличками смело действовал немолодой и не очень здоровый физически человек, отец шестерых детей, ставший бойцом подпольной освободительной армии. Его товарищи по борьбе не знали его гражданской профессии, но они восхищались мужеством, методичностью и организованностью этого невысокого подвижного человека, глаза которого лукаво поблескивали сквозь большие очки. И в этот период Блок не оставляет пера. На выставке, посвященной его памяти в Парижской Школе высших исследований в социальных науках (май 1979 г.), среди других документов были представлены сочинения Блока — борца Сопротивления: сатирическая поэма, высмеивавшая неудачливого генерала, памфлет «Доктор Геббельс анализирует психологию немецкого народа».

[2] *Bloch M.* L'étrange défaite. Paris, 1957. P. 23.

В марте 1944 г. Блока схватили гестаповцы. Он стойко выдержал жестокие пытки, не раскрыв ни имен, ни явок. 16 июня он был расстрелян недалеко от Лиона вместе с группой патриотов. Последние его слова были: «Да здравствует Франция!»

Завещание Марка Блока, датированное 18 марта 1941 г.[3], завершается так: «Я умираю, как и жил, добрым французом». На могильном камне он просил вырезать: «Dilexit veritatem» («Он любил истину»).

I

«Апология истории» занимает особое, если не сказать — исключительное, место в обширной литературе, посвященной проблематике исторического знания.

Обычно произведения этого жанра пишутся не профессиональными историками, а философами. Историк-исследователь, как правило, слишком поглощен своими специальными вопросами, чтобы всерьез заняться более общими и широкими проблемами исторического познания; к тому же он не всегда достаточно подготовлен, чтобы квалифицированно о них рассуждать. И если не раз высказанное мнение о том, что дело историка — изучать конкретную фактуру исторического процесса, предоставив глобальные обобщения методологам и социологам, вряд ли справедливо, то все же приходится признать: на практике такое «разделение труда», к сожалению, существует.

К сожалению, ибо, как свидетельствует книга Блока, продуктивно работающему историку есть что сказать о своей науке. «Практикующий» историк лучше, чем кто-либо, осведомлен о специфике собственной профессии, о проблемах, которые возникают при исследовании «дел человеческих». Незачем умалять важность философского рассмотрения исторического знания и его места в ряду других наук об обществе, но подобно тому, как историк не в состоянии выполнить функции философа в методологическом анализе этих над- и междисциплинарных вопросов, так и философу не заменить историка в попытках определить направление движения его науки — дела хватит всем. И кто же, кроме специалиста, может поведать нам о ремесле историка? Ученые не столь уж часто позволяют заглянуть в их лабораторию. Именно в том, что Блок вводит читателя в свою мастерскую, состоит, пожалуй, наиболее привлекательная черта его книги. Он не «парит» над материалом, а размышляет над огромным конкретным научным опытом, накопленным историками. Он далек от априорных рассуждений о том, каким должен быть исторический труд; он развивает,

[3] Мы не знаем непосредственных причин, побудивших Блока составить завещание, — общая ситуация в оккупированной Франции в 1941 г. достаточно к этому располагала. Дата, которой оно помечено, приблизительно совпадает с временем начала работы над «Апологией истории». Перед нами — два завещания Блока: личное и научное.

собственно, лишь некоторые из идей, сложившихся у него в процессе многолетних научных изысканий.

Вдумаемся в заголовок книги. «Apologie pour l'Histoire», т. е. «оправдание», «защитительная речь в пользу истории». «Апология»! Сократ произнес свою апологию перед афинским судом; Платон и Ксенофонт назвали так свои произведения, в которых излагали его речь. Реминисценция этого значения у Блока несомненна. Оправдание, защита разума, и в первую очередь исторического разума, — таков пафос его незаконченного труда. Это очень французская книга. Она французская и по свободному изяществу, с которым обсуждаются самые сложные вопросы исторического ремесла, и по ориентации на определенную традицию в истории мысли, представленную такими именами, как Монтень и Рабле, Декарт и Паскаль, Бейль и Вольтер, Токвиль и Мишле, Февр и Ланжевен. К этой традиции мысли Блок примыкает, более того — он ее отстаивает. То, что он писал «Апологию истории» в годы второй мировой войны, в период гитлеровской оккупации Франции, исполнено глубокого смысла. Историк-гуманист, Блок сознавал необходимость защиты истории, культуры, человеческого духа перед лицом сил варварства и разрушения.

История нуждалась в защите и по другой причине. Блок был свидетелем «отказа от истории» того класса, к которому принадлежал по происхождению и воспитанию. В «Странном поражении», написанном непосредственно перед тем, как Блок приступил к работе над «Апологией», мы находим следующие строки: «Две категории французов никогда не поймут истории Франции: те, кого не волнует память о коронации в Реймсе, и те, кто без трепета читает о празднике Федерации»[4]. Реймс — историческая святыня Франции, город, в котором традиционно короновались французские монархи; коронация Жанной д'Арк Карла VII в Реймсском соборе была символом освобождения Франции в Столетней войне. Праздник Федерации 14 июля 1790 г., в первую годовщину взятия Бастилии революционными массами Парижа, — символ национального единства и демократии. Блок находит слова гневного осуждения по адресу французской буржуазии, потерявшей контакт с собственным революционным прошлым. Нужно защитить историю от тех, кто забыл ее и не желает или неспособен извлечь из нее должных уроков.

Однако было еще одно основание, побудившее Блока выступить с апологией истории, — предательство самих историков. В книге нет прямой полемики с теми — довольно многочисленными — представителями западной исторической и философской мысли, которые провозглашали тезис о несостоятельности истории как науки, о непознаваемости прошлого, но все содержание книги, утверждающее идею строго объективного постижения истории, оп-

[4] *Bloch M.* L'étrange défaite. P. 210

ровергает подобные теории. «В области духовной жизни не менее, чем во всякой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит»[5]. Историки — агностики, субъективисты, релятивисты — снимали с себя ответственность за познание прошлого той цивилизации, которую Блок с основанием называет «цивилизацией историков». Сам Блок сознает ответственность историка — о ней и книга.

«Апология истории». Но Блок дает своей книге и второе название: «Ремесло историка». Ремесло в том широком и высоком значении этого слова, которое оно имело в далекие времена, когда термин métier прилагался к мастерству, к профессиональному умению средневекового ремесленника, владевшего всеми тайнами своего цехового труда. Раскрыть эти тайны, показать, как работает мастер исторического ремесла, каковы трудности, подстерегающие его при познании прошлого, и возможности их преодоления, — такова цель, поставленная Блоком. Насколько животрепещущей была и остается эта задача, свидетельствует состояние современной Блоку исторической науки.

II

Размышления о природе исторического познания столь же стары, как и сама история: люди всегда интересовались своим прошлым и задавались вопросом о важности этих знаний. Определение истории как «наставницы жизни» восходит к античности. Тем не менее можно утверждать, что никогда прежде проблема смысла изучения истории, возможности научного освоения ее содержания не стояли так остро, как в XX столетии.

Историческая мысль XIX в., несмотря на отдельные выступления против историзма (Шопенгауэр, Ницше), в целом развивалась под мощным влиянием гегелевского панлогизма. Принцип тождества духа и мира, в котором дух находит форму своей реализации, исключал сомнения в возможности познания истории. Этот принцип лежал в основе исторического исследования даже тогда, когда отрицался породивший его гегелевский объективный идеализм. Историки не сомневались в том, что они познают прошлое таким, «каково оно было на самом деле» (Ранке), что дальнейший прогресс знаний и раскрытие все новых цепочек причинно-следственных связей приведут к формулировке законов истории, обладающих такой же точностью и строгой применимостью, какие характеризуют законы природы (Бокль). При этом историк, естественно, сосредоточивался на конкретном исследовании и изображении прошлого и не был озабочен гносеологическими и теоретическими аспектами своей науки: все должно было выйти «само собою». Теоретические труды по истории, созданные в XIX в., —

[5] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. XIV.

преимущественно пособия по методике исследования, рассуждения о приемах обращения с текстами. История познаваема — вот постулат науки «столетия историков», и нужно признать, что он придавал исследователям большую уверенность в их работе. Историческая мысль редко обращалась на самое себя — с тем большей энергией историки изучали прошлое, и его реконструкция не внушала особых сомнений ни относительно процедур, при посредстве которых она достигалась, ни относительно убедительности получаемых результатов.

Век философской «невинности» исторической науки миновал после того, как усилиями теоретиков была продемонстрирована противоречивость и историческая обусловленность самих применяемых историками понятий, когда пришлось задуматься над вопросом о том, какова действительная роль познающего субъекта, т. е. историка, в создании картины прошлого, когда, короче говоря, оказалось все труднее проходить мимо целого комплекса сложнейших методологических проблем. Здесь достаточно упомянуть идеи неокантианцев о специфичности образования исторических категорий и о противоположности (впоследствии, правда, самим Риккертом смягченной до различия) между методом наук о природе и методом наук о культуре; теорию «идеальных типов», «исследовательских утопий», создаваемых историками для изучения и реконструкции прошлого (Макс Вебер); учение об историческом познании как особом роде самосознания цивилизации, к которой принадлежит историк (Кроче, Хейзинга); постулированный с наибольшей последовательностью Шпенглером тезис о принципиальной невозможности научного познания историком иных культур, помимо его собственной, — замкнутых в себе «монад», обладающих глубокой специфичностью и непроницаемых для взгляда извне.

В данном случае не столь существенно, насколько обоснованной была та или иная формулировка этих вопросов (не говоря уже о степени убедительности предложенных на них ответов). Действительно актуальные проблемы исторической науки были поставлены подчас в искаженном виде. Существенно другое: как отразились новые тенденции развития философско-исторической и методологической мысли на самой исторической науке? Оплодотворили ли они ее и привели к более углубленному подходу к истории или же завели в тупик? На этот вопрос, видимо, нельзя дать однозначного ответа.

Нетрудно назвать крупных историков нашего столетия, которые, вкусив от древа новой методологии, увидели одну лишь собственную философскую наготу. Такие авторитеты американской историографии, как Ч. Бирд и К. Беккер, поддавшись влиянию упомянутых выше теорий, декларировали непознаваемость прошлого: историческое познание произвольно и лишено всякой научности, историк творит совершенно субъективно, он не воспроиз-

водит факты прошлого, но создает их, исходя из собственных идей и представлений своего времени. Правда, провозглашенный этими историками и их последователями «презентизм» (жесткая детерминированность представлений о прошлом современностью, мировоззрением историка, зависимость, исключающая объективность и научность исторических знаний) оказался настолько бесплодным для исторической науки, противоречащим коренным ее предпосылкам, что им пришлось ограничить его применение преимущественно рамками теоретических упражнений; в своих же собственных исследованиях они скорее руководствовались «наивным» подходом к истории, завещанным тем самым позитивизмом, который они столь остроумно и зло поносили в теоретических декларациях. Противоречие между ученым-исследователем и теоретиком-методологом поражает и в другом известном историке — англичанине Р. Коллингвуде. С трудом верится, что автор «Идеи истории», пафос которой — в отрицании возможности истории как науки, и археолог, автор серьезных и вполне реалистических работ о древней Британии, — один и тот же человек!

В атмосфере, созданной такого рода развенчанием исторического знания, на Западе усилилась тенденция изображать историю не столько как науку, сколько как художественное творчество. Участились напоминания, что Клио — муза. Средством постижения прошлого провозглашались не объективные научные методы, а субъективное «вчувствование» в эпоху. Кризис охватил часть зарубежной историографии, либо застрявшей на явно устаревших принципах позитивизма XIX в., либо впавшей, под влиянием новых гиперкритических философских течений, в состояние теоретической растерянности.

Тем не менее этот кризис отнюдь не был всеобщим. Среди западных историков нашлись умы, не поддавшиеся методологической панике и осознавшие необходимость возрождения и обновления истории именно как науки. К их числу в первую очередь относится Марк Блок.

Американский историк, оценивающий положение в современной западной историографии, писал, имея в виду Блока и его последователей: «...Кучка смелых историков во Франции пытается выяснить, остаются ли еще какие-нибудь твердые точки в том текучем мире, в который их так жестоко бросили относительность в естественных науках и релятивизм исторических суждений» [6].

Как и часть упомянутых выше историков, Блок принадлежал к поколению ученых, творчество которых в основном приходится на период между двумя мировыми войнами. Но какой разительный контраст!

[6] *Hughes H. S.* History as Art and as Science. Twin Vistas on the Past. New York. 1964. P. 15.

Продолжая лучшие традиции исторической мысли, Блок бесконечно далек от тех представителей старой историографии, которые не понимали сложности и противоречивости исторического ремесла. Он неустанно боролся против историков, наивно полагавших, что достаточно ограничиться критикой источников, отделив в них истинное от ложного, для того чтобы извлечь исторические факты и чтобы воссияла истина и картина прошлого была восстановлена во всей своей полноте. Беда этих историков заключалась в том, что они не сознавали, сколь активна мысль ученого в расчленении и организации изучаемого им материала.

Кредо этой историографии предельно четко выражено в знаменитом «Введении в изучение истории» Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, которое открывается определением: «История пишется по источникам»[7]. Итак, историки «составляют историю», которая и есть «не что иное, как обработка документов»[8]. В конце своей карьеры Ланглуа уже не рисковал браться за написание истории и ограничивался чтением лекций, которые представляли простой монтаж исторических текстов. Таким монтажом является и четырехтомная «Жизнь во Франции в средние века» того же Ланглуа, основывающаяся на уверенности ее составителя, что источники заменят историка. Игнорирование проблемы объяснения — самое слабое место старой позитивистской историографии.

Мы сказали: старой историографии. Но эта старая историография не принадлежит лишь прошлому. Блоку приходилось бороться с живым и все еще влиятельным противником. Почти одновременно с «Апологией истории» была написана книга известного французского историка Луи Альфана «Введение в историю». Альфан выступил с обоснованием того метода исторического исследования, которым он, как и многие другие историки, пользовался на протяжении всей своей жизни. Принципы этого метода становятся ясными уже из оглавления книги: «Оценка исторического свидетельства», «Критика свидетельств и установление фактов», «Координация фактов», «Изложение фактов». Факт для него — это сообщение источника. Цель истории — «спасти от забвения факты прошлого», поэтому первая и основная задача ученого — установление подлинности документа, в котором, по убеждению Альфана, непосредственно и целиком запечатлена историческая правда. Историк полностью зависит от исторических свидетельств и только от них. «Там, где молчат источники, нема и история; где они упрощают, упрощает и она; где они искажают, искажает и историческая наука. В любом случае — и это, по-видимому, главное — она не импровизирует»[9].

[7] *Langlois Ch.-V., Seignobos Ch.* Introduction aux études historiques. Paris, 1899. P. 1.
[8] Ibid. P. 275.
[9] *Halphen L.* Introduction à l'Histoire. Paris, 1946. P. 61.

Разумеется, ученый-историк не «импровизирует» и ничего не выдумывает. Но значит ли это, что он и в самом деле, как со всей ясностью вытекает из приведенного утверждения Альфана, — раб исторических свидетельств и принужден следовать им даже в тех случаях, когда подозревает или знает, что они упрощают и искажают действительность?! Неужели у него нет никаких средств, при помощи которых он мог бы заставить прошлое выдать ему свои тайны, рассказать о себе то, о чем прямо не сообщают сохранившиеся документы? Многое ли вообще может поведать источник ученому, обращающему все внимание на его букву и считающему свою задачу выполненной после установления его подлинности? Подобный метод не предполагает постановки проблем и научного объяснения. Такую историю Коллингвуд с основанием заклеймил как «историю, сделанную с помощью ножниц и клея»[10].

Конечно, деятельность историка практически никогда не исчерпывалась «критикой текстов», о которой рассуждали Ланглуа и Сеньобос, Альфан и многие другие историки, повторявшие как своего рода заклятье слова Фюстель де Куланжа: «Тексты, одни только тексты, ничего кроме текстов!»

Это иллюзия, но все же важнейшие методологические проблемы исторического знания не могли быть должным образом осознаны.

А то, что их можно было довольно долго не осмысливать, вызывалось рядом причин. Укажем одну. Традиционная историография со времен античности сосредоточивала внимание на res gestae, на рассказе о событиях политической жизни. Потому-то главной задачей историка и считался сбор сведений о всякого рода событиях и восстановление их связи и последовательности. Этим установкам удовлетворяла методика распознавания фактов; с ее помощью были выявлены основные факты — события политической, дипломатической, военной истории.

Разумеется, и в XVIII, и в XIX в. существовали умы, которые более глубоко осмысливали исторический процесс. Если ограничиться одними французами, вспомним Вольтера, Гизо, Тьерри и Токвиля или «великих предшественников», на которых охотно ссылается Блок, — Мишле, Фюстель де Куланжа. Переход к исторической науке нового типа был подготовлен открытием Маркса — в основе исторического процесса лежит развитие и изменение социально-экономического строя. Историки, стоявшие на философских позициях исторического материализма, внесли огромный вклад в разработку проблем истории, понимаемой как последовательная смена способов производства материальных благ и соответствующих им форм общения людей. По вполне понятным причинам освоение этих истин западной историографией, даже наиболее крупными и прогрессивными ее представителями, весьма затруднено. Многие из них вообще неспособны их принять. Заслу-

[10] *Collingwood R.* The Idea of History. New York, 1956. P. 257.

гой Блока является прежде всего то, что, не будучи марксистом и недостаточно зная Маркса[11], он тем не менее осознал первостепенную важность исследования именно экономических и социальных структур и, соответственно, необходимость полного обновления исторической науки.

Наука история, которая исследует глубинные процессы экономической, социальной и духовной жизни, нуждается в новом понятийном аппарате и в качественно иной методике анализа источников. Здесь потребны более разнообразные и сложные, изощренные способы изучения материала. Во главу угла становится проблема обобщения, синтеза частных результатов, получаемых отдельными, специализированными отраслями знания об обществе и человеке[12].

Блок отчетливо понимал, что настало время заменить «Введение» Ланглуа и Сеньобоса принципиально новым изложением основ исторической науки, что необходимо сформулировать более глубокий взгляд на историю и отразить сдвиги в понимании ремесла историка, происходившие в первой половине нашего века[13]. Ибо, «состарившись, прозябая в эмбриональной форме повествования, долго перегруженная вымыслами, еще дольше прикованная к событиям, наиболее непосредственно доступным, как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода. Она силится теперь проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав в прошлом дань соблазнам легенды или риторики, она хочет отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В некоторых важных проблемах своего метода она пока еще только начинает что-то нащупывать»[14]. В «Апологии истории» Блок не успел полностью осуществить свой замысел, хотя и выразил многие выношенные им мысли. Но если изучать эту книгу вместе с остальными трудами Блока, а также его друга и — во многом и главном — единомышленника Люсьена Февра, известного специалиста по истории куль-

[11] Однако он всегда с уважением упоминал Маркса и проявлял интерес к его трудам. В разгар работы над «Апологией истории» Блок писал Л. Февру: «Вы, верно, не знаете „Капитала"? Для историка это поучительный опыт» (Hommages à Marc Bloch, // Annales d'Histoire sociale, 1945. P. 25 — письмо от 25 августа 1941 г.). Из ученых, оказавших на него большое влияние, следует упомянуть, наряду с известным историком-медиевистом Анри Пиренном, главу французской социологической школы Эмиля Дюркгейма и социолога-экономиста Франсуа Симиана.

[12] На важности подобного синтеза особенно настаивал французский историк Анри Берр, с 1900 г. издававший «Журнал исторического синтеза» («Revue de Synthèse Historique», ныне «Revue de Synthèse»), который сыграл большую роль в переориентации исторической науки во Франции.

[13] Блок писал Февру (17 августа 1942 г.): Ни Сеньобс, ни Ланглуа — не глупцы. «Как, однако, далеки мы от обоих! Не в наших решениях или попытках решений. Но в самих наших проблемах! (Hommages à Marc Bloch. P. 31).

[14] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. XIV.

туры, то идеи представляемого ими направления в западной историографии будут достаточно ясны.

Констатируя устарелость традиционной историографии и открыто заявляя о разрыве с наивным и бездумным подходом к задачам исторической науки, Блок отнюдь не был склонен примкнуть к тем западным ученым, которые впали в противоположную крайность — крайность иррационализма и субъективизма или вообще отрицания возможности исторического познания, к тем, кто вслед за В. Дильтеем провозглашал, что единственный способ постижения прошлого — это «симпатизирующее понимание» или «воображение», достигаемое в результате внутренних процессов мысленного «вживания», психологического «проникновения» в «дух эпохи», равно как и к тем, кто утверждал, что все исторические реконструкции релятивны и произвольны, поскольку отражают не столько прошлую действительность, сколько состояние мысли современного историка. «Любая история есть современная история» (Б. Кроче), «Писаная история — акт веры» (Ч. Бирд), «Всяк сам себе историк» (К. Беккер) — к таким неутешительным заключениям пришли виднейшие представители идеалистической историографии периода ее острого кризиса, столкнувшись с реальными проблемами познания.

Сопоставим с этими пессимистическими выводами ход рассуждений Блока, и мы убедимся, с какой спокойной уверенностью смотрит он на возможности исторического познания. Для него критика традиционной историографии означает не отказ от изучения исторической действительности, а более углубленное проникновение в прошлое и расширение перспективы, в которой оно исследуется. История познаваема, но, чтобы вскрыть развитие, осмыслить особенности каждого из ее периодов и преодолеть односторонность взгляда на нее, необходимо усовершенствовать научную методику, сделать более тонкими и эффективными орудия, с помощью которых это познание только и мыслимо.

Нужно и нечто большее — изменение самих умственных установок историков. Конфликт между старым и новым направлениями в историографии, отраженный в «Апологии истории», — это конфликт двух стилей мышления: мышления фактографа, копирующего документ, исторический текст, старающегося описывать события, не углубляясь в порождавший их скрытый механизм (Блок цитирует «поразительные слова» Сеньобоса, в которых усматривает девиз последователей Сильвестра Боннара: «Задавать себе вопросы очень полезно, *но отвечать на них очень опасно*»[15]), и мышления синтетического, проблемного, социологического. «Мыслить проблемами!» — девиз Блока.

[15] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. XVI.

III

Нет нужды пересказывать взгляды Блока, четко и пластично изложенные в его книге. Однако научные принципы историка трудно уяснить, если рассматривать их изолированно от его исследований. Общее не существует для Блока вне теснейшей связи с конкретно-историческим, помимо анализа источников и синтеза полученных результатов. Для того чтобы смысл «Апологии истории» выявился более выпукло, попытаемся наметить характерные черты метода Блока.

Нельзя не заметить, что в обширном списке трудов французского медиевиста нет работ, посвященных политической истории или отдельным историческим персонажам. Блока, очевидно, мало занимал тот план истории, в котором движутся герои и совершаются события, иначе говоря, — план неповторимого. В этом отношении он отличался от своего друга Февра, пристально изучавшего взгляды и жизнь Лютера, Рабле и Эразма. Правда, и для Февра эти центральные фигуры Ренессанса и Реформации представляли интерес прежде всего с точки зрения проявления в их индивидуальных деяниях «духа времени», общественного сознания выдвинувшей их эпохи. Но Февр шел к общему от единичного, уникального.

Блок же и в тех случаях, когда он, подобно Февру, обращается к истории культуры, общественной психологии, изучает ее, исходя не из анализа мысли отдельных индивидиуумов, а в непосредственно массовых проявлениях[16]. Например, в книге «Короли-чудотворцы» на основе данных о распространенной в средние века вере в способность французских и английских королей исцелять золотушных больных изучается политическая психология масс, роль коллективных представлений в политической жизни и формирование этих представлений в недрах социальных групп.

Чем бы Блок ни занимался — историей техники, поземельными отношениями, феодализмом в Западной Европе, культурно-психологическим складом людей в средние века, — он оставался исследователем социальных структур. Поэтому квалифицировать его как экономического историка по преимуществу означало бы

[16] В отзыве на II том «Феодального общества» Блока Февр выражает удивление, что во всей обширной книге, утверждающей, что в феодальную эпоху «абстрактная идея власти была слабо отделена от конкретного облика властителя», нет ни одной характеристики личности какого-либо сеньора или государя (*Febvre L.* Pour une Histoire à part entière. Paris, 1962. P. 424). Не будем спорить о том, недостаток это или нет, важнее другое — таков метод Блока. И нужно признать, что, несмотря на отсутствие в книге индивидуальных портретов представителей феодального общества, последнее выступает под пером Блока не в виде социологической абстракции, но именно как человеческое общество, как система связей, отношений между людьми.

серьезно сузить подлинный диапазон его исследовательских интересов. Заявив, что в центре внимания историка должен стоять человек, Блок спешит уточнить: не человек, но люди — люди, организованные в классы, общественные группы. Коллективная психология привлекает его преимущественно именно потому, что в ней выражается социально детерминированное поведение людей. Пристально исследуя средневековое право, Блок, вразрез с господствующей в западной историографии традицией, не видит в нем самостоятельной и саморазвивающейся стихии. В право отливается социальная практика, значит, «предмет исследования должен быть перенесен из области юридических схем в социальный и человеческий план»[17]. Первоочередная задача историка юридических институтов, по Блоку, — разглядеть за ними реальные общественные потребности и изменения социальных отношений, которые эти институты и нормы отражают далеко не адекватно. Классы (крестьян, феодалов), их формирование, состав, изменения в их структуре, отношения между ними, как и отношения их к другим классам общества, интересуют Блока, пожалуй, более всего.

Тем самым методология Блока далека от установок современных ему немецких историков: в центре их внимания было не столько общество, сколько государство. Но Блок-историк расходится и со своим коллегой и другом Февром, поскольку основной категорией, которой оперирует мысль последнего, была «цивилизация», тогда как такой стержневой, базовой категорией для Блока оставалось «общество».

В поле зрения Блока — типические, преимущественно массовидные явления, в которых можно обнаружить определенную повторяемость. Поэтому существенным «параметром» методологии Блока был сравнительно-типологический подход к изучаемым обществам и институтам. Историку, мыслящему широко, было свойственно прибегать к сопоставлениям — вплоть до сопоставления феодализма на Западе с социальным строем старой Японии, ибо феодализм для Блока — не уникальное порождение европейского развития, но «социальный тип». Тем самым выявлялись некоторые закономерности, присущие разным обществам на сходных этапах их развития. Но сравнительно-типологический метод давал ему возможность более четко определить и индивидуально-специфическое в каждом из сопоставляемых рядов[18]. Ибо в истории, в отличие от природы, регулярное проступает исключительно сквозь частное, и никакое обобщение невозможно без оговорок и ограничений («общество — не геометрическая фигура», и доказательства

[17] *Bloch M.* Les caractères originaux de l'histoire rurale française. T. II. Supplément établi d'après les travaux de l'auteur (1931—1944) par R. Dauvergne. Paris, 1956. P. XXVII.

[18] *Bloch M.* Pour une histoire comparée des sociétés européennes // *Bloch M.* Mélanges historiques. Paris, 1963. T. I. P. 16—40; Ср.: *Bloch M.* La société féodale. Paris, 1968. P. 603—619.

в истории — это не доказательства теорем)[19], что обязывает историка выработать особую логическую процедуру, руководствуясь которой он организует и интерпретирует исследованный им материал. Не случайно многим своим работам Блок предпосылает «замечания о методе».

Историк естественно и неизбежно изучает генезис интересующих его социальных явлений. Однако Блока не удовлетворяет плоское генетическое объяснение, столь любезное сердцу многих ученых, которые еще до того как они поняли существо определенного института, прямо начинают с изучения его предпосылок, подменяя причины «истоками». Таков, например, был подход к исследованию феодализма ученых XIX в., принадлежавших к противоборствующим направлениям, известным под названиями «германистов» и «романистов». Они были заняты прежде всего разысканием родины феодализма. Римская империя с ее крупным землевладением, колонатом и частной властью сенаторов — вот где зародился общественный строй средневековья, утверждали романисты. Древнегерманские леса, в которых жили воинственные племена тевтонов с их боевыми дружинами, возглавляемыми королями, — был ответ на этот вопрос германистов. В обоих случаях обнаружение в римской или в германской древности отдельных черт общественных отношений, которые в средние века получили всеобщее распространение в Европе, рассматривалось представителями этих научных школ как решение вопроса о происхождении и существе феодализма. Не говоря уже о явной политической и националистической тенденциозности подобных взглядов (романизм не случайно процветал во французской историографии, а германизм в немецкой), ясно, что при таком подходе к проблеме развитие по сути дела элиминировалось: характерный для средневековья общественный строй, по мнению этих историков, существовал в том или ином виде еще на предшествующей стадии истории, и переход от древности к средним векам знаменовался лишь постепенным и медленным преобразованием или укреплением тех порядков, которые сложились намного раньше. Качественные сдвиги в истории Европы, происшедшие на грани античности и средневековья и вызванные взаимодействием германских и других варварских народов с населением империи, которую они завоевали и заселили, игнорировались.

Блок сознавал опасности, которые несет с собой попытка объяснения сложных исторических феноменов посредством разыскания одних лишь их корней. «Идол истоков», «мания происхождения» — так называл он «наваждение», которому поддались авторы многих исторических исследований. Возможно ли объяснять социальные явления простой отсылкой к более ранним состояниям? «Из желудя рождается дуб. Но он становится и остается дубом

[19] *Bloch M.* La société féodale. P. 371, 469.

лишь тогда, когда попадает в условия благоприятной среды, а те уже от эмбриологии не зависят»[20]. Так и люди. Блок повторяет арабскую пословицу: «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов». Он с основанием предупреждает против смешения преемственной связи с объяснением. По поводу теорий германистов и романистов он выдвигает важное общее соображение: «Европейский феодализм в своих характерных учреждениях не был архаическим сплетением пережитков. Он возник на определенном этапе развития и порожден всей социальной средой в целом»[21].

Хотят узнать, как возникло данное явление? Но сперва необходимо вскрыть его природу, а это возможно лишь при знакомстве с ним в его зрелом, наиболее завершенном виде. «Можно по праву спросить, не лучше ли было бы, прежде чем погружаться в тайны происхождения, определить черты законченной картины?»[22] Ведь, помимо всего прочего, наиболее удаленное от историка во времени обычно и хуже всего известно и слабо отражено в источниках. Поэтому нередко для истолкования далекого прошлого надо обратиться к более близким временам и «бросить на предмет общий взгляд, который один только способен подсказать главные линии исследования»[23]. Блок широко пользуется «регрессивным», или «ретроспективным», методом, методом восхождения от известного к неизвестному (или от лучше изученного к изученному слабее), «прокручивая фильм в обратном порядке», что дает ему возможность затем построить связную картину исторического развития социально-экономических отношений во французской деревне с древнейших эпох вплоть до нового времени.

Так поступает он и при исследовании столь противоречивого института, как французский серваж, личная зависимость крестьянина от сеньора (то, что весьма неточно обозначают словом «крепостничество», — неточно, потому что западный серваж очень далек от русского крепостного права): он характеризует важнейшие черты и признаки серважа в период наибольшего его развития, в XI—XIII вв., а затем уже обращается к его корням и предпосылкам.

Подобно этому и книгу «Феодальное общество» Блок не начинает с «эмбриологического» исследования генезиса феодальных отношений или с выяснения обстоятельств, их породивших. От описания «среды», в которой функционировали «связи зависимости человека от человека», т. е. обстановки, созданной нашествиями арабов, венгров и норманнов[24], а также объективных и

[20] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 7.
[21] Ibid. P. 8.
[22] *Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957. С. 34—35.
[23] Там же. С. 32.
[24] Обратим внимание: не более ранними нашествиями германцев, покончивших с Римской империей и заложивших основу новой демографической

субъективных условий жизни средневекового общества он непосредственно переходит к анализу сложившейся феодальной системы, как он ее истолковывает, — системы вассалитета и фьефов. Изучение фьефа, рыцарского держания, с момента его возникновения — невозможно; сперва нужно рассмотреть его в эпоху развитого феодализма, ибо «вы не можете изучать эмбриологию, если не знаете взрослого животного» [25].

Однако, если Блок приступает к исследованию не с истоков, а с классической формы, которую приобретает определенный феодальный институт, то это не означает, что он вообще не интересуется его происхождением. Но он обращается к проблеме генезиса лишь тогда, когда чувствует себя достаточно для этого вооруженным знанием существа этого института.

Задолго до Блока был сформулирован научный принцип: для того чтобы понять сущность социально-исторического явления, необходимо исследовать его на той стадии развития, на которой с максимальной полнотой развернулись его основные признаки. Плодотворность этого принципа была продемонстрирована в «Капитале» при анализе капиталистического способа производства. Блок применил к исследованию общественного строя средневековья именно такой подход, и при обсуждении темы «Блок и марксизм» [26] необходимо учитывать, помимо конкретных его высказываний, применяемый им метод исследования социальных и экономических отношений. Вот не лишенное интереса свидетельство: как пишет один из наиболее авторитетных современных французских медиевистов, «молодые историки после 1945 г., внимательные читатели „Капитала", без колебаний или почти без них, приняли все методологические рекомендации Марка Блока» [27]. Не показательно ли в этом отношении и то, что в Англии плодотворность подходов школы Блока к проблемам истории маркеисты (Х. Хилл, Р. Хилтон, Э. Хобсбоум и другие) осознали скорее, нежели историки иных философских ориентаций?

Итак, объяснение природы социального организма заключается не в одних только поисках предшествующих состояний, но — прежде всего — в изучении его в той фазе, когда в наибольшей степени раскрываются содержащиеся в нем возможности. Исторической науке пришлось пройти длительный и мучительный путь, пока она усвоила эту истину. Правда, следует признать, что и ныне проблема сочетания этих двух подходов, которые можно обозна-

карты Европы, а именно последним натиском варварской периферии на очаги раннесредневековой цивилизации в VIII—XI вв.

25 Cambridge Economic History of Europe. Cambridge, 1941. Vol. 1. P. 224.

26 См. *Афанасьев Ю. Н.* Историзм против эклектики. Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980. С. 70 след.; *Далин В. М.* Историки Франции XIX—XX веков. М., 1981. С. 189 след.

27 *Bloch M.* Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien. Préface de Georges Duby. Paris, 1974. P. 13.

чить как генетический и структурный, порождает немалые трудности и продолжает возбуждать ожесточенные споры в науке.

Одной из характерных сторон Блока-историка было то, что он мыслил историческими структурами: представляя себе социальное образование в его целостности, на зрелой стадии развития, он вместе с тем стремился увидеть его в широких генетических связях. Специально изученное Блоком феодальное общество IX—XIII вв. было поставлено им в историческую перспективу, включавшую позднюю античность, с одной стороны, и новое время (вплоть до революции XVIII в.), с другой.

Блок не считает свою задачу выполненной, после того как он предложил истолкование существа социального строя и набросал историю его становления. Всякий раз, дав картину того или иного общественного института средних веков в его «законченной редакции», он стремится показать многообразие этого института в различных странах или областях одной страны. Не только для того, чтобы созданная им первоначальная картина не производила впечатления всеобщей распространенности и единообразия, но и по другой важной причине. Генерализация сопряжена с упрощением, выпрямлением, живая ткань истории куда сложнее и противоречивее. «Вне сомнения, участь всех систем человеческих институтов — никогда не реализовываться иначе, как в несовершенной форме»[28]. Последовательно сопоставляя обобщенную характеристику исторического явления с его вариантами, Блок обогащает ее, делает более гибкой и насыщенной конкретным содержанием. Вслед за главами о вассалитете и фьефе в книге «Феодальное общество» идет глава «Обзор европейского горизонта», в которой показана гетерогенность развития разных областей Франции и выявлена специфика вассально-феодальных связей в Италии, Германии, Англии, Испании и других странах. Выяснив существо французского серважа, Блок обращается к сопоставлению (и противопоставлению) его с формами крестьянской зависимости в Германии и в Англии.

Сравнительному методу Блок отводил особое место среди средств совершенствования исторических знаний. При помощи его можно обнаружить наиболее типичное, повторяющееся и закономерное. Компаративистика играет в работе историка роль эксперимента. Этот метод позволяет устанавливать такие связи между явлениями, которые невозможно найти иным путем[29]. Но в истории, по убеждению Блока, сравнительный метод служит, помимо типизации, также и индивидуализации: он приводит к лучшему пониманию предмета исследования как особенного, вскрывая черты, присущие отдельным институтам и обществам. История —

[28] *Bloch M.* La société féodale. P. 609.
[29] *Bloch M.* Pour une histoire comparée des sociétés européennes // *Bloch Marc.* Mélanges historiques. Paris, 1963. T. I. P. 16, 24.

наука об изменениях — есть вместе с тем, пишет Блок, и наука о различиях.

Блок считает необходимым сопоставлять не изолированные факты и институты, ибо такой поверхностный поиск аналогий легко может привести и приводит к ложным выводам, но именно целостные системы, социальные комплексы, в которые включены эти институты и от которых они получают свой смысл. Даже в тех случаях, когда, как кажется, Блок сравнивает отдельные феномены, такие, как французскую сеньорию и английский манор, две разновидности феодального землевладения, на самом деле он подвергает сопоставлению пути аграрного развития Франции и Англии.

Однако сравнение социальных систем представляет столь сложную задачу, что она не под силу одному ученому. Поэтому, поставив проблему «феодализм или феодализмы; единичность или множественность?», сам Блок отказывается ее разрешить. Он лишь указывает на возможность и плодотворность ее исследования и ограничивается беглым сопоставлением Европы и Японии, которое дало ему основание предположить типологическую близость европейского феодализма и общественного строя средневековой Японии [30].

От зрелой формы — к ее предпосылкам и истокам, от демонстрации магистральной линии развития — к выявлению вариантов и многообразия — таков путь рассуждений Блока. В результате создается картина внутренне связного и обладающего собственной логикой движения социального строя средневековой Европы.

Блок всегда мыслит большими масштабами. Эта масштабность неотделима от склонности ученого к обобщающим построениям. Вот каким утверждением открывается его книга «Характерные черты французской аграрной истории»: «В развитии науки бывают моменты, когда одна синтетическая работа, хотя бы она и казалась преждевременной, оказывается полезнее целого ряда аналитических исследований, иными словами, когда гораздо важнее хорошо сформулировать проблемы, нежели пытаться их разрешить» [31]. Блок хорошо знает, что книга, ставящая широкие проблемы и богатая обобщениями, неизбежно вызовет критику специалистов, что решения, которые такая работа может предложить, во многих случаях окажутся не более чем гипотезами («Впрочем, не следует ли всегда подразумевать, что в науке всякое утверждение является лишь гипотезой?»). Его это не смущает. Предлагаемые им гипотезы должны быть проверены специальными изысканиями, и даже если они будут в дальнейшем отвергнуты, они сослужат полезную службу, ибо стимулируют других исследователей. Поэтому нет и тени рисовки или унижения в словах Блока:

[30] *Bloch M.* La société féodale. P. 603, 610—612.
[31] *Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. С. 29—30.

«Если в тот день, когда благодаря более углубленным исследованиям мой очерк совершенно устареет, я смогу убедиться в том, что, противопоставляя исторической истине свои ошибочные предположения, я все же помог осознать эту истину, я буду считать себя полностью вознагражденным за свои труды»[32].

За десятилетия, прошедшие со времени появления трудов Блока, ряд его выводов в области аграрной и социальной истории, естественно, был модифицирован или пересмотрен в ходе дальнейшего развития науки. Но вместе с тем следует признать, что и поныне его общие построения обладают большой убедительностью и во многом остаются образцовыми. «Характерные черты французской аграрной истории» и «Феодальное общество» — классика медиевистики.

Картина феодализма, с которой Блок начинает свои рассуждения, не есть совокупность абстрагированных от живой действительности признаков: она приурочена к реальному пространству и историческому времени и опирается на свидетельства многочисленных источников. В дальнейшем ходе анализа эта характеристика уточняется и конкретизируется, обрастает новыми чертами, становится все более выпуклой и многомерной. Блок не идет по пути перечисления каких-либо общих признаков феодализма. Он предпочитает развертывать картину единой органической системы, компоненты которой связаны друг с другом. Феодализм, с его точки зрения, представляет собой определенную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных, политических, экономических и духовных институтов, функционировавших на территории Западной Европы на протяжении нескольких веков.

Самое примечательное то, что, порывая с традициями предшествовавшей историографии, которая ограничивала феодализм отношениями в среде одного лишь господствующего класса, Блок придает ему несравненно более всеобъемлющий характер, включая в это понятие отчасти и крестьянско-вотчинные отношения. Феодальное общество, по Блоку, не исчерпывается аристократическим фасадом, «благородными», — связи зависимости охватывают его сверху донизу. Правда, Блок настаивал, что сеньория, господское владение, основанное на эксплуатации зависимых крестьян, много старше феодализма в узком смысле, т. е. вассально-ленных отношений, и что она надолго переживает в дальнейшем эти отношения, просуществовав вплоть до буржуазных революций. Но в период между IX и XIII вв. в Западной и Центральной Европе ленный строй и сеньория объединяются в целостную систему. По мнению М. А. Барга, «феодализм мыслится Блоком... как строй общества, взятого в целом, сверху до низу, от короля до серва...» Для Блока, пишет этот советский исследователь, «фео-

[32] Там же. С. 30.

дализм — система всеобъемлющих общественных связей», что выгодно выделяет его концепцию феодализма из всех других теорий, разработанных западной историографией[33]. Эта система находится в постоянном становлении и изменении. Блок не ограничивается тем, что показывает ее предпосылки во Франкском королевстве и пережитки, сохранявшиеся в новое время, а намечает периодизацию внутри самой феодальной эпохи, выделяя два последовательных «феодальных периода».

Историк, стоящий на позициях исторического материализма, без труда заметит в этих построениях Блока неприемлемые для него положения. Историков-марксистов труды Блока по истории средневековой Европы привлекают прежде всего богатством ценных и тонких конкретных наблюдений и выводов. Особого же внимания заслуживает его оригинальная исследовательская методика.

IV

Метод историка находит свое выражение и в отборе источников, и в способе их интерпретации. Блок примыкает к ученым, решительно порвавшим с традицией старой историографии, которая читала историю прошлого вслед за хрониками. Обратимся к тому же Альфану. «Достаточно отдаться, так сказать, в распоряжение источников, читая их один за другим в том виде, как они дошли до нас, — писал он, — для того чтобы цепь событий восстановилась почти автоматически»[34]. Функция историка сводится по сути дела к роли пассивного регистратора единиц архивного хранения, пересказчика текстов.

Блок же сравнивает историка с судебным следователем. Подобно следователю, который не довольствуется версией обвиняемого и даже признаниями его, но ищет улики и старается раскрыть все обстоятельства дела, историк-исследователь тоже не полагается на одни лишь прямые высказывания источников, лежащие, так сказать, на поверхности. Он задает им все новые и новые вопросы. Вопросник, если он умно составлен, — «магнит для опилок документов», выделяющий из них существенное. Чтобы добыть историческую истину, необходимо максимально активное обращение с памятниками. «Всегда вначале — пытливый дух»[35].

Но это пытливый дух строгого ученого. Книги Блока богаты идеями и гипотезами. Однако он неизменно следовал им же сформулированному «закону честности, который обязывает каждого историка не выдвигать никаких положений, которые нельзя

[33] *Барг М. А.* Проблемы социальной истории в освещении современной западной медиевистики. М., 1973. С. 45, 48, 54, 76. Несколько иначе оценивает концепцию Блока Ю. Л. Бессмертный. См. *Бессмертный Ю. Л.* Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII—XIII вв. М., 1969. С. 321.

[34] *Halphen L.* Introduction à l'histoire. P. 50.

[35] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 26.

было бы проверить»[36]. А вот одно из многих применений этого «закона честности». Остановившись перед трудным вопросом социальной истории средневековья и не решаясь дать на него ответ, Блок заявляет: «Я прошу извинения у читателя, но бывают обстоятельства, когда исследователь должен первым долгом сказать: «Я не нашел». Здесь именно такой случай, когда нужно признаться в незнании; но это в то же время является призывом продолжать исследование...»[37].

Любой исторический памятник может стать источником важных сведений, если знать, как к нему подойти, какие вопросы задать. «Все, что человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, все, к чему он прикасается, может и должно давать о нем сведения»[38]. Исследование начинается не со «сбора материала», как часто воображают, а с постановки проблемы и с разработки предварительного списка вопросов, которые исследователь желает задать источникам.

Не довольствуясь тем, что обществу прошлого, скажем, средневековому, заблагорассудилось о себе сообщить устами хронистов, философов, богословов, вообще образованных людей, историк путем анализа терминологии и лексики сохранившихся письменных источников способен заставить эти памятники сказать гораздо больше, ответить на вопросы, которые интересуют современного исследователя, но от постановки которых само средневековое общество могло быть бесконечно далеко. Тем самым удается чрезвычайно углубить знания о прошлом.

Но дело не сводится к проникновению в особенности словаря изучаемой эпохи, — новые вопросы, которые исследователь ставит перед источниками, открывают в них новые, еще не исследованные пласты. Исторический источник в принципе неисчерпаем, — его познавательные возможности зависят от способности историков вопрошать их по-новому, подходить к ним с тех сторон, с которых ранее их не изучали.

«Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины. Без **своих** вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, конечно, вопросов серьезных, подлинных). При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и **открытую** целостность, но они взаимно обогащаются»[39]. Эти слова написаны в 1970 г. В 30-е—начале 40-х го-

[36] *Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. С. 38.
[37] Там же. С. 151.
[38] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 27.
[39] *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 335. В своей последней работе «К методологии гуманитарных наук» (1974) Бахтин прямо ссылается на М. Блока. См. там же. С. 370.

дов Блок был еще далек от понимания исторического познания как диалога культур, но неустанная его забота о повышении творческой активности историка, как кажется, в определенном смысле близка к подходу, сформулированному Бахтиным.

Блок не ограничивается призывом расширить круг источников и пересмотреть методику их изучения. Характернейшей его чертой как ученого и как личности (коль скоро такое разграничение вообще имеет смысл) было единство слова и дела, отвечавшее цельности его новаторской натуры. В своих статьях и книгах он дает предметный урок применения оригинальных методов отбора и трактовки исторических памятников и их обработки. «Если я убежден, что историку, равно как и любому исследователю, необходимо время от времени останавливаться, чтобы поразмыслить над своей наукой и лучше понять ее методы, то мне не менее ясно, что лучший способ проверить правильность избранного направления — это идти вперед»[40].

Мощно раздвигая рамки исторического исследования, Блок обнаруживает новые перспективы — под покровом феноменов, достаточно четко понимаемых людьми, лежат потаенные пласты глубинной социальной структуры, которая в конечном счете детерминирует изменения, происходящие на поверхности общественной жизни. Заставляя прошлое «проговориться» о том, чего оно не сознавало или не собиралось высказать, историк получает такие исторические свидетельства, которые обладают особой ценностью в силу большей своей объективности. В самом деле, источник, интерпретированный методами традиционной историографии, сообщает нам лишь то, что прошло через рефлексию его творца — историка, писателя, законодателя, нотариуса, и поэтому неизбежно окрашен его взглядами и интересами; он уже содержит истолкование фактов, о которых повествует. Когда же историку удается «подслушать» прошлое, а также когда он изучает всякого рода материальные предметы, он вступает в более непосредственный контакт с изучаемым им обществом и получает неотфильтрованные фрагменты подлинной исторической действительности.

Орудия труда, другие предметы, изучаемые археологией, карты и аэрофотоснимки древних полей, терминология источников, данные топонимики, фольклора, короче, все «остатки» прошлого — это опорные пункты для мысли исследователя. Знаковые системы, воплощенные в языке, или ритуалы образуют объективные, независимые от оценочных суждений связи, которые исследователь вскрывает, минуя посредника, так сказать, из первых рук. Мы познаем их сами. «Здесь нет надобности призывать в качестве толмача ум другого, — говорит Блок. — Вовсе неверно, будто историк обречен узнавать о том, что делается в его лаборатории, только с чужих слов. Да, он является уже тогда, когда опыт завершен.

[40] *Bloch M.* Seigneurie française et manoir anglais. Paris, 1960. P. 19.

Но если условия благоприятствуют, в результате опыта наверняка получится осадок, который вполне можно увидеть собственными глазами» [41].

Таким образом, ученый вполне способен получить нечто из истории в «чистом виде», помимо интерпретаторов прошлых времен. И это «нечто» совсем не так незначительно, как казалось когда-то. Прямые остатки минувших эпох не играли существенной роли в историческом познании до тех пор, пока историки сосредоточивались на политической истории, на рассказе о событиях. Но коль скоро предмет истории изменился и центр тяжести исследования сместился в область социальной истории, истории экономики, культуры, явлений массового сознания, реальные объекты прошлого, будь то орудия труда, формы поселений или языки, фольклор, приобрели новое значение. Это та чувственная реальность, к которой социальный историк может прикоснуться непосредственно и истолкование которой менее спорно, чем прямые высказывания источников, содержащие оценку событий их современниками и участниками. Блок в этом смысле противопоставляет свидетельства «намеренные» свидетельствам «ненамеренным», «невольным», отдавая предпочтение последним: «Только этим путем удалось восстановить целые куски прошлого: весь доисторический период, почти всю историю экономики, всю историю социальных структур» [42].

Иными словами, переоценка сравнительной важности разных видов исторических свидетельств тесно связана с переориентацией исторической науки. Переместив главное свое внимание с описания политических событий на изучение глубинных социально-экономических и культурных процессов, она обратилась к иным категориям исторических источников, которые по своей природе оказываются более достоверными, более точно и однозначно интерпретируемыми, чем источники, излюбленные традиционной историографией. «По счастливому единству... самое глубокое в истории — это также и самое в ней достоверное» [43].

Однако добыть это «достоверное» подчас исключительно трудно. В медиевистике в особенности. Вот пример. Вплоть до XIII в. почти все юридические документы, столь важные для социального историка, составлялись на латинском языке. «Но факты, память о которых они старались сохранить, первоначально бывали выражены не на латыни. Когда два сеньора спорили о цене участка земли или о пунктах в договоре о вассальной зависимости, они, по-видимому, изъяснялись не на языке Цицерона. Затем уже было делом нотариуса каким угодно способом облечь их соглашения в классическую одежду. Итак, — заключает Блок, —

[41] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 20.
[42] Ibid. P. 24.
[43] Ibid. P. 49.

всякая или почти всякая латинская грамота или запись представляет собой результат транспозиции, которую нынешний историк, желающий докопаться до истины, должен проделать снова в обратном порядке»[44].

За этой фразой скрыты огромные методические и исследовательские усилия, воодушевляемые стремлением установить контакт с сознанием людей средневековья, понять их мысли и намерения, зашифрованные в документах, написанных на языке, на котором эти люди не говорили и не думали. К сожалению, приходится признать: мало историков, ставящих перед собой подобную задачу и знающих, как ее решать, — в той мере, в какой она вообще разрешима. «Хорошо бы, — продолжает Блок, — если эта работа (перевод на латынь документа понятий, выраженных на народном языке. — *А. Г.*) совершалась всегда по одним и тем же правилам! Но где там! От школьного сочинения, язык которого неуклюже калькирует мысленную схему на народном языке, до латинской речи, тщательно отшлифованной ученым церковником, мы встретим множество ступеней»[45].

Это — один из «уроков метода», даваемых работами Блока. Его труды содержат немало убедительных опытов терминологического анализа, ведущего к более точному и глубокому постижению социальной действительности, скрывающейся за источниками.

Не будем останавливаться на примерах такого анализа, но не откажем себе в удовольствии вкратце изложить содержание маленького очерка о посвящении в рыцари, который мы находим в одной из глав II тома «Феодального общества»: это своего рода образец социального исследования обряда. Начиная с середины XI в. французские тексты все чаще упоминают действия, сопровождавшие вступление в число рыцарей: юношу опоясывают мечом, он получает от сеньора удар мечом плашмя по плечу, вскакивает затем на коня и поражает цель копьем. Существенным моментом этого акта считалось физическое соприкосновение посвящаемого юноши и посвящающего сеньора — таким путем один мистическим образом влияет на другого, так же как епископ — на посвящаемого им в сан священника. Блок сближает этот ритуал с инициациями молодых людей в примитивных обществах; несомненна связь его с древнегерманскими обычаями.

Констатацией подобной преемственности и ограничивались предшественники Блока. Для него же здесь проблема только начинается. Ибо «с изменением социальной среды соответственно изменилось и человеческое содержание акта»[46]. У германцев все свободные мужчины составляли войско, и посвящение юноши было лишь ритуалом вступления его в состав народа, тогда как в фео-

[44] *Bloch M.* La société féodale. P. 122—123.
[45] Ibid. P. 123.
[46] Ibid. P. 436.

дальном обществе складывается особая группа профессиональных воинов, в которую входят вассалы и сеньоры, и эта церемония превращается в форму вступления в класс. Однако в «первый феодальный период» рыцарство было классом только фактически. С середины же XI в. оно начинает оформляться, и рыцарский обряд становится своего рода посвящением, сопровождающим приобщение к сословию — ordo, подразделению, из которых, согласно божественному замыслу, состоит общество. «Но как в обществе, жившем под знаком сверхъестественного, ритуал вручения оружия, первоначально чисто светский, мог не получить сакрального отпечатка?» [47] И он действительно его получает: духовенство освящает оружие, рыцарь возлагает свою перчатку на алтарь, молитвы сопровождают обряд. Несколько позднее акт посвящения становится наследственной привилегией «благородных», и момент, когда об этой привилегии открыто заявляют, свидетельствует о ясном осознании рыцарями своей социальной обособленности в феодальном обществе. Рост классового самосознания дворянства в XII в. отражает вместе с тем изменения, которые происходили в обществе в целом, — обострение противоречий между феодалами и крестьянами, усиление горожан. Именно в этой обстановке господствующее сословие и ощутило потребность отгородиться от «низких» и простолюдинов. Таким образом, кристаллизация рыцарства находит свое выражение и в церемонии посвящения. Анализ социальной терминологии, ритуалов, которыми была насыщена жизнь средневекового общества, позволяет Блоку исследовать жизненную реальность [48].

Вспомним приведенные выше слова Альфана о том, что история вынуждена покорно копировать исторические свидетельства, не отступая ни на шаг от их буквы и полностью разделяя с ними их ограниченность. А вот как толкует эту зависимость Блок: «При нашей неизбежной подчиненности прошлому мы пользуемся по крайней мере одной льготой: хотя мы обречены знакомиться с ним лишь по его следам, нам все же удается узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть. Если браться за дело с умом, это великая победа понимания над данностью» [49]. Историческая наука — не «вечная и неразвивающаяся ученица» древних хроник, копирующая их оценки, но «все более отважная исследовательница ушедших эпох» [50].

[47] *Bloch M.* La société féodale. P. 438.

[48] Продолжая и углубляя анализ ритуалов вассальной зависимости, современный французский медиевист Жак Ле Гофф опирается на труды Блока, демонстрируя тем самым их плодотворность для современного исследования средневековой социальной символики. См.: *Le Goff J.* Le rituel symbolique de la vassalité. // *Le Goff J.* Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais. Paris, 1977. P. 349—420.

[49] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 25.

[50] Ibid.

V

Настоящий историк похож на сказочного людоеда: «Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча»[51]. Общественный человек, человек в социальной группе, в обществе — таков предмет исторического исследования. Блок протестует против искусственного расчленения человека на homo religiosus, homo oeconomicus или homo politicus — история призвана изучать человека в единстве всех его социальных проявлений. Общественные отношения и трудовая деятельность, формы сознания и коллективные чувства, правотворчество и фольклор — в этих ракурсах выступает человек в работах Блока. Изучение техники, экономики, сельского пейзажа, политических или правовых учреждений не должно скрывать людей, которые их создали или на них воздействовали и использовали. «Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции»[52]. История призвана охватить общественную жизнь людей в ее полноте, в их взаимосвязях, со всех сторон.

Иронизируя над эрудитами, «для которых крестьянин прошлого существует лишь для сочинения удобных юридических диссертаций» («Их крестьяне, — поддерживает эту мысль Февр, — обрабатывали только картулярии, притом хартиями вместо плугов»[53]), Блок настаивал на том, что человек давних времен не должен оставаться «пустым фантомом». Историк стремится к точности изображения изучаемой им эпохи. Но «быть точным — значит быть конкретным». Обнаруживаемые в средневековых документах крестьяне, утверждал Блок, «должны предстать существами из плоти и костей, которые работают на подлинных полях, испытывают настоящие трудности. Их сознание, зачастую темное для нас, как, несомненно, и для них самих, тем не менее дает историку великолепный сюжет для исследования и воскрешения»[54].

Блоку были близки слова Мишле: «История — это воскрешение». Писать историю, в которой действуют живые люди, — таково требование, трудно выполнимое, но императивное. Как этого добиться?

Прежде всего, по мнению Блока, необходимо по возможности изучить среду, в которой существовали люди: природные условия, средства коммуникации, обмен, состояние техники. «Наивно претендовать на понимание людей, не зная, как они себя чувствовали»[55]. Историк не может не поставить вопросов о плотности населения в изучаемую эпоху, о продолжительности жизни, физическом состоянии человека, о гигиенических условиях, в которых

[51] Ibid. P. 4.
[52] Ibid.
[53] В кн.: *Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. С. 25.
[54] *Bloch M.* Les caractères originaux..., t. II. P. XXVII.
[55] *Bloch M.* La société féodale. P. 115—116.

он жил. Новый для исторической науки вопрос — человеческая чувствительность. «Взрывы отчаяния и ярости, безрассудные поступки, внезапные душевные переломы доставляют немалые трудности историкам, которые инстинктивно склонны реконструировать прошлое по схемам разума; а ведь все эти явления существенны для всякой истории и, несомненно, оказали на развитие политических событий в феодальной Европе большое влияние, о котором умалчивают лишь из какой-то глупой стыдливости»[56].

Мыслители прошлого исходили из уверенности, что во всех перипетиях истории в ней оставалось нечто неизменное — человек. Историки охотно рядили своих современников в костюмы разных периодов, приписывая людям иных эпох собственные способы восприятия мира и реакции на социальное и природное окружение. Наука нового времени приходит к противоположному выводу: человек изменчив, в частности изменчива его психика. Наука коллективная психология, добившаяся немалых успехов как раз во Франции, оказала на Блока и Февра значительное влияние. В истории чувств и образа мышления они видели свои «заповедные угодья» и увлеченно разрабатывали эти темы.

Не показательно ли, что одна из ранних монографий Блока специально посвящена анализу массовой психологии средневековья? В книге «Короли-чудотворцы» Блок прослеживает возникновение и историю веры населения Франции и Англии в чудодейственную силу своих монархов. Король — наместник бога, получивший помазанье церкви, обладал в глазах своих подданных чудесным даром, с помощью которого мог простым прикосновеньем исцелять больных золотухой. Исследование Блока затрагивает широкий комплекс проблем: веру в сакральную природу королевской власти, убеждение в силе магии, коллективные представления, которые оказываются устойчивыми на протяжении многих веков: в Англии эта вера продержалась вплоть до начала XVIII века, во Франции — до конца первой четверти XIX века. «Суеверие», «предрассудок», «заблуждение» — эти квалификации (от которых не свободна книга молодого Блока) ничего не объясняют, и для постижения подобных социально-психологических феноменов потребовался понятийный аппарат социологии и истории религии. Комплексное изучение ритуала, символов, верований, фольклора наметило тот путь, по которому пошла историческая антропология (как склонна называть себя ныне отрасль исторического знания, сосредоточивающаяся на всестороннем анализе человека в обществе). Перед нами в данном случае (а таких или сходных явлений история средневековья знает немало) — не идеи «в чистом виде», не плод внушения церковью «простецам» выгодных ей верований, а проявление коренных установок коллектив-

[56] Ibid. P. 117.

ного сознания, которые на определенном этапе были использованы монархией и духовенством в собственных целях.

Устарела ли книга Блока, со времени появления которой минуло более шести десятков лет? Недавно во Франции было осуществлено ее переиздание. В своем обстоятельном предисловии Жак Ле Гофф демонстрирует значение труда Блока для дальнейших исследований социально-психологических аспектов истории. Он указывает, в частности, на то, что в этом труде уже содержатся наметки теории «времени большой длительности», впоследствии разработанной Фернаном Броделем. В самом деле, предмет исследования Блока — верования, столетиями сохранявшие свою силу, ибо ментальность изменяется чрезвычайно медленно. Блок придерживался мнения, что обычай исцеления королями золотушных был зафиксирован уже в XII веке, но недавние исследования Ф. Барлоу и Ж. Ле Гоффа внесли в этот тезис коррективы: доказанным можно считать его существование с середины XIII века[57]. В любом случае перед нами явление, обнаружившее огромную устойчивость и исчезнувшее, собственно, вместе со средневековьем.

К столь широкому и интенсивному изучению ментальностей, какое было предпринято в «Королях-чудотворцах», Блок впоследствии не возвращался, сосредоточив свои научные интересы на вопросах социальной и аграрной истории средневековой Европы. Однако в его наиболее капитальном труде «Феодальное общество» содержатся очерки, посвященные «особенностям чувств и образа мыслей» в первый период средневековья, и здесь Блок останавливается на отношении человека к природе и ко времени, на религиозности, коллективной памяти, эпосе и праве — на ряде черт человеческой ментальности, рассматривая их в тесной связи с анализом социальной структуры и основ материальной жизни[58].

Отказ Блока в более зрелый период его творчества продолжить исследования в области ментальности, по мнению Ле Гоффа, в немалой мере был вызван холодным приемом «Королей-чудотворцев» средой историков, большинство которых тогда еще не было подготовлено к такого рода постановке вопроса. Ныне представители «новой исторической науки» во Франции и в других странах, которые считают Блока основоположником исторической антропологии, ссылаются в первую очередь на его «Королей-чудотворцев», труд, возникший в Страсбурге в обстановке интенсивных интеллектуальных контактов и дискуссий со специалистами разных гуманитарных дисциплин.

Проблема социальной психологии имеет существенное значение для исторической науки. И вовсе не потому, что она, как

[57] *Barlow F.* The King's Evil. // English Historical Review. 1980. Vol. 95. N 374. P. 3—27; *Bloch M.* Les rois thaumaturges. Préface de J. Le Goff. Paris, 1983. P. XIII.

[58] См. Приложение. С. 135—181.

иногда представляют, помогает «оживить» прошлое. Не принимая ее во внимание в должной мере, историк рискует впасть в «самый непростительный из всех грехов» — в анахронизм, приписав людям других времен и другой культуры, нежели та, к которой принадлежит сам историк, несвойственные им эмоциональные установки и нормы поведения. Общественное поведение — важнейшая категория социологии и социальной психологии, до того по существу не проникавшая в историческую науку. Homo sapiens пропускает через фильтры своего сознания весь мир, в котором живет и действует. Поскольку же мир этот исторически изменчив, то изменчиво и сознание людей. Оно детерминировано всем строем общества, его культурой, религией, господствующими нравственными нормами. Человек — член социальной группы, которая в значительной мере моделирует его сознание и определяет его поступки.

Но проблему сознания приходится понимать достаточно широко. Блок замечает, что заблуждаются те историки и психологи, которые обращают внимание только на «ясное сознание». «Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны». Это — совершенно ошибочное мнение, и «мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме осознанных мотивов»[59]. Помимо всего прочего, историку нередко приходится сталкиваться с «представлениями, сопротивляющимися всякой логике»[60].

Интерес Блока к явлениям ментальной жизни масс был чрезвычайно устойчив. Во время первой мировой войны, находясь на фронте, молодой Блок наблюдал своеобразный феномен: распространение слухов в условиях господства устного слова, созданных контролем военной цензуры и как бы возродивших определенные аспекты атмосферы того далекого прошлого, когда письменная информация оставалась достоянием немногих, — урок, по его словам, очень поучительный для медиевиста[61]. Это наблюдение Блока, который и на войне не переставал быть историком, способствовало его пониманию природы распространения сведений в обществе, где «царил старик Наслышка» и где единственно возможной или, по крайней мере, единственно надежной была устная передача информации. В таком обществе воздействие баснословного на человеческое сознание было несравненно более мощным, чем в обществе с развитыми средствами коммуникаций, — в последнем атмосфера, благоприятная для размножения ложных слу-

[59] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 101, 102.
[60] *Bloch M.* La Société féodale. P. 525.
[61] *Bloch M.* Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. // *Bloch M.* Mélanges historiques. T. 1. P. 41—57; *Idem.* Souvenirs de guerre 1914—1915. Paris. 1969.

хов, складывается преимущественно в особых, временных ситуациях. В средние века граница между явной выдумкой и истиной проходила не там, где она проходит в новое время, свидетельство тому — вера в фальшивки, мощи, чудеса, знамения, легенды и т. п. Но это обстоятельство — один из факторов, порождавших всякого рода напряженные коллективные психические состояния (паники, массовые психозы, эпидемии покаяний, самобичеваний, охота на ведьм и т. п.) и повышенную неустойчивость человеческой психики.

Структура феодального общества, строй его экономики, вся сумма материальных условий жизни, включая и отношение к природе людей средневековья, равно как и господство религии в духовной жизни, порождали, как показывает Блок, особое восприятие времени, а последнему соответствовали специфические формы коллективной памяти — исторические знания, эпос, обычное право. Противоречивость выражений даже в юридических документах, связанная с билингвистическим дуализмом (латынь — универсальный язык письменности — противостояла множеству нефиксированных и текучих народных говоров), неточность счета, отсутствие стандартизированных мер, расплывчатость в определении времени — черты, резко отличающие средневековую цивилизацию от современной. Все они отражают особенности сознания людей феодальной эпохи.

Изучая религиозную жизнь средневекового общества, Блок, вопреки традициям старой историографии, подчеркивает не господство благочестия, а глубокую противоположность между официальным богословием и подлинными народными верованиями и суевериями, подчас не имевшими ничего общего с христианской теологией. Такая постановка вопроса объясняется тем, что свое внимание исследователь обращает прежде всего не на теории, подчас весьма далекие от жизни, а на «направления мысли и чувства, влияние которых на социальное поведение было, по-видимому, особенно сильным» [62]. Внушаемый церковью страх перед адом — «один из великих социальных фактов того времени» [63].

Культурные идеалы и ценности неразрывно слиты в представлении Блока с социально-экономическими институтами. Идеалы порождаются общественной практикой, но одновременно они и оказывают на нее свое воздействие, тем самым включаясь в нее. Нормой поведения рыцаря была щедрость, тогда как стяжание богатств и скопидомство презирались как признаки простолюдинов. «Широта натуры» феодала временами доходила до безудержного расточительства и уничтожения материальных ценностей. В книге «Феодальное общество» Блок приводит яркие иллюстрации подобного поведения членов благородного сословия, которые «из самохвальства» сжигали свои конюшни вместе с дорогостоящими ло-

[62] *Bloch M.* La société féodale. P. 130.
[63] Ibid. P. 135.

шадьми, засевали поле серебряными монетами и топили кухню восковыми свечами. Такие экстравагантности, естественно, не были нормой, но они ценны для историка как крайние проявления психологии феодала, стремившегося утвердить свой престиж в глазах окружающих, утрируя требования рыцарской этики. Они проливают свет на человеческую личность, поставленную в исторически определенные условия, в силу которых оценка ее собратьями по классу имеет в ее же глазах бо́льшую силу, чем собственная оценка (вернее, последняя целиком зависит от «общественного мнения»). Природа понятия чести — одна из «демаркационных линий между человеческими группами».

Конституирование общественного класса, пишет Блок, сопровождается формированием специфического классового самосознания. Поэтому историк не может пройти мимо проблем идеологии и социальной психологии [64].

Блок придавал исключительное значение истории крестьянства. Но история сервов, по его убеждению, не может ограничиваться установлением их социально-экономического и юридического статуса и его трансформации, изучением их повинностей, материального положения, способов возделывания земли и т. д. Это также история определенного коллективного понятия, а именно — личной свободы и ее утраты. Изучение диалектики категорий свободы и несвободы — важный ключ к пониманию социальной действительности средних веков [65].

Общественные институты порождают стереотипы мышления и чувств. Вот пример «вездесущности вассальных чувств». Рыцарь выражает свое любовное влечение к прекрасной даме в понятиях, заимствованных из феодального словаря. И этот сдвиг значения — не чисто словесный: «Смешение любимого существа с сеньором соответствовало ориентации коллективной морали, присущей феодальному обществу» [66].

В целом ряде случаев Блоку удается нащупать, как различные течения исторической жизни «сходятся мощным узлом в сознании людей» [67]. Но из этого не следует, что общество утрачивает свою материальность и превращается в продукт сознания людей и что человеческая мысль и чувства — единственная подлинная историческая действительность. История человеческого сознания отнюдь не оторвана от социального развития; как показывает сам же Блок, она непосредственно в него включается, представляя его существенную сторону, мимо которой исследователь не может проходить, ибо ничто в человеческой истории не минует сферы мыслей, представлений, эмоций и все получает от этой сферы опре-

[64] *Bloch M.* La société féodale. P. 425, 432—433.
[65] *Bloch M.* Liberté et servitude personnelles au moyen âge. // *Bloch M.* Mélanges historiques. T. I.
[66] *Bloch M.* La société féodale. P. 430, 327—328.
[67] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 79.

деленную окраску. В доказательстве этой идеи — важная заслуга Блока.

Сближение исторической науки с социальной психологией, взаимопроникновение обеих дисциплин — несомненное завоевание наук о человеке. Общественные процессы — единство объективного и субъективного, и именно в качестве этого единства они должны быть изучены. Под влиянием Блока и Февра проблемами социально-исторической психологии занялся ряд историков. К настоящему времени медиевистами и исследователями истории XVI—XVIII вв. уже проделана значительная и многосторонняя работа; перспективность подобных исследований бесспорно доказана [68].

В трудах Блока, Февра и их последователей нередко встречается понятие mentalité. Оно заимствовано, вероятно, из сочинений известного этнолога и социолога Л. Леви-Брюля. Но Леви-Брюль писал о «пралогическом мышлении» дикарей, и Блок и Февр, несомненно, не вкладывали в термин подобного же значения. Они обозначают этим емким и непереводимым однозначно на русский язык словом то «умонастроение», то «умственные способности», то «психологию» и «склад ума», а может быть, и весь тот комплекс основных представлений о мире, при посредстве которых человеческое сознание в каждую данную эпоху перерабатывает в упорядоченную «картину мира» хаотичный и разнородный поток восприятий и впечатлений; в таком случае французское слово mentalité по смыслу приближается к русскому «мировиденью». Современные французские историки говорят в этой связи, вслед за Февром, об outillage mental, «умственном инструментарии», «психологическом оснащении», имея в виду, что оно не остается неизменным в ходе истории, но видоизменяется, перестраивается вместе с общественной структурой.

Сложность изучения психики людей прошлого заключается прежде всего в неразработанности научной методики подобного исследования. Блок был чужд импрессионистическому подходу к истории и не разделял надежд тех историков, которые уповали на свою способность «вживаться» в эпоху, «проникнуться» мыслями и чувствами людей, канувших в Лету. История для него — ремесло, требующее точных и объективных приемов обработки материала. По его убеждению, одним из эффективнейших средств постижения склада ума и мировиденья людей средних веков является анализ их языка. Человеческая мысль не оторвана от способов поведения людей, но органически входит в них и поэтому

[68] Подробнее см.: *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972 (2-е изд. 1984); *Он же.* Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981; *Он же.* Этнология и история в современной французской медиевистике. // Советская этнография, 1984. № 5; Идеология феодального общества в Западной Европе: Реф. сб. М., 1980; Культура и общество в средние века: Реф. сб. М., 1982.

может быть обнаружена исследованием исторической семантики.

Работая над письменными памятниками, историк сталкивается с языком, на котором писали и говорили люди исследуемого общества. Нет другого способа постичь их мир, помимо расшифровки тех знаковых систем, при посредстве которых они его выражали. Но ученый погружается в стихию исторической лексики не для того, чтобы бездумно следовать ей и оказаться у нее в плену. Он знает, что «появление слова — это всегда значительный факт, даже если сам предмет уже существовал прежде; он отмечает, что наступил решающий период осознания»[69]. Поэтому исследователь стремится вскрыть смысл, который вкладывали люди изучаемой им эпохи в свои слова и формулы, и пытается «исторгнуть у них сведения, которых они не собирались давать»[70].

В смене терминологии, в насыщении старых, по традиции переходящих из поколения в поколение слов и выражений новым смыслом (как убедительно демонстрируют работы Блока, такие смысловые смещения, «семантические мутации», как правило, совершаются исподволь, незаметно для применяющего данный язык общества) отражаются изменения общественных институтов и «потрясения систем социальных ценностей»[71]. Терминологический анализ позволяет прикоснуться к «коллективному бессознательному», лишенному у Блока какой бы то ни было мистичности. Достаточно указать на то, что этот анализ дал ему возможность перейти от формулировок litterati, в которых воплощались официально признанная мудрость и идеи высших слоев общества, к выявлению социально-психологических установок народных масс, лишенных возможности выразить свои настроения и взгляды непосредственно в источниках. Впервые это «молчащее большинство» средневекового общества заговорило собственным языком на страницах исторического исследования; контакт с ним Блоку удалось установить благодаря новой методике изучения исторической семантики. Ученому дороги не одни только сознательно применявшиеся в средние века понятия, отлившиеся в строгие и законченные формулировки, но и такие ненароком встречающиеся в источниках слова и выражения, которые «симптоматичны в силу своей наивности»[72].

Изучение коллективной психологии людей прошлого означает распространение принципа историзма и на сознание человека, который по природе своей является «великой переменной величиной»[73].

[69] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 85.
[70] Ibid. P. 40.
[71] *Bloch M.* La société féodale. P. 364.
[72] Ibid. P. 469.
[73] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 103.

VI

Для того чтобы понять место Марка Блока во французской историографии (впрочем, только ли во французской? — Влияние его работ ныне охотно признают ученые разных стран)[74], мало прочитать «Апологию истории» и даже все другие его книги и статьи. Сам Блок главную задачу видел не в том, чтобы создать те или иные исследования, сколь бы важным проблемам ни были они посвящены, — смысл своей научной деятельности он усматривал в преобразовании исторической науки, обновлении ее проблематики и методов.

У него, как и у Люсьена Февра, вызывало глубокую неудовлетворенность состояние историографии. «Событийная история», «историзирующая история» — так не без иронии именовали они те труды, которые были посвящены главным образом политическим событиям и игнорировали глубинные процессы, порождавшие эти события. «Традиционная историография» работает по преимуществу аналитически, чураясь синтеза: историки выделяют отдельные вопросы и изучают их изолированно от общего движения истории; интересуясь обособленными и неповторяющимися фактами, это направление неспособно совместить «качественную историю» с «историей количественной». Получаемые таким образом частные результаты, сколь бы ценными они ни были, нередко не включаются в картину исторического развития общества в целом, цивилизации, всемирной истории. Во всяком случае, подобная опасность вполне реальна.

[74] *Perrin Ch.-E.* L'oeuvre historique de Marc Bloch // Revue Historique. 1948. T. 199; *Dollinger Ph.* Nôtre maître Marc Bloch. L'historien et sa méthode. // Revue d'histoire économique et sociale. 1948. Vol. 27. N 2; *Walker L., Bloch Marc.* Feudal Society // History and Theory. 1963. Vol. III. N 2; *Born K. E.* Neue Wege der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Frankreich: Die Historikergruppe der Annales // Saeculum. 1964. Bd. 15. H. 3; *Ginzburg C.* A proposito della raccolta dei saggi di Marc Bloch // Studi medievali. 1965. 3e sér. VI, 1; *Wüstemeyer M.* Die Annales: Grundsätze und Methoden ihrer neuen Geschichtswissenschaft // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1967. Bd. 54. H. 1; *Ginzburg C.* Prefazione. // *Bloch M.* I re taumaturghi. Torino, 1973; *Duby G.* Préface. // *Bloch M.* Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien. Paris, 1974; *Mairet G.* Le discours et l'historique. Paris, 1974; *Schmitt J.-C.* Bloch (Marc) // La nouvelle histoire. Sous la direction de J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978. P. 79—82; *Colbert R.* Emile Durkheim and the Historical Thought of Marc Bloch. // Theory and Society. 1978. Vol. 6. N 1. P. 45—73; *Burke P.* Reflections on the Historical Revolution in France: The Annales School and British Social History. Review. 1978. Vol. I. 3/4. P. 147—156.

В июне 1986 г. в Париже состоялась международная конференция по случаю столетнего юбилея Марка Блока.

«Апология истории» вышла в переводе на русский язык впервые в 1973 г. Существует перевод на эстонский язык. *Bloch Marc.* Ajaloo apoloogia ehk Ajaloolast amet. Tallinn, 1983. Книга переведена также на итальянский, английский, испанский, португальский, немецкий, польский, чешский языки.

В противовес этой «истории на коротком дыхании», затрагивающей, собственно, лишь «рябь на поверхности», Блок и Февр выдвигали идеал истории массовых явлений, которая ставила бы широкие проблемы и привлекала самые разнообразные исследовательские средства для их решения. Такая наука не может ограничивать себя узкими временны́ми рамками, так как процессы, которые стоят в центре ее внимания, охватывают целые эпохи, большие отрезки исторической эволюции.

Постановка подобных задач перед историческим знанием требует мощного расширения его горизонта. Если история не может сводиться к повествованию о событиях и исторических личностях, то в круг ее рассмотрения необходимо включить целый ряд новых тем. Таковы прежде всего проблемы «человеческой географии», «геоистории»: речь идет не просто об изучении природных условий, в которых живет человек и которые, во многом определяя образ его существования, подвергаются вместе с тем его меняющемуся воздействию, но о систематическом рассмотрении природной среды как компонента социально-исторической эволюции (при этом Блок и Февр решительно выступали против географического детерминизма); следовательно, необходимо укрепление сотрудничества между исторической наукой и географией. История техники, равно как история хозяйства, должна быть объединена с социальной историей, от которой она обычно была оторвана в прежней историографии. Аграрный строй средних веков, системы полей, способы их обработки, трудовая деятельность человека в различные периоды, история труда, движения цен и заработной платы — все это важные темы исторического исследования. Здесь вступают в силу методы количественного анализа, позволяющие выявить объективные тенденции экономической или демографической эволюции.

Социальная структура... Старая историография имела обыкновение подменять ее исследование описанием правовых категорий, не желая видеть за ними движения реальной общественной жизни и ее противоречий. В центре внимания историка, провозглашали Блок и Февр, должны находиться человеческие группы, от малых — например, семья в различных ее формах, и до больших — классов, обществ, цивилизаций. Должны быть вскрыты те силы, которые объединяют людей в группы: способ их хозяйственной деятельности, родство, связи зависимости, форма организации, наконец, присущий этим группам способ восприятия мира, духовная жизнь. «Я не вижу пропасти между социологом и историком», — писал Блок[75]. Для изучения социальных структур мало выяснить юридические отношения, здесь потребны и совершенно иные подходы, в том числе антропологический и социально-психологический. При подобной постановке проблем даже история искусства

[75] Revue Historique. 1934. T. 173. P. 4.

или литературы оказывается не специальной дисциплиной, обособленной от истории как таковой, а срезом все той же социальной реальности, способствующим раскрытию мышления людей данной эпохи и, следовательно, проливающим свет на их поведение. При этом, естественно, памятники искусства и литературы, отражающие коллективные представления и идеи, фольклор, данные этнографии, мир ритуалов и жестов, приобретают особую важность для историка культуры, который не ограничивает своего кругозора лишь «вершинами», фиксируя идеи и достижения выдающихся творцов, но обнаруживает вместе с тем и прежде всего формы массового сознания — такие, как «образ чувств и мыслей», широко распространенные и вульгаризированные религиозные представления, коллективную память, отношение к природе, восприятие времени и т. п. Это именно те вопросы, которые обходили стороной представители традиционной историографии.

Обращение Блока к проблемам общественной психологии, таким образом, непосредственно связано с пристальным его интересом к социальной истории, к анализу общественных структур, неотъемлемым параметром которых он считал формы сознания и мировосприятия, присущие входившим в них людям. То, что принято называть субъективным планом исторической жизни, включается в план объективного функционирования общества: общественное сознание во всех его формах рассматривается в качестве одной из детерминант человеческого поведения и, следовательно, приобретает значение для понимания жизни социального целого и его частей.

В конечном счете преобразование исторического знания, намеченное Блоком и Февром, было направлено на преодоление разобщенности социальных наук, на объединение всех отраслей истории вокруг общей цели. Из частной гуманитарной дисциплины, одной из многих, занимающихся человеком, историческому знанию надлежит превратиться во всеобъемлющую науку об общественном человеке. Для этого историки должны сотрудничать с географами и экономистами, социологами, этнографами и психологами, искусствоведами, лингвистами и историками литературы, историками науки и техники и статистиками. Необходимо изучать историю с самых разных точек зрения, и прежде всего с точки зрения экономической и социальной, с тем чтобы получить широкий синтез.

Блоку и Февру виделась история, которая не числилась бы по разряду «изящной словесности» (belles lettres), а могла бы по праву называться наукой (science)[76]. Продолжатель дела Февра и Блока — крупный современный историк Фернан Бродель — повторил по существу ту же мысль: «Я настаиваю: могут быть раз-

[76] *Febvre L.* Combats pour l'Histoire. Paris, 1953. P. 20.

личные истории, но лишь одна-единственная — научная история»[77].

Историю прошлого, подчеркивали Блок и Февр, невозможно отрывать от современности, ибо современность только и может дать верный взгляд на прошлое — не в том, разумеется, смысле, что историк подтягивает минувшие эпохи к своему времени и модернизирует их (напротив, Блок неустанно предостерегал против опасности переноса понятий, применяемых в новое время, на другие общества и периоды), а в том, что именно современность ставит перед историком проблемы, подлежащие изучению, и открывает его взору историческую перспективу во всей глубине. Пониманием этой связи настоящего и прошедшего подлинный историк отличается от антиквара.

Таковы принципы, провозглашенные Блоком и Февром на страницах журнала «Анналы», основанного ими в 1929 г. Уже при зарождении журнала они выразили намерение бороться «против разграничений и замкнутости, которые разделяют, искажают, изолируют историю», обособляя отдельные периоды и специальные исторические дисциплины[78]. С этих пор и вплоть до начала II мировой войны Блок постоянно сочетал интенсивную исследовательскую и преподавательскую деятельность с руководством журналом. В «Анналах» им было опубликовано немало статей и огромное число рецензий, обзоров, редакционных заметок и других материалов, которые при необычайном разнообразии сюжетов объединены мыслью редактора-ученого, неуклонно и целеустремленно осуществлявшего свои планы. Людей, лично знавших Блока, покоряли его энергия, богатство идеями, которыми он щедро делился с коллегами и учениками, готовность помочь другим, его способность одновременно охватить прошлое и современность. «Анналы», по выражению одного историка, были мастерской Блока, в широкие окна которой он охотно позволял заглянуть[79].

«Анналы» — любимое детище Блока и Февра, трибуна, с которой их голоса были слышны особенно отчетливо. Поддерживая в историографии все новое, отвечавшее их взглядам, редакторы «Анналов» резко критиковали традиционную «историзирующую историографию» за отсутствие свежих идей, рутинность в подходе к материалу. Скрупулезный историк, враг схематизма и голого социологизирования, Блок настаивал на том, чтобы историческая наука выдвигала актуальные проблемы: «Чем больше проблемы будут господствовать над фактом, тем больше наши исследования приблизятся к тому, что является в социальных науках подлинной задачей истории»[80].

77 Annales. Economies, sociétés, civilisations. 1961. Vol. 16. P. 499.
78 Annales d'histoire économiquetet et sociale, N 1, 1929, P. 1—2.
79 *Debien G.* Marc Bloch and Rural History. Agricultural History. 1947. Vol. 21, N 3. P. 188.
80 Annales d'histoire sociale, 1940/1941. P. 161.

К сожалению, недостаточное знакомство Блока и Февра с марксизмом и марксистской историографией изолировало их от наиболее плодотворного направления научной мысли современности и вынуждало идти ощупью там, где давно уже были выдвинуты и разработаны методологические основы общественных наук. Поэтому при несомненной прогрессивности взглядов выдающихся французских историков они и их журнал не были свободны, как мы увидим, от некоторых серьезных методологических изъянов.

«Анналы экономической и социальной истории» (1929—1938), «Анналы социальной истории» (1939—1941), непериодические «Сборники по социальной истории» под редакцией Февра в годы немецкой оккупации, наконец, «Анналы. Экономика, общества, цивилизации» (с 1945) — эти изменения в названии журнала отражают поиски его руководителями наиболее адекватного выражения программы, которую провозглашали и стремились осуществить Блок и Февр, а вслед за ними и Бродель и нынешняя редакция журнала. Множественное число, в котором в теперешнем названии употреблены термины économies, sociétés, civilisations, указывает на то, что журнал освещает все эпохи истории и самые различные культуры и общества, от древнейших до современных.

«Анналы» — не просто один из многочисленных исторических журналов. Он занимает среди них особое место. Главное, чем выделяются «Анналы» из ряда других западных периодических изданий по истории, — это именно неуклонное проведение в жизнь кратко сформулированного выше замысла: преобразование и совершенствование исторического метода и исторического знания. Отсюда повышенный интерес к общим вопросам, к работам, по-новому освещающим историю или представляющим собой попытки синтеза; отсюда же и пристальное внимание к проблемам, возникающим на «стыке» истории и других научных дисциплин. Отличает журнал живость, мы бы сказали, изящество стиля, которыми он, вне сомнения, обязан своим создателям: Блок и Февр были не только выдающимися историками, самыми крупными во Франции нашего столетия, но и прекрасными стилистами, продолжавшими в этом смысле лучшие традиции французской культуры. Литературный стиль «Анналов», конечно, выражает прежде всего стиль мышления, присущий Блоку, Февру и их сотрудникам. Широта кругозора и смелость в постановке проблем плохо мирятся с «академическим», тяжеловесным изложением, характерным для столь многих сочинений по истории. Ознакомившись с образцами работ Блока, читатель может составить себе известное представление и о стиле «Анналов» [81].

81 Скрупулезно точный во всех ссылках на источники и литературу, свидетельствах честности и добросовестности ученого, Блок вместе с тем был

Нередко говорят о «школе „Анналов"», имея в виду общность взглядов на историю и на задачи исторической науки, присущих как Блоку и Февру, так и историкам, которые примкнули к ним или продолжили созданную ими традицию. Однако сами основатели журнала категорически отрицали существование такой „школы": понятие „школы", по мнению Блока, предполагает „дух хора", решительным протестом против которого является самое существование „Анналов". Они предпочитали говорить о духе „Анналов" или о группе „Анналов", о „новой исторической науке".

Ныне, пожалуй, особенно трудно относить историков, группирующихся вокруг „Анналов", к единому научному направлению, с общностью теории, методологии, подходов к изучению истории. Наряду с учеными, прежде всего медиевистами и „модернистами" (специалистами по истории Европы XVI—XVIII вв.), которые придерживаются Блоковской программы „глобального" изучения социальной и ментальной истории и разрабатывают проблемы исторической антропологии (Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, Э. Леруа Ладюри, Ж.-К. Шмитт, Р. Мандру, П. Тубер и другие), к группе „Анналов" принадлежат и историки, далеко отошедшие от заветов „дедов" и „отцов" журнала. Достаточно упомянуть недавнее выступление Ф. Фюре, который поставил под сомнение по существу все главные темы „школы", включая „глобальную" (или «тотальную») историю и изучение ментальностей[82].

И все же, несмотря на значительные сложности и противоречия, можно констатировать существование течения в западной историографии (не в одной Франции, но и в других странах), представители которого в той или иной мере испытали на себе влияние идей „Анналов" и разделяют, а подчас и развивают дальше взгляды, в свое время сформулированные Блоком и Февром[83]. Воздействие этих взглядов на историков Запада осуществляется не только через журнал, но и через парижскую „Школу высших исследований в социальных науках" и „Центр историче-

против загромождения страниц книги научным аппаратом, нередко прикрывающим скудость или банальность собственной мысли автора.

[82] *Furet F.* L'atelier de l'histoire. Paris, 1982; *Idem.* I metodi delle scienze sociali nella ricerca storica e la «storia totale». // La teoria della storiografia oggi. Milano, 1983, p. 117—140. Критику этой позиции см.: *Gurevič A.* La storia, dialogo con. gli uomini delle età passate. // Ibid. P. 231—237. Ср. *Faber K.-G. Cogito ergo sum historicus novus.* Bemerkungen zu Die Geschichte der Annales, erzählt von François Furet. — Historische Zeitschrift, 1983. Bd. 236, H. 3. S. 529—537.

[83] В этой статье нет возможности подробно рассматривать все аспекты отношения нынешнего руководства «Анналов» к наследию Блока. См. об этом: La nouvelle histoire; *Соколова М. Н.* Современная французская историография. М., 1979; *Далин В. М.* Историки Франции; *Афанасьев Ю. Н.* Историзм против эклектики; *Он же.* Эволюция теоретических основ школы «Анналов». — Вопр. истории, 1981, № 9; *Он же.* Вчера и сегодня французской исторической науки. — Вопр. истории, 1984, № 8.

ских исследований"; „Общество Марка Блока" публикует труды представителей этого направления в серии „Тетради «Анналов»".

„Анналы" выступают за творческое международное сотрудничество историков, в том числе и придерживающихся различных мировоззрений и методологий. Свои страницы редакция предоставляет как французским историкам-марксистам, так и ученым из социалистических стран[84]. Необходимость координации научных исследований на международном уровне редакция „Анналов" обосновывает прежде всего тем соображением, что широкие задачи, которые стоят ныне перед исторической наукой, уже невозможно решать при традиционной организации ремесла ученого-одиночки, трудящегося в тиши своего кабинета. Февр писал в 1949 г.: «через одно-два поколения старый господин наподобие тех, каких изобразил Анатоль Франс: восседающий в своем кресле в окружении каталожных ящиков, предназначенных для его исключительного пользования, — завершит свою жизнь чудака. Он уступит место руководителю бригады ученых, разрабатывающих общую проблему»[85]. Применение историко-сравнительного метода, которому Блок придавал огромное значение, в особенности диктует необходимость кооперации многих специалистов. Одним из средств группировки разных ученых вокруг решения общей проблемы явилось составление анкет-вопросников, посвященных этой проблеме. Разработку и публикацию анкет «Анналы» начали по инициативе Блока; такова, например, постановка вопроса о системах полей и аграрной картографии Европы. Вопросник предполагает специальную методику исследования, и Блок выступал на страницах «Анналов» с соответствующими рекомендациями. Эту традицию продолжает и нынешняя редакция «Анналов»[86].

Фернан Бродель, который принял на себя руководство журналом после кончины Февра, утверждал, что основная «парадигма» «Анналов» (т. е. принципиальный подход к проблематике, комплекс методов, определение горизонта научных исследований) была создана в первый период существования «Анналов», в 1929—1940 гг. Именно Блок и Февр начали и энергично вели борьбу против традиционной историографии за утверждение новой, более всеобъемлющей и смело ищущей исторической науки. Их преем-

[84] В свое время со страниц «Анналов» прозвучал упрек в адрес западногерманских историков, вызванный их негативным отношением к историческому материализму и игнорированием советской историографии. См.: *Mandrou R.* A côté du Congrès. Une mise en accusation du matérialisme historique. — Annales. E. S. C., 16e année, 1961. N 3. P. 518—520.

[85] *Febvre L.* Combats pour l'Histoire. P. 427.

[86] Отдельные номера журнала, опубликованные за последние годы, специально посвящены важным «междисциплинарным» проблемам. Таковы, например, «Биологическая история и общество», «История и урбанизация», «История и структура», «Вокруг смерти», «Исторический источник и его критика» — Annales. E. S. C. 1969. 24e année. № 6; 1970. 25e année. N 4; 1971. 26e année, N 3—4; 1976. 31e année, N 1; 1982. 37e année, N 5—6.

никам, поколению Броделя и поколению, которое ныне принадлежит к «школе „Анналов"», уже было легче, поскольку общая ориентация и прорыв к «глобальной истории» были определены основателями журнала [87].

Блоку не довелось быть свидетелем победы нового научного направления. Февр и в особенности Бродель возглавляли «школу „Анналов"» на этапе утверждения ее позиций и оформления ее в ведущую, наиболее влиятельную и престижную силу в западной исторической науке. «Потомки» одиноких борцов, подвергавшихся ограничениям и гонениям, завоевали доминирующие высоты в интеллектуальной жизни Франции, со всеми вытекающими из этих позиций положительными и негативными последствиями.

«Мыслить глобально» — таков девиз Блока, Февра, Броделя. Но что́ это означает? Подводя предварительные итоги своего жизненного труда и оценивая работу научного направления, которое он долгое время возглавлял, Бродель отвечал на этот вопрос: «создавать единственную форму истории, способную ныне нас удовлетворить» [88]. Нужно отметить, что подобно тому как среди историков, группирующихся вокруг «Анналов», нет единства, так отсутствует оно и в отношении к идее «глобальной» или «тотальной» истории. Однако наиболее серьезные и продуктивно работающие историки этого направления отстаивают именно такой подход [89]. Одна из характерных черт той новой истории средневековья, какая вырисовывается в трудах Блока и его продолжателей, — ее «рурализация»: упор все более делается не на город (такова была линия О. Тьерри—А. Пиренна), а на деревню (линия М. Блока—Ж. Дюби), причем имеется в виду не одна только аграрная история, но и история мыслительных установок, способов мировосприятия и поведения [90]. С этим новым подходом связан и особый упор на изучение социальных и ментальных структур, изменения которых обнаруживаются лишь при применении к ним большого временно́го масштаба. Самое понятие «средневековье» Ле Гофф склонен распространять на европейскую историю с III по XVIII—начало XIX в. — но это прежде всего история сельская, история медленных ритмов, традиций, устойчивых стереотипов, а не динамичная, «нервная» история города, поднимающейся буржуазии, высокоинтеллектуальной культуры, это история, которая во многих своих подходах сближается с этноло-

[87] *Braudel F.* Foreword. // Stoianovich T. French Historical Method. The Annalet Paradigm. Ithaca and London, 1976, p. 9—17.
[88] *Бродель Ф.* Свидетельство историка. // Французский ежегодник 1982. М., 1984. С. 187.
[89] *Le Goff J., Toubert P.* Une histoire totale du moyen âge est-elle possible? // Actes du 100 congrès national des sociétés savantes. Section de philologie et d'histoire jusqu'à 1610. Paris, 1977. P. 31—44.
[90] *Le Goff.* Pour un autre Moyen Age. P. 339.

гией, — историческая антропология [91], которая выделяет черты отличия человека другой эпохи и иной культуры от человека наших дней. В этом смысле новый подход к истории прошлого предполагает более последовательное и углубленное проведение принципа историзма.

Определенное оздоровляющее воздействие группы Блока на состояние современной западной историографии широко признано. Американский историк, подчеркивая заслуги Блока и его единомышленников, нашедших «смелость строить структуры объяснения, которые одновременно и лучше согласуются с фактами, и более логически последовательны, чем прежние», пишет: «Когда я начинал свои аспирантские занятия четверть столетия тому назад [92], атмосфера казалась совершенно иной — большинство из нас было угнетено сознанием того, что основная работа уже проделана: все документы подобраны, канон их интерпретации установлен. Мы чувствовали себя эпигонами, работающими в тени великих историков предшествующих поколений». Ныне, продолжает тот же автор, «мы испытали новую надежду. Мы увидели, что если хоть немного повернуть традиционную призму исторического ви́дения, открывается целый мир новых возможностей... Вполне вероятно, что историческая наука вступила сегодня в период быстрых перемен и прогресса, аналогичный тому, который пережила физика в первые три декады двадцатого столетия» [93].

Тем не менее остается вопрос: каковы те «структуры объяснения», которые предлагает Блок?

VII

Читатель «Апологии истории» не пройдет мимо раздела, озаглавленного «Судить или понимать?». Блок справедливо протестует против поспешности, с какой иные историки выставляют высокий или низкий «балл за поведение» историческим деятелям или событиям прошлого, вместо того чтобы постараться понять и объяснить эти явления. Но вместе с тем возникает сомнение: не упростил ли Блок вопрос, сформулировав его в виде дилеммы: либо судить, либо понимать? Впрочем, ведь и сам Блок не мог удержаться на позиции бесстрастного свидетеля истории: в своей книге «Странное поражение» он не только анализирует и объясняет, но и судит, выносит приговор. Могут возразить, что в данном случае он шел по горячим следам событий, которые произошли совсем недавно и еще не привели к окончательному результату; к тому же историк принимал в них непосредственное участие. Но способен ли ученый быть вполне нейтральным и свободным

[91] *Le Goff J.* Pour... P. 10 sq., *idem.* L'imaginaire médiéval. Essais. Paris, 1985. P. VIII, 7—13.
[92] Эти слова были написаны в 1964 г.
[93] *Hughes H. S.* History as Art and as Science. P. 19—21.

от оценочных суждений в человеческих делах, даже если он подходит к ним «без гнева и пристрастия», скажем, в силу большей временно́й дистанции? Общественные науки в этом смысле отличаются от наук о природе. Мы вместе с Блоком готовы посмеяться над химиком, который ныне стал бы делить газы на «добрые» и «злые». Однако история — не естествознание, и идея полной ее беспартийности — иллюзия [94].

Но оставим в стороне вопрос о беспристрастности и суждениях, обратимся к проблеме объяснения исторического процесса в трудах Блока. Именно в этой проблеме, в способах ее решения с наибольшей ясностью раскрываются теоретические, методологические принципы историка.

Экономическая и социальная история, социальная история, неразрывно связанная с историей экономики, — такой видел историю Блок. Economies, sociétés, civilisations — эти термины, выделяющие наиболее существенные, с точки зрения теперешних издателей «Анналов», категории истории, указывают на то, что в центре внимания историков этого направления находятся исторические объекты, характеризующиеся большой временной длительностью [95]. В «иерархии сил», действующих в истории, они различают три основные группы, обладающие собственными ритмами: «постоянства», «структуры» и «конъюнктуры». «Постоянства», «неизменяемости» (permanences) — так характеризуются прежде всего природно-географические условия, в которых существует и развивается общество. «Структуры» — это долговременные факторы истории, экономика, социальные институты и процессы, духовный строй общества (религия, философские системы, наука, искусство). «Конъюнктуры», напротив, быстро изменчивы; таковы кривые движения народонаселения, объема производства, цен, заработной платы. «Экономика», «общество», «цивилизация» — структуры, отличающиеся большой протяженностью и устойчивостью во времени, — вот, по убеждению Блока и его группы, подлинный предмет исторического изучения.

Итак, «иерархия сил», действующих в истории. Но каковы отношения, причинные связи внутри этой иерархии? «Структуры», очевидно, представляются главными движущими ее моментами. Но ведь и сами структуры в высшей степени неоднородны; они охватывают по сути дела все: от экономики и социального строя до тончайших процессов духовной жизни. Кроме того, между

[94] См. *Кон И. С.* Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959. С. 379. Иной точки зрения придерживается Ф. Бродель. См. его замечания к переводу на французский язык статьи советской исследовательницы А. Д. Люблинской о работе Марка Блока «Характерные черты французской аграрной истории» (Annales. Economies, sociétés, civilisations. 1959. 14e année. N 1. P. 91—92).

[95] *Braudel F.* La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris. 1949; idem. Histoire et sciences sociales. La longue durée. // Annales. Economies, sociétés, civilisations. 1958. 13e année, N 4.

разными сторонами общественной действительности нет полного соответствия. Блок сочувственно цитирует слова А. Фосильона о том, что «в один и тот же период политика, экономика и искусство не находятся в точках равной высоты на соответственных кривых», и добавляет: «никогда не находятся» [96]. Ритм социальной жизни складывается из множества ритмов ее компонентов. Что же здесь следует выделить как определяющее начало? Не сводится ли все к простому взаимодействию структур?

Блок, его коллеги и последователи настаивали на том, что история должна быть изображением жизни общества во всех ее формах. Нельзя не приветствовать стремление изучать «всю историю», в максимально возможном числе аспектов. Согласимся с тем, что всякое ограничение предмета исторического познания чревато искажением подлинной картины действительности, ее обеднением.

Не приходится возражать и против мысли, что сколько-нибудь значительное и сложное социальное явление нуждается в объяснении, учитывающем целый ряд причин и обстоятельств. И тем не менее невозможно истолкование исторических феноменов, которое ограничивалось бы одним перечнем факторов, без выделения среди них решающих, определяющих. Ведь «иерархию сил» можно понимать по-разному. В чем же видят Блок и другие представители школы «Анналов» эти основополагающие причины исторического развития?

Со словами, на которых обрывается «Апология истории»: «причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать» [97], — полностью согласится всякий серьезный историк. Точно так же по сердцу ему придутся и другие слова: «Наука расчленяет действительность лишь для того, чтобы лучше рассмотреть ее благодаря перекрестным огням, лучи которых непрестанно сходятся и пересекаются. Опасность возникает только с того момента, когда каждый прожектор начинает претендовать на то, что он один видит все, когда каждый кантон знания воображает себя целым государством» [98]. Априоризм — злейший враг науки. Нет ничего хуже, чем подгонять живую жизнь под раз и навсегда установленные абстрактные схемы. Мы хорошо помним известное предостережение об опасности превращения неумными схематиками самой умной философской теории в «универсальную отмычку».

К сожалению, Блоку не довелось написать тот раздел «Апологии истории», в котором, как явствует из сохранившегося первоначального плана книги, он намеревался рассмотреть проблему объяснения в истории. Имеющиеся в готовом тексте рассуждения о причине и поводе в истории недостаточны для того, чтобы су-

[96] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 78.
[97] Ibid. P. 103.
[98] Ibid. P. 75.

дить о предполагаемом решении этой проблемы. Но в нашем распоряжении — труды ученого, и в них, очевидно, в какой-то мере воплотились его взгляды на природу исторической интерпретации.

Как мы уже знаем, Блок был прежде всего историком экономических отношений. «Характерные черты французской аграрной истории» — главное, но не единственное сочинение, в котором выразился его глубокий интерес к проблемам экономики. Достаточно сказать, что статьи Блока на эти же темы, опубликованные им после 1931 г., т. е. после выхода в свет названной книги, составили в посмертном ее переиздании дополнительный объемистый том — красноречивое свидетельство неослабного внимания ученого к истории хозяйства, сельскохозяйственной техники, положению крестьян и другим вопросам аграрной истории средних веков и нового времени. Посмертно было издано также несколько больших работ Блока по экономической истории: «Очерк истории денег в Европе», «Французская сеньория и английский манор» и др. Исследование экономического строя общества занимало столь большое место в его творчестве, что это само по себе заставляет предположить: среди факторов исторического развития Блок придавал особое значение экономике. Как справедливо отмечалось советскими учеными, его исследования аграрной истории составили своего рода эпоху — по широте охвата материала и по глубине постановки проблем и оригинальности их решения они выделяются во всей зарубежной историографии.

Но исследование экономических отношений не было для Блока самоцелью: за ними он неизменно видел людей и стремился обнаружить их полнокровную жизнь.

Когда же от «разнообразия человеческих фактов» Блок переходит к их единству, он видит его в сознании. Предмет истории, на его взгляд, «в точном и последнем смысле — сознание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияния и даже путаница, возникающая в их сознании, они-то и составляют для истории подлинную действительность» [99]. Историк, рассматривающий движение самых различных общественных феноменов — экономики, структуры классов или групп, верований, политические кризисы, — наблюдает, по словам Блока, как они смыкаются в человеческом сознании [100].

Что означают эти утверждения?

Взятый в отрыве от конкретной ткани произведений Блока тезис, гласящий, что общество есть «продукт индивидуальных сознаний», звучит как возрождение субъективистских взглядов на

[99] *Bloch M.* Apologie pour l'Histoire. P. 76.
[100] Ibid. P. 79. Ср. P. 101. Предлагая шире применять понятие «поколение», которое, по его мнению, достаточно гибко, для того чтобы выразить явления человеческой жизни, Блок видит в нем общность прежде всего психологическую: оно обладает сходством мышления, духа, умонастроения. См. ibid. P. 95.

историю. Превращать историю общества в историю его мышления, пусть даже и коллективного, и видеть в последнем фактор, объясняющий социальное развитие, — вредная и опасная тенденция. Таков приговор, вынесенный одним из современных представителей группы «Анналов», и с ним в этом нельзя не согласиться[101]. Тем не менее не будем придираться к спорным и неудачным формулировкам из книги, которую самому автору не пришлось подготовить к печати, и вспомним лучше, как реализованы эти идеи в исследованиях Блока.

Формы человеческого сознания, культуры всегда интересовали его преимущественно в плане выражения в них социальных связей. Смысл вышеприведенных утверждений, как со всею ясностью следует из работ Блока, заключается в том, что любые явления жизни людей, мыслящих и чувствующих существ, должны неизбежно пройти через их сознание (в широком смысле, включая и «бессознательное»). Выше мы видели, сколь плодотворным был предпринятый Блоком анализ явлений коллективной психологии, направленный неизменно на раскрытие глубин социальной структуры и ее движения. В истории нет автоматизма, однозначной связи причин со следствиями, люди сознательно участвуют в общественной жизни. Факты истории, по Блоку, факты «психологические» потому, что историю творит человек. Социальная целостность, раскрытие которой и есть, по его убеждению, конечная цель исторической науки, выражает себя именно через человеческое сознание, — в нем и «смыкаются» все социальные феномены.

Мироощущение и мировосприятие людей данного общества, их верования, навыки мышления, социальные и этические ценности, отношение к природе, переживание ими времени и пространства, представления о смерти и загробном существовании, толкование ими возрастов человеческой жизни (упомянуты некоторые темы, сделавшиеся предметом интенсивного изучения историков уже после смерти Блока) в каждую эпоху взаимно связаны, образуют некую целостность. Эта «модель мира», или «картина мира», обусловленная социальной и экономической действительностью и культурной традицией, включается в объективные отношения производства и общества. «Субъективная реальность» — то, как люди мыслят самих себя и свой мир, — столь же неотъемлемая часть их жизни, как и материальный ее субстрат. «Картина мира» определяет поведение человека, индивидуальное и коллективное.

Важнейшей категорией современной исторической антропологии является, на наш взгляд, именно социально-культурно мотивированное поведение людей. Материальные факторы их жизни, сами по себе, изолированные, еще не дают разгадки их поступков, ибо поведение людей никогда не бывает и не может быть автомати-

[101] *Жак Ле Гофф.* Существовала ли французская историческая школа «Annales»? // Французский ежегодник, 1968. М., 1970. С. 357.

ческим. Изменения рыночной конъюнктуры, война, рост производства или усиление эксплуатации еще не объясняют поведения участников исторического процесса. Все стимулы, исходящие из политической, экономической, социальной сферы, неизменно проходят сквозь «фильтры» ментальности и культуры, получая в них своеобразное индивидуальное освещение, и только в этом преобразованном — нередко до неузнаваемости — виде становятся движущими пружинами социального поведения. Объективные процессы истории сами по себе суть лишь потенциальные причины поведения людей — актуальными, действенными его причинами они становятся, только будучи преобразованы в факты общественного сознания. Поэтому изучение концептуального и чувственного «оснащения» людей данного общества и данной эпохи — обязательное условие понимания их поступков. В центре внимания историка не может не стоять, следовательно, социальное поведение людей — экономическое, политическое, религиозное — со всеми его мотивировками, сколь бы иррациональными и экзотичными они ни казались с точки зрения современного «здравого смысла». Историк, изучая далекую от него эпоху или цивилизацию, сталкивается с Другим: с людьми, которые руководствовались в своей жизни собственными ценностями, имели своеобразные представления о самих себе и о социальном и природном универсуме и выработали только им присущие «картину мира» и систему реакций на получаемые из этого мира импульсы. Историк ищет диалога с этим ушедшим в прошлое миром, с тем чтобы «возродить», реконструировать его. Условие успеха на этом пути — проникновение в тайну человеческого поведения, поведения человека в обществе [102].

Таким представляется нам современное прочтение трудов Блока. Сам Блок не сумел найти убедительного решения проблемы целостного охвата общества путем социально-экономического его анализа. Многообразие общественной жизни и воздействующих на нее факторов он пытался свести к психологическому единству человека, через сознание которого эта жизнь проходит.

Создается впечатление, что Блока, страшившегося «узких доктрин, стеснительных катехизисов» (выражение Февра), не столько волновала, так сказать, онтологическая проблема: «что является определяющим в истории?», сколько возможные способы ее изучения. Как он писал, «у любого исследования есть своя собственная ось» [103]. Не связано ли перемещение этой проблемы

[102] См. *Гуревич А. Я.* «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности (критические заметки медиевиста). — История и историки. 1981. М., 1985, с. 122—123. Ср.: *Розовская И. И.* Проблематика социально-исторической психологии в зарубежной историографии XX века. — Вопр. философии, 1972, № 7, с. 128—136; *Le Goff J.* Pour un autre Moyen Age. P. 346, 348.

[103] *Bloch M.* La société féodale. P. 98.

в план гносеологии с преувеличением значимости психологического начала в истории и плюрализмом в объяснении ее?

Оригинальные по постановке вопроса и капитальные по исполнению исследования Блока пользуются заслуженным признанием советских ученых. Они высоко ценят его как выдающегося специалиста в области социальной истории, подошедшего в своих конкретных исследованиях ближе, чем кто-либо из западных историков до него, к материалистическому пониманию сущности феодальной формации [104]. Особо подчеркивается марксистской научной критикой большая заслуга этого видного организатора исторической науки на Западе — его мужественная защита истории, самый смысл изучения которой был поставлен под сомнение реакционными философами и историками, его выступления против бескрылого эмпиризма, модернизации прошлого и принципиального скептицизма. Воздавая должное Блоку — ученому, поборнику прогрессивных идеалов, человеку, отдавшему жизнь в борьбе против фашизма, историки-марксисты вместе с тем не могут принять ряд его теоретических положений [105].

«Апологию истории» Марка Блока невозможно читать без волнения — его любовь к истине, пафос познания, обаяние честного историка, размышляющего о своем ремесле, как и трагизм обстановки, в которой было написано это научное завещание, не оставят равнодушным того, кому дорога наука, поставленная на службу высоким идеалам человечности.

Новое издание русского перевода «Апологии истории» подготовлено в дни столетнего юбилея Марка Блока, когда мысли прогрессивных историков разных стран вновь обращаются к памяти великого ученого, человека и гуманиста.

А. Гуревич

[104] *Барг М. А.* Концепция феодализма в современной буржуазной историографии. // Вопр. истории, 1965. № 1. С. 85—88; *Он же.* Проблемы социальной истории...; *Ястребицкая А. Л.* Предисловие. // XIV Международный конгресс исторических наук. Материалы к конгрессу. Проблемы феодализма. М., 1975. Ч. I.

[105] См.: *Кон И. С., Люблинская А. Д.* Труды французского историка Марка Блока. // Вопр. истории, 1955, № 8; *Люблинская А. Д.* Предисловие. // *Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957; *Бессмертный Ю. Л.* Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII—XIII веков, с. 13, 309 след. и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

М. Блок
АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Как известно, текст «Апологии истории», над которым Блок работал вдали от библиотек, по записям и полагаясь на память, не был им завершен и проверен. Кроме того, он почти вовсе лишен примечаний и ссылок на цитируемых авторов. Издавая книгу (1-е нзд. — 1949 г.), Февр воздержался от каких-либо изменений и поправок (см. стр. 117). Во всех последующих изданиях во Франции и в других странах этот текст воспроизводится в первоначальном виде и без комментариев. При переводе на русский язык возникла необходимость дать читателю некоторые разъяснения и внести (в примечаниях) отдельные исправления явных неточностей и описок, ни в коей мере не претендуя, однако, на исчерпывающий комментарий.

Посвящение

[1] Люсьен Февр — французский историк, друг М. Блока, вместе с ним основавший и издававший журнал «Анналы». Труды Февра посвящены истории Франции и истории культуры, преимущественно эпохи Возрождения.

[2] В годы фашистской оккупации Франции Блок был лишен возможности официально возглавлять, наряду с Февром, «Сборники социальной истории», которые заменили «Анналы», и печатался в них под псевдонимом «Фужер».

Введение

[1] Слова Поля Валери («Заметки о величии и упадке Европы», 1930), который считал историю прислужницей политики и источником шовинизма и национализма. Из истории, утверждал он, невозможно извлечь никаких уроков.

[2] Согласно Конту, науки образуют иерархию, определяющуюся степенью простоты и общности. Она начинается математикой и завершается социологией; каждая из наук предполагает наличие элементарных фактов предшествующих наук. Главный труд Конта — «Курс позитивной философии», т. 1—6 (1830—1842).

[3] Социология Дюркгейма, в частности его учение о «коллективных представлениях», оказала влияние на Блока, хотя он не во всем разделял взгляды Дюркгейма и относился к ним критически (см. стр. 15).

[4] Выражение «историки, рассказывающие историю» (historiens historisants) принадлежит французскому историку Анри Берру, который критиковал «историзирующую историографию» за фактографичность и отстаивал идею необходимости широкого синтеза в науках об обществе. Эту критику продолжили Блок и Февр.

[5] Сильвестр Боннар — персонаж романа А. Франса «Преступление Сильвестра Боннара», олицетворение старого типа историка, поглощенного древними рукописями и находящего в разыскании мельчайших фактов цель исторического исследования.

[6] Первая империя во Франции — империя Наполеона I (с 1804 по 1814 г. и «Сто дней» 1815 г.).

[7] Шарль Сеньобос более всего известен «Введением в изучение истории» (1899), написанным совместно с Ш. Ланглуа.

[8] Творчество Пеги пользовалось широкой популярностью во Франции в годы второй мировой войны.

Глава первая

[1] Греческое слово ἱστορία означает «исследование», «расспрос», «рассказ», «знание».

[2] Гекатей Милетский — древнегреческий логограф; логография — античная форма изложения исторических, географических и этнографических сведений.

[3] Звин — залив Северного моря, где расположен Брюгге, в XI—XIV вв. один из крупнейших в Европе центров суконного ремесла и международной торговли. С XV в. Брюгге стал терять былое значение вследствие неспособности конкурировать с развивающимся внецеховым ремеслом Фландрии и Англии, а также из-за обмеления залива Звин (с середины XV в.).

[4] Мишле стремился раскрыть психологию французского народа и «воскресить» его прошлое путем живого описания различных сторон его жизни. Среди его сочинений: «История Франции» (т. 1—17, 1833—1867), «История Французской революции» (т. 1—7, 1847—1853).

[5] Юлий Цезарь завоевал Галлию в 58—51 гг. до н. э.

[6] Мартин Лютер начинал свою деятельность как правоверный католик (студент университета в Эрфурте, монах августинского монастыря). Знаменитые «95 тезисов», провозгласившие начало Реформации (1517), он опубликовал в Виттенберге, где был профессором университета.

[7] «История происхождения христианства» (т. 1—8, 1863—1883) — сочинение Э. Ренана, «Происхождение современной Франции» (т. 1—6, 1877—1894) — сочинение И. Тэна.

[8] Credo («Верую») — исповедание христианской веры в латинско-католической версии.

[9] О споре между направлениями германистов и романистов в историографии XIX и начала XX в. см. стр. 197.

[10] Beneficium — буквально: «благодеяние». В средние века так называлось пожалование сеньором земли вассалу на условии исполнения последним военной или иной службы.

[11] См. *Жюль Мишле.* Народ. М., 1965, стр. 10.

[12] Паралогизм (греч.: «неправильное, ложное рассуждение») — логическая ненамеренная ошибка в умозаключении.

[13] «Три Славных Дня» — 27, 28, 29 июля 1830 г. — дни Июльской революции во Франции, низложения династии Бурбонов и провозглашения конституционной монархии Луи Филиппа Орлеанского.

[14] Клио, одна из девяти муз — покровительниц искусств в древности, дочерей Зевса и Мнемосины; Клио считалась покровительницей историографии и эпоса.

[15] Религиозные войны во Франции (1562—1594) — социально-политический и религиозный конфликт, в котором противники выступали под знаменами католицизма и протестантизма. Лангедок (в Южной Франции) был оплотом гугенотов-протестантов.

[16] «Рамаяна» — древнеиндийская эпическая поэма.

[17] «Гражданский кодекс», введенный Наполеоном I в 1804 г., юридически закрепил победу неограниченной частной собственности во Франции после буржуазной революции конца XVIII в.

[18] Дольмены — древние погребальные сооружения — мегалиты.

[19] Перу крупного бельгийского историка Анри Пиренна принадлежат книги: «Города средневековья» (1923), «История Бельгии» (т. 1—7, 1900—1932), «Магомет и Карл Великий» (1937) и ряд других работ.

[20] Главные труды Мэтланда: «Книга Страшного суда и то, что за нею скрывается» (1897), «История английского права» (т. 1—2, 1895, совместно с Ф. Поллоком)

[21] В чине капитана Блок участвовал в военных действиях летом 1940 г. и попал в окружение в районе Дюнкерка, на побережье Па-де-Кале (26 мая—4 июня), откуда вместе с уцелевшими французскими войсками был эвакуирован в Англию. 22 июня 1940 г. в Компьене Франция признала свою капитуляцию перед Германией.

[22] Серваж (servage) — личная и поземельная зависимость крестьян в средневековой Франции. Имеется в виду работа Фюстель де Куланжа «История общественного строя древней Франции» (т. 1—6, 1888—1892).

Глава вторая

[1] Рамсес — имя ряда египетских фараонов.

[2] Эпизод из истории Великой французской революции. Когда в конце августа—начале сентября 1792 г. во французской столице стало известно, что прусские войска перешли границу и движутся на Париж, был объявлен набор добровольцев в армию. Одновременно по Парижу распространился слух, что после ухода армии заключенные в парижских тюрьмах «заговорщики» вырвутся на свободу и перебьют семьи ушедших на фронт патриотов. Произошел массовый самосуд над заключенными. Во время «сентябрьской резни» было убито от 1100 до 1400 заключенных (по подсчетам П. Карона), среди них и принцесса Ламбаль.

[3] Пьер Карон — автор книги «Сентябрьские убийства» (1935).

[4] Ур — город в древнем Шумере (Месопотамия). Древнейшие находки в нем относятся к XXVIII в. до н. э.

[5] Улисс — латинизированное имя Одиссея.

[6] Чудеса «неквии», упоминаемые в XI книге «Одиссеи», — жертвы, которые приносили мертвым для того, чтобы вызвать их из подземного царства.

[7] Период в истории Франкского государства с середины V до середины VIII в., названный так по династии Меровингов (от легендарного ее основателя Меровея).

[8] Блок цитирует неточно. Геродот был уроженцем Галикарнаса (Малая Азия), а в Фуриях (Южная Италия) жил в конце своей жизни. В начале «Истории» Геродот называет себя «галикарнасцем».

[9] Знатная фамилия в Лукке XIV—XV вв. В подлнннике «Апологии» здесь описка.

[10] Освободительное движение средневековых городов, добивавшихся независимости от феодальных сеньоров.

[11] Герцог Сен-Симон описал в «Мемуарах» жизнь двора и высшего общества во Франции при Людовике XIV и во времена регентства при малолетнем Людовике XV.

[12] Т. е. Людовика XIV.

[13] Французский археолог Буше де Перт открыл древнейшую эпоху в истории человечества — палеолит.

[14] Картулярий — сборник средневековых грамот.

[15] Болландисты — ученое общество иезуитов, основанное в Антверпене Жаном Болландом; начиная с 1643 г. издавали средневековые «жития святых».

[16] Огюст Молинье (у Блока ошибочно: Эмиль) — французский историк-архивист, составитель обзора «Источники по истории Франции» (т. 1—6, 1901—1906). Его брат Эмиль — палеограф.

[17] Развернутую критику отсталости военного образования и стратегической мысли во Франции к началу второй мировой войны Блок дал в книге «Странное поражение».

[18] В период революции 1789—1794 гг. из Франции эмигрировало значительное число дворян; их владения были конфискованы и впоследствии перешли в руки новых собственников.

[19] «Гражданское устройство духовенства» было введено во Франции после объявления церковных и монастырских имуществ национальной собственностью; духовенство было превращено в государственных служащих на жало-

вании (декреты Учредительного собрания от 12—14 июля и 27 ноября 1790 г.) и должно было присягнуть на верность «нации, закону и королю».

[20] Созданный весной 1793 г. Комитет Общественного спасения — революционное правительство Франции — осуществлял политику репрессий против врагов революции.

[21] Ипр — важный торговый и промышленный центр средневековых Нидерландов.

[22] Аббатство Сен-Дени (близ Парижа), основанное франкским королем Дагобертом в 630 г., служило усыпальницей французских королей.

[23] «Общество Иисуса» — орден иезуитов, основанный в 1534 г. и утвержденный папой в 1540 г.

[24] Кобленц — немецкий городок, в котором летом 1791 г. обосновались руководители контрреволюционной эмиграции из Франции.

[25] Бенедиктинское аббатство, основанное в 620 г.

[26] Полное название: «О происхождении германцев и местоположении Германии» — историко-географическое и этнографическое описание Германии, составленное около 98 г.

[27] См. выше, примеч. 21 к гл. 1.

Глава третья

[1] Подложная грамота VIII в., согласно которой римский император Константин предоставил папе Сильвестру I светскую власть над частью империи, включая Италию, служила юридическим оправданием притязаний папства на верховенство в Европе. Германский император Оттон III, стремясь укрепить свою власть над Италией и Римом, который он желал превратить в центр империи, отказался признавать законность «Константинова дара» и актом 1001 г. объявил его фальшивкой.

[2] См. *Геродот*. История, IV, 42.

[3] См. стр. 144.

[4] Жан Мабильон опубликовал «Деяния святых ордена св. Бенедикта» (т. 1—9, 1668—1710). В его труде «О дипломатике» собраны данные о происхождении, почерках, стиле и других особенностях средневековых документов (дипломов, хартий) и сформулированы принципы установления их подлинности; тем самым были заложены основы вспомогательных исторических дисциплин — дипломатики и палеографии. После выхода этого труда Папеброху, ставившему под сомнение многие документы, пришлось признать их подлинность.

[5] См. *М. Монтень*. Опыты, кн. III, гл. VIII. Монтень ссылается на кн.: *Тацит*. Истории, кн. IV, гл. 81.

[6] Пиррон — основной представитель скептицизма в древнегреческой философии.

[7] В своих «Рассуждениях о всемирной истории» (1681) Боссюэ рассматривает исторический процесс с точки зрения Священного писания.

[8] Ришар Симон — один из «отцов» исторической критики, историк религии, автор «Критической истории Ветхого завета» (1678) и других работ.

[9] Луи-Элли дю Пэн — автор «Истории церкви и церковных авторов» (1704) и других работ.

[10] Экзегеза (греч.) — разбор, объяснение, истолкование.

[11] «Богословско-политический трактат» Спинозы появился анонимно в 1670 г.

[12] «Рассуждение о методе» Декарта вышло в свет в 1637 г.

[13] Картезианцы — приверженцы учения Декарта (Картезия).

[14] «Чистая доска» (tabula rasa) — у древних дощечка для письма — термин сенсуализма: такова, по Локку, душа до всякого опыта.

[15] Немецкая школа — крупнейшие немецкие историки XIX в.: Бертольд Георг Нибур, Леопольд фон Ранке, Георг-Людвиг фон Маурер, Якоб Буркхардт, Теодор Моммзен, Карл Лампрехт.

[16] Блок объединяет авторов, придерживавшихся прямо противоположных взглядов. Шарль Моррас — французский реакционный публицист, критик, поэт; Теодор де Банвиль — французский поэт и критик; работы Г. В. Плеханова по истории философии и историческому материализму Блок мог знать в переводе.

[17] «Моисеевы книги» («Пятикнижие») — приписываемые Моисею первые пять книг Ветхого завета (книги Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие).

[18] Французская королева Мария-Антуанетта, жена Людовика XVI, после свержения монархии была казнена по приговору революционного трибунала. Блок имеет в виду издания «писем Марии-Антуанетты», вышедшие в 1864—1873 гг.

[19] «Тиара Сайтоферна» — подделка, изготовленная одесским ювелиром И. Рухомовским и проданная в Лувр за 200 тыс. франков в 1896 г. Подделка была разоблачена в 1903 г.

[20] Отбор и оценку информации (в частности о галлах и германцах) в «Комментариях о галльской войне» Цезарь подчинял своим замыслам и оправданию проводимых им политических и военных мер.

[21] Надгробная статуя французского короля Филиппа III Смелого, установленная между 1298 и 1307 гг.

[22] «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка, содержащая вымышленный план установления «еврейского мирового господства» (совместно с франкмасонами) во главе с «царем из дома Сиона» на развалинах христианской цивилизации; протоколы якобы содержали материалы заседаний сионистов в Базеле в 1897 г. Подложность документа была вскрыта в 1921 г. английским журналистом Ф. Грейвзом, который продемонстрировал его подозрительное сходство с сатирой Мориса Жоли на Наполеона III («Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье», 1864). Исследования русского историка В. Бурцева показали, что «Протоколы» — подделка, изготовленная царской охранкой на основе сатиры Жоли, а также новеллы «Биарриц» немецкого писателя Германа Гедше (псевдоним — Ретклиф) (1868) и других источников. В 1935 г. суд в Берне объявил «Протоколы» фальшивкой.

[23] Во времена Июльской монархии (1830—1848) Тьер занимал министерские посты и руководил расправой над участниками восстаний 1834 г. в Лионе и Париже (процесс тайных обществ в 1834 г.).

[24] Аахен был резиденцией франкских королей и местом коронации германских императоров.

[25] Средневековые германские императоры считали себя прямыми преемниками римских и франкских государей; идея преемственности императорской власти служила укреплению авторитета императоров Священной Римской империи и оправданием их притязаний на господство над Римом.

[26] «Поэмы Оссиана» сочинил в 1762—1765 гг. английский поэт Джеймс Макферсон на основе свободной переработки древних кельтских легенд; Макферсон выдавал их за сочинения легендарного барда, героя кельтского эпоса Оссиана.

[27] «Бристольскую трагедию», «Эллу» и другие свои сочинения английский поэт Т. Чаттертон выдавал за якобы найденные им рукописи средневекового монаха.

[28] «Поэзия Клотильды» (1803) — подделка под средневековые французские стихи, изготовленная маркизом Ж.-Э. де Сюрвиль.

[29] Т.-Э. де ла Вильмарке пытался возродить бретонские песни, издав сборник «Народные песни древних бретонцев» (1839). Их подлинность подвергнута сомнениям: многие песни сочинил сам Вильмарке, другие же относятся ко времени не ранее XVI в.

[30] Проспер Мериме издал сборник «Гусли, или Избранные песни иллирийцев» (1827), подражания славянскому народному творчеству (темы сборника использовал А. С. Пушкин в «Песнях западных славян»).

[31] «Краледворская рукопись», воспевающая чешскую героическую старину, была якобы найдена в 1817 г. чешским филологом Вацлавом Ганкой.

в действительности это подделка, созданная с использованием славянских эпических песен. Подложность «Краледворской рукописи» была доказана лишь в 80-е годы XIX в.

[32] Врен-Люка изготовил фальшивые автографы Пифагора, Александра Македонского, Клеопатры и других великих людей. Аллюзия на аферу с письмами Паскаля — в «Бессмертном» Альфонса Доде.

[33] «Письма к провинциалу» (1657) — памфлет Паскаля против иезуитов.

[34] Скандальное судебное дело офицера французского генштаба Альфреда Дрейфуса было сфабриковано в 1894 г. реакционной французской военщиной на основе ложных обвинений и фальшивых документов. Дрейфус был обвинен в продаже Германии секретных военных документов и приговорен к пожизненной каторге. Расправа над Дрейфусом была использована реакцией для разжигания антисемитизма и наступления против республиканского режима. В 1896 г. было установлено, что секретные документы продал Германии офицер Эстергази, однако суд его оправдал. Борьба вокруг «дела Дрейфуса», в которой приняли участие Э. Золя, А. Франс и другие, завершилась помилованием (1899), а затем и полной реабилитацией Дрейфуса (1906).

[35] Аристотелю принадлежит труд «Риторика», в котором он рассматривает отношение риторики к философии. Римский оратор Марк Фабий Квинтилиан был автором «Наставлений в ораторском искусстве».

[36] Гильом, аббат Сен-Тьерри — автор «Жития св. Бернарда». Бернард Клервоский — монах цистерцианского ордена, основатель аббатства Клерво, в Шампани (1115). Влиятельнейший в XII в. проповедник аскетизма и преследователь еретиков, он играл значительную роль в политических событиях своего времени, проповедовал II крестовый поход.

[37] Швейцарский психолог Э. Клапаред, применявший получившие широкую известность психологические тесты.

[38] «Доктор медоточивых речей», т. е. Бернард Клервоский.

[39] Ламартиновская «История жирондистов» (т. 1—8, 1847) очень недостоверна.

[40] Сито (лат. Cistertium) — местечко около Дижона, где в 1098 г. был основан монастырь, ставший центром монашеского ордена цистерцианцев.

[41] Эпизод в Париже в начале февральской революции 1848 г. Однако выстрел перед зданием Министерства иностранных дел был сделан во время демонстрации не 25, как пишет Блок, а 23 февраля.

[42] Цезарь победил Помпея в битве при Фарсале (Греция) в 48 г. до н. э.

[43] См. выше, прим. 41.

[44] Игра слов основана на том, что во французском языке похоже звучат названия городов Бремен (Brême) и Брен (Braisne).

[45] Агора — в древней Греции торговая площадь, являвшаяся центром общественной жизни. В 1921 г. Блок написал специальную статью о слухах на войне.

[46] Святой Георгий — христианский мученик IV в., его культ был весьма популярен в средние века.

[47] Генерал Филипп Поль Сегюр — автор «Истории Наполеона и Великой армии 1812 года» (т. 1—2, 1824) и «Мемуаров» (Адъютант Наполеона», т. 1—3, 1894—1895).

[48] Неточность: имеется в виду американский историк Генри Чарльз Ли, автор книг «История инквизиции в средние века» (т. 1—2, 1888), «История инквизиции в Испании» (т. 1—4, 1906—1907).

[49] О дате «Писем к провинциалу» см. выше, прим. 33.

[50] «Гора Сент-Виктуар» — название ряда картин Поля Сезанна, написанных на его родине в Эксе (Южная Франция).

[51] Французский богослов Антуан Арно вместе с Пьером Николе написал под влиянием Паскаля сочинение «Искусство мыслить» (1662).

[52] Здесь явная описка или ошибка: третичная эпоха завершилась 1 миллион лет назад.

[53] Орден иезуатов был упразднен в 1668 г., орден иезуитов — в 1773 г. (восстановлен в 1814 г.).

[54] Итальянский историк-античник Э. Пайс отрицал достоверность римской исторической традиции.

[55] См. выше, прим. 22.

[56] Вторая империя во Франции — режим, установленный Луи Бонапартом через год после государственного переворота 1851 г., когда он был провозглашен императором под именем Наполеона III (1852—1870).

[57] Немецкий филолог Карл Лахманн является одним из создателей технических приемов критической публикации античных и средневековых текстов.

[58] Перу бенедиктинца Анри дом Кантена принадлежит книга «Опыты критики текстов» (1926).

[59] Символическое изображение родословий Иисуса Христа, согласно пророчеству Исайи («Книга пророка Исайи», XI, 1—3): Иисус через Марию связан с иудейским царем Давидом и с его отцом Иессеем. Подобные изображения на витражах соборов и в книжных миниатюрах были распространены в средние века. Во французском тексте, видимо, опечатка: «древа Иеффая».

[60] Здесь ошибка: запись обычаев салических франков — Салическая Правда — была сделана именно при Хлодвиге — вероятно, между 507 и 511 гг.; эдикты Хлодвига не сохранились. Сходные выражения относительно порядка наследования встречаются в Салической Правде (титул 59) и в эдикте Хильперика, франкского короля, внука Хлодвига. Имя «Хильперик» и нужно читать вместо «Хлодвиг».

[61] «Великая схизма» в католической церкви (1378—1417) выразилась в том, что одна часть кардиналов выбирала папу в Риме, а другая своего кандидата — в Авиньоне.

[62] О легковерности в эпоху Ренессанса Л. Февр писал в кн.: «Проблема неверия в XVI веке: религия Рабле» (1942).

[63] *См. М. Монтень.* Опыты, кн. II, гл. XII.

[64] См. *Ф. Рабле.* Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. V, гл. XXXI.

[65] Падуанская школа аверроистов — направление в философии XIV—XVI вв., выражавшее радикальную тенденцию средневекового аристотелизма. Ее представители, в том числе и П. Помпонацци, отрицали чудеса, объясняя явления природы и истории естественными причинами.

[66] Ученые монахи-бенедиктинцы, принадлежавшие к конгрегации св. Мавра (мавристы), славились особенно тщательной подготовкой изданий исторических памятников и совершенствовали технику исторического исследования. Крупнейшим из них был Мабильон (см. выше, прим. 4).

Глава четвертая

[1] Леопольд фон Ранке оказал большое влияние на немецкую историографию второй половины XIX в. «Формулу Ранке» см. в его «Собрании трудов», т. 33—34, 1874, стр. VII.

[2] Мифический Минос, царь Крита, сын Зевса и Европы, считался в высшей степени справедливым законодателем.

[3] Осирис — древнеегипетское божество, царь загробного мира, судья умерших.

[4] Генеральные штаты — сословно-представительное учреждение во Франции XIV—XVIII вв. Возвышение Ришелье началось на Генеральных штатах в 1614 г., после чего они не созывались до 1789 г.

[5] Оценка Робеспьера в историографии была крайне противоречивой. Под «робеспьеристами» Блок имеет в виду таких историков, как Бюше, Луи Блан, Жорес, а из современников — Альбера Матьеза, очень высоко оценивавшего роль Робеспьера. «Антиробеспьеристы», изображавшие его кровожадным тираном и нападавшие на него с позиций буржуазной реакции, — это Ламартин, Тэн, Мадлен и др.

[6] См. *М. Монтень.* Опыты, кн. II, гл. X.

[7] Конфликт между папой Григорием VII и императором Генрихом IV был вызван борьбой за верховенство между светской и церковной властями и

принял форму «спора из-за инвеституры» (права назначать епископов). Григорий VII и Генрих IV взаимно сместили один другого, папа отлучил Генриха от церкви, император же, вынужденный капитулировать перед папой, затем изгнал его из Рима.

[8] В годы Великой французской революции у церкви, эмигрантов и «подозрительных» были конфискованы земельные владения, объявленные «национальными имуществами». Эти земли распродавались правительством. Весной 1794 г. были приняты «вантозские декреты», облегчавшие приобретение земли бедняками. В оценке смысла аграрной политики якобинской диктатуры французские историки разошлись, что и имеет в виду Блок. Матьез оценивал эти декреты как осуществление целостной программы общественного преобразования. Ж. Лефевр, указывая на то, что в 1793—1794 гг. аграрный вопрос не был разрешен, связывал экономическую политику робеспьеристов с подготовлявшимся ими разгромом оппозиции эбертистов и полагал, что издание декретов предотвратило выступление низов в поддержку Эбера и Шометта; к тому же «вантозские декреты», составленные в расплывчатых выражениях, натолкнулись на сопротивление в Конвенте и не были проведены в жизнь.

[9] Неточность, нужно: II года. По «республиканскому календарю» исчисление велось с 22 сентября 1792 г., и III год Республики начинался 22 сентября 1794 г. (1 вандемьера). Блок говорит о событиях II года (сентябрь 1793—сентябрь 1794 гг.).

[10] Кондотьеры — предводители наемных отрядов в Италии в XIV—XV вв., поступавшие на службу к городам-республикам и нередко захватывавшие в них власть, устанавливая тиранию.

[11] Согласно точке зрения, принятой во французской историографии, господство феодализма в Западной Европе приходится на IX—XIII вв. В свою очередь эта эпоха делится на «первый феодальный период» и «второй феодальный период», условной гранью между которыми, по Блоку, является середина XI в. См. стр. 123.

[12] Имеется в виду «реализм» в той его трактовке, которая была свойственна средневековой схоластической философии: общие понятия представляют собой особые сущности — прообразы единичных предметов и существ.

[13] Автором книг «Революционный Париж» и «Парижские кварталы во время Революции» являлся Теодор Гослен Ленотр, чьи работы выходили под именем Гюстав Ленотр.

[14] Террор — система мер, проведенных Конвентом, начиная с сентября 1793 г. и до термидорианского переворота (июль 1794 г.): создание революционных трибуналов и проведение репрессий против врагов революции, а также осуществление правительственного контроля над продажей продовольствия («максимум») и других мер регламентации.

[15] В первых двух книгах романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» повествование ведется от имени магистра Алькофрибаса Назье, «извлекателя квинтэссенции». Следующие же две книги названы уже сочинением «мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины». Alcofribas Nasier — анаграмма имени и фамилии François Rabelais.

[16] Блок имеет в виду книгу Л. Февра «Проблема неверия в XVI веке» (Париж, 1942, стр. 441).

[17] Описка: Фюстель де Куланж читал в Сорбонне в 1875—1880 и в 1883—1889 гг.

[18] Блок цитирует слова из статьи П. Валери «Взгляд на современный мир» (1930).

[19] Катон Старший был защитником привилегий древнеримской знати — патрициата.

[20] Во французском языке автомобиль обозначают тем же словом (voiture), что и повозку, карету.

[21] Servus — лат.: «раб»; serf — франц.: «серв», «феодально-зависимый крестьянин»; esclave — франц.; «раб», от sclavinus — (лат.): «раб», «славянин» (на рынках рабов в период раннего средневековья было много пленных славян).

[22] Парадокс древнегреческого философа Евбулида, гласящий: «Одно зерно кучи не составляет; прибавив еще одно зерно, кучи не получишь; как же получить кучу, прибавляя каждый раз по одному зерну, из которых ни одно не составляет кучи?»

[23] «Веймарская конституция» Германии была принята в 1919 г. В соответствии с ней Германия считалась республикой.

[24] Слово «крепостной» у Блока передано: chriépostnoï.

[25] «Книга Страшного суда» — перепись земельных владений и населения, произведенная по всей Англии в 1086 г. Ее составили прибывшие в Англию писцы из французских областей Нормандии и Мэна.

[26] Colonus (лат.: «земледелец») — колон в древнем Риме, в средневековых памятниках так именовали крестьян-держателей разного социального статуса.

[27] Капитулярии — указы королей Франкского государства.

[28] Перед выборами в Генеральные штаты 1789 г., в которых приняло участие почти все третье сословие, его представители, в особенности крестьяне, сформулировали свои жалобы и требования к депутатам.

[29] «Табу» (полинезийск.: «запрет») — запрет с религиозно-магической санкцией, нарушение которого грозит смертью, болезнью или другой карой сверхъестественных сил; «тотем» (от алгонкинск.: «ототем») — предок рода, давший ему название и представлявший собой животное, растение или материальный предмет.

[30] Блок придерживался точки зрения, согласно которой «сеньориальный режим», т. е. строй крупного землевладения, эксплуатирующего крестьян, сложился независимо от феодализма и задолго до него; он был распространен на Востоке, в Риме и т. д.; в Европе он сохранялся и после исчезновения феодализма. Между тем «феодальный порядок», понимаемый Блоком как система отношений между сеньорами и вассалами («связи зависимости человека от человека»), вступившая во взаимодействие с сеньориальным режимом и опиравшаяся на него, присущ лишь определенным странам на протяжении одной эпохи. Подробней об этом см. в исследовании Блока «Феодальное общество», см. также стр. 202.

[31] Вскоре после начала буржуазной революции 1789 г. во Франции вспыхнули крестьянские восстания, сопровождавшиеся поджогами господских усадеб и замков и уничтожением феодальных кадастров с записями крестьянских повинностей.

[32] После поражения Наполеона во Францию возвратились эмигрировавшие в годы революции аристократы; одновременно в Европе воцарился режим «Священного союза», подавлявшего все революционные выступления.

[33] Французская реакция в период, предшествовавший началу второй мировой войны, да и впоследствии видела главную опасность не в фашизме, а в коммунизме. После поражения Франции летом 1940 г. реакционеры активно сотрудничали с немецкими оккупантами, режим Виши преследовал прогрессивные силы Франции, боровшиеся за освобождение страны.

[34] Антверпенская биржа была открыта в 1460 г. Расцвет Антверпена как мирового центра торговли и финансового дела относится к XVI в.

[35] Центр Синтеза был организован Анри Берром в 1925 г.

[36] Библейский миф о четырех империях, позаимствованный из Ветхого завета («Книга пророка Даниила», 2,37—45; 7,17—27) и разработанный св. Иеронимом, использовался многими средневековыми историками для обоснования периодизации истории и демонстрации идеи непрерывного «переноса власти» (translatio imperii).

[37] «История Франции» (до революции конца XVIII в.) в 9 томах выходила под редакцией Э. Лависса в 1900—1911 гг.; «История современной Франции» (от революции 1789 г. до 1919 г.) в 10 томах выходила под редакцией того же Э. Лависса в 1920—1922 гг.

[38] Немецкий историк Христофор Келлер — автор «Тройственной истории»: «Древней истории» (до Константина), «История средневековой» (до падения Константинополя) и «Новой истории».

[39] Крупнейшие работы Гизо — «Опыт истории Франции» (1823). «История цивилизации во Франции» (т. 1—4, 1843), «История английской революции» (т. 1—3, 1826—1856).

[40] «Опыт о нравах» Вольтера вышел в свет в 1756 г.

[41] Слова Кондорсе из «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума».

[42] У германцев в эпоху Великих переселений и у скандинавов на протяжении раннего средневековья было распространено искусство изготовления фибул, брошек и других украшений, широко использовавшее анималистические мотивы.

[43] Шартрский собор был построен в XII—XIII вв.

[44] «Четвертая эклога» Вергилия (из «Буколик») содержит пророчество о наступлении нового «золотого века».

[45] Dies irae (лат.: «день гнева», т. е. Страшного суда), часть мессы. Французское siècle («век») происходит от латинского saeculum, означавшего и «век», и «земной мир»; в последнем смысле это слово употребляется в «Четвертой эклоге» и в католической молитве.

[46] Автор «Истории оракулов» — Фонтенель.

[47] Второе президентство Жюля Греви — 1885—1887 гг.

[48] Имеются в виду книги немецкого историка Вернера Зомбарта «Буржуа» (1913) и «Современный капитализм» (2-е изд. 1916—1927).

[49] Пифагореизм — религиозно-философское учение в древней Греции, получившее название от имени Пифагора. В соответствии с идеей числа как определяющего принципа бытия пифагорейцы проповедовали идею вечного круговорота (повторения подобного) и переселения душ.

[50] Имеется в виду статья Февра «Цивилизация: слово, идея», опубликованная в «I Международной неделе синтеза» (Париж, 1930).

[51] К. Лампрехт в «Истории германского народа» дал периодизацию в виде последовательной смены стадиальных типов: символизм (первобытность), типизм (раннее средневековье), конвенциализм (позднее средневековье), индивидуализм (Возрождение и Просвещение), субъективизм (романтизм), социально-психологическая эпоха промышленной революции.

Глава пятая

[1] Французский финансист (шотландец по происхождению) Джон Лоу основал во Франции частный банк (1716 г., в 1718 г. стал государственным банком) и выпускал банкноты; организовал акционерную торговую Восточную компанию, слив затем с нею другие общества в Индийскую компанию. В 1720 г. Лоу назначили генеральным контролером финансов. Выпуск не обеспеченных ничем бумажных денег вызвал биржевые спекуляции, ажиотаж и привел к инфляции и к банкротству банка Лоу в том же году; Лоу бежал из Франции, оставив массу разоренных его аферами людей.

[2] См. стр. 228—230.

[3] «Черная чума» («черная смерть») — эпидемия бубонной чумы в Европе в середине XIV в., унесшая значительную часть населения.

[4] Предвосхищение основания (petitio principii) — логическая ошибка в доказательстве.

[5] Эбертисты (от имени Жака Эбера) — радикальная политическая группировка в период якобинской диктатуры во Франции, весной 1794 г. разгромленная сторонниками Робеспьера.

Л. Февр

В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДИЛАСЬ РУКОПИСЬ «РЕМЕСЛО ИСТОРИКА»

[1] См. прим. 7 к стр. 13; см. также стр. 191—193.

[2] Февр имеет в виду свои воспоминания о Блоке.

[3] Во время первой мировой войны А. Пиренн за враждебность к немцам, оккупировавшим бо́льшую часть Бельгии, был арестован и отправлен в Германию, где содержался в лагерях для военнопленных и депортированных. В Тюрингии он начал работать над «Историей Европы», в основу которой положил лекции, читанные им русским военнопленным офицерам, находившимся с ним в одном лагере.

[4] См. стр. 183—184.

[5] «Апология истории» была напечатана в серии «Тетради „Анналов"», издаваемой «Обществом Марка Блока» (или «Ассоциацией по исследованию цивилизации»).

[6] Февр ошибается: Блок, например, пишет о «социальной эволюции» (стр. 104). Понятие «эволюция» Блок употреблял и в других своих работах (см. «Феодальное общество», стр. 174).

М. Блок

ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Двухтомная монография М. Блока «Феодальное общество» вышла в 1939 и 1940 гг. Том первый — «Формирование связей зависимости» — состоит из двух частей. Часть первая: «Среда» (книга I. «Последние вторжения»; книга II. «Условия жизни и духовная атмосфера»); часть вторая: «Связи человека с человеком» (книга I. «Кровнородственные связи»; книга II. «Вассалитет и феод»; книга III. «Связи зависимости низших классов»). Том второй — «Классы и управление людьми» — состоит из трех книг (книга I. «Классы»; книга II. «Управление людьми»; книга III. «Феодализм как социальный тип и его действие»). Здесь публикуется целиком II книга первой части I тома. Примечания автора (почти исключительно — ссылки на источники) опущены.

Глава первая

[1] Работа Блока входила в основанную в 1920 г. Берром «Библиотеку исторического синтеза», серия «Эволюция человечества» (т. XXXIV и XXXIV бис.).

[2] О них говорится в предыдущей книге «Феодального общества»: там рассказано о нападениях на Европу арабов, венгров и норманнов в VIII—XI вв. и их последствиях.

[3] Анализ аграрного строя на протяжении всего средневековья сделан Блоком в книге «Характерные черты французской аграрной истории».

[4] Империя, созданная Карлом Великим, стала распадаться при его преемниках и во второй половине IX в. была окончательно разделена на Западнофранкское королевство (Франция), Восточнофранкское королевство (Германия) и Италию, временно объединявшуюся с Бургундией и территориями между Рейном и Маасом (будущая Лотарингия) (разделы 843 и 888 гг.). Одновременно внутри этих королевств происходило дробление на отдельные феодальные образования.

[5] «Каролингские missi», «государевы посланцы» франкских королей, выполняли их поручения на территории Каролингской империи и контролировали местных правителей.

[6] Начиная с середины VIII в. франкские государи совершали походы в Италию, стремясь подчинить ее и поставить под свой контроль папство.

Внуки Карла Великого боролись за императорскую корону, которую в 875 г. получил Карл Лысый из рук папы римского. Второй его поход в Италию состоялся в 877 г. и закончился изгнанием Карла Лысого его племянником, германским королем Карломаном.

[7] Герберт из Орильяка — папа Сильвестр II.

[8] Св. Эд (лат. Одон) — один из инициаторов клюнийской реформы, направленной на укрепление авторитета церкви. Аббатство Клюни, центр этой реформы, было основано в Бургундии в 910 г.

[9] Реформа католической церкви при папе Григории VII, использовавшем клюнийское движение для усиления могущества папской власти.

[10] Сант-Яго — город в Испании, основанный близ могилы св. Иакова, апостола Испании.

[11] Анналы Ламберта Герсфельдского охватывают период всемирной истории от Адама до 1077 г.

[12] Точка зрения Блока в некоторых вопросах близка к взглядам А. Пиренна. Пиренн связывал начало средних веков не с варварскими завоеваниями V—VI вв., а с событиями VIII—IX вв. Книга Блока тоже начинается с описания арабских нападений на Европу, которым Пиренн придавал решающее значение в переходе от античности к средневековью. Он считал, что арабские нападения прервали торговлю между Западным и Восточным Средиземноморьем, и тем самым стали неизбежными переход на Западе к натуральному хозяйству и усиление крупных земельных собственников. За Пиренном Блок шел отчасти и в трактовке экономики «первого феодального периода», придавая, в частности, торговле особое значение. Отказываясь говорить о «натуральном хозяйстве» в период раннего средневековья, Блок спорит с упрощенной трактовкой этого понятия в предшествующей историографии. Но вместе с тем он отвлекается от решающего обстоятельства, а именно, что воспроизводство крестьянского хозяйства происходило за счет внутренних ресурсов и в сущности было простым, а не расширенным. Наличие международной торговли не противоречило господству натурального хозяйства.

[13] Испания была завоевана арабами в 711—718 гг.

[14] Венгры (мадьяры) поселились на Дунае в конце IX—начале X в.

[15] Блок имеет в виду средневековое бюргерство.

[16] Феодальные государства, созданные на Востоке в результате крестоносных завоеваний. Главным из них была Латинская империя (1204—1261).

Глава вторая

[1] Оттон I, Оттон II, Оттон III, Генрих II.

[2] Эно — область в Нидерландах (ныне в Бельгии).

[3] Нона (лат.) — девятый час в церковном суточном распорядке.

[4] Абак — счетная доска, применявшаяся в древности и в средние века; напоминает современные счеты.

[5] Нормандское завоевание — завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом в 1066 г. Битва при Гастингсе произошла 14 октября 1066 г. В ней Вильгельм одержал решительную победу над англосаксонским королем Гарольдом.

[6] Вильгельм Завоеватель пожаловал лондонцам широкие торговые и другие льготы.

[7] «Каролингским Ренессансом» в научной литературе называют период подъема образованности и оживления литературы и искусства во Франкском государстве при Карле Великом и его преемниках. Эти явления наблюдались преимущественно при дворе императора и в отдельных монастырях.

[8] Солецизм — ошибка в построении фразы, соединение слов против правил грамматики.

[9] Койнэ — общий язык (греч.), здесь имеется в виду латынь.

[10] Flamen — у древних римлян жрец отдельного божества.

[11] См. прим. 7 к гл. первой.

[12] Роберт II — герцог Нормандии.

[13] Мать Оттона III — византийская принцесса Феофано, племянница византийского императора Иоанна I Цимисхия, жена императора Оттона II с 972 г.

[14] Сид, Родриго Диас де Вивар, по прозвищу Сид Компеадор («господин битв») — испанский дворянин, отличившийся в боях против арабов, герой эпоса «Песнь о моем Сиде». Химена — его жена.

[15] «Оттоновская привилегия» была пожалована папе 13 февраля 962 г.

[16] Контрреформация — политика папства и католической церкви, направленная на подавление реформационного движения XVI в.

[17] Манихейство (по имени Мани, полумифического вероучителя III в.) — религия, возникшая в Иране и распространившаяся в Азии и Европе, вплоть до Италии и Франции. В основе ее лежит учение о борьбе между силами добра, света и духа (царство бога) и силами зла, тьмы и материи (царство дьявола). Всемирная история представляет для манихеев борьбу этих противоположностей и завершится мировой катастрофой, в результате которой дух освободится, а материя погибнет. Манихейство требовало умерщвления плоти, безбрачия, отказа от богатства и собственности. Западные ереси катаров (альбигойцев) и вальденсов испытали на себе влияние манихейства.

[18] В Восточной Европе и Византии манихейское влияние проявилось в ереси павликиан и богомилов.

[19] В своей «Хронике, или истории двух градов» Оттон Фрейзингенский в соответствии с учением Августина о борьбе между Градом божьим и Градом земным рассказывает о событиях всемирной истории, большое место отводя современному ему конфликту империи с папской властью; в нем он видит предвестие близящегося конца света.

[20] «Апокалипсис» («Откровение Иоанна») — последнее включенное в Новый завет сочинение, составленное в 68 или 69 г. «Апокалипсис» предрекает пришествие Антихриста, «тысячелетнее царство Христово» и конец света. В средние века эти мотивы были очень популярны и использовались, в частности, еретиками, предсказывавшими скорейшее наступление этих событий.

[21] Исследованиями Блока, а затем других ученых (Фосильона, Поньона, Дюби) доказана необоснованность точки зрения, согласно которой волнения, вызванные ожиданием конца света, усилились именно перед 1000 г.

[22] См. Первое послание к фессалоникийцам, 5, 2.

Глава третья

[1] Григорий Турский — автор «Истории франков»; Евсевий Кесарийский — автор «Жизни Константина», «Церковной истории»; св. Иероним — церковный писатель; Павел Орозий — испанский священник, автор очерка всемирной истории — «Истории против язычников», популярной в средние века; Регинон Прюмский, автор «Всемирной хроники»; Вустерская и Питербороская хроники — англосаксонские хроники, составленные соответственно в Вустерском и Питербороском монастырях начиная с IX в.

[2] Гиберт Ножанский — французский хронист, автор «Деяний господа посредством франков» (о крестовых походах). О подложных мощах повествуют его «Приметы святых».

[3] В трактате «Да и нет» Абеляр вскрывал противоречивость мнений церковных авторитетов.

[4] В Исландии, культура которой и после христианизации (ок. 1000 г.) сохраняла связь с германским язычеством, в XII—XIII вв., расцветает самобытная прозаическая литература (исландские саги). Крупнейшие из исландских историков — Ари Торгильссон и Снорри Стурлусон — в гораздо меньшей степени, чем латинские хронисты, ссылаются на сверхъестественные силы и «промысел божий», объясняя историю преимущественно человеческими поступками.

[5] Аврелий Августин — автор сочинений «О граде божьем», «Исповедь» и др.

[6] Хроники Оттона называются: «История двух градов» и «Деяния императора Фридриха I», но в своих произведениях он употреблял понятие «смена, переменчивость времен».

[7] «Лжеисидоровы декреталии» — сборник фальшивых документов, созданный в IX в. и приписанный Исидору Севильскому. В состав сборника входили папские послания (декреталии), решения соборов, «Константинов дар» и другие подложные акты, с помощью которых церковь обосновывала папское верховенство.

[8] В 962 г. Оттона I в Риме папа короновал императорской короной — так была «восстановлена» Римская империя.

[9] «Деяния», песни о подвигах (chansons de geste) — поэзия на народном диалекте, появившаяся во Франции с конца XI в. и развивавшаяся до XIII в. События, воспеваемые в песнях, относятся ко временам Карла Великого и его преемников, но трактуются с точки зрения людей периода расцвета феодализма.

[10] Хариульф, французский хронист, писал жития святых.

[11] Ганелот — персонаж «Песни о Роланде».

[12] «Вальтариус» — латинский героический эпос, составленный, по-видимому, около IX в. Повествует о побеге Вальтера Аквитанского и его невесты из владений короля гуннов Этцеля (Аттилы) и о борьбе Вальтера с бургундским королем Гунтером. В «Вальтариусе» германское сказание переработано на основе античных литературных образцов и под христианским влиянием.

[13] В романах о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола использованы народные кельтские предания Уэльса о короле бриттов Артуре, в V—VI вв. боровшемся против англосаксонских завоевателей. Рыцарские романы об Артуре сочинялись с XII в.

[14] Жозеф Бедье — автор исследования «Эпические сказания» (т. 1—4, 1908—1913).

[15] «Паломничество Карла Великого» — французская героическая песнь XII в. (о паломничестве Карла Великого в Иерусалим); «Фловант» — героическая песнь конца XII в., ее герой — франкский король Дагоберт I.

[16] Вас — автор «Истории герцогов Нормандии», «Деяний бретонцев» («Брут»), «Деяний нормандцев» («Ру»); Бенуа де Сент-Мор — автор «Романа о Трое» и «Истории нормандских герцогов».

[17] Санкт-Галленское аббатство в Швейцарии. Анонимное произведение «О деяниях Карла Великого» (884—887 гг.) приписывают Ноткеру Заике.

[18] «Песнь об Антиохии» — героическая песнь о I крестовом походе и взятии Антиохии, возникла около 1180 г.

[19] «Песнь об Анно» — старейший образец поэзии на немецком языке.

[20] «Песнь о Нибелунгах» — немецкий эпос XIII в.

[21] «Лис», «Роман о Ренаре» — героико-комический цикл XII—XIII вв. В нем фигурируют звери, персонифицирующие представителей феодального общества. Герой эпоса — умный и хитрый Ренар — обманывает и побеждает других зверей, олицетворяющих дворян и духовенство.

[22] Ранульф Глэнвилл — юстициарий и главный советник английского короля Генриха II, автор первого сборника обычного права: «О законах и обычаях Англии» (есть предположение, что этот трактат написан его племянником Хюбертом Уолтером).

Глава четвертая

[1] Шартрская школа схоластической философии переживала расцвет в XI— первой половине XII в. Наиболее известные ее представители: Фульберт Шартрский, основатель школы; Бернард Шартрский, Гильберт Порретанский, Гильом Коншский, Бернард Сильвестр Турский, Тьерри Шартрский, Иоанн Сольсберийский. В Шартре наряду с общими проблемами схоластики изучались математика и другие естественные науки, большое внимание уделялось античному философскому наследию.

[2] В Болонье начиная с XII в. существовал университет, знаменитый своим юридическим факультетом; болонская школа права была наиболее авторитетной в Европе. В Париже также с XII в. был университет, влиятельнейший центр образования и богословия (в особенности в XIII столетии).

[3] Книга Бытия, 28, 12.

[4] Сочинения Гиберта Ножанского «О моей жизни» написано как подражание «Исповеди» Августина.

[5] Архипиита — анонимный немецкий поэт из окружения императора Фридриха I Барбароссы.

[6] Бернард Шартрский говорил ученикам: «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они (т. е. мыслители древности), не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что мы их выше, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост своим величием».

[7] Вегеций — римский автор пособия по военному искусству; Валерий Максим — римский писатель, автор сочинения «Достопамятные деяния и изречения», пользовавшегося популярностью как пособие по риторике.

[8] «Песнь песней» — любовная поэма, возникшая во II в. до н. э. и включенная в Ветхий завет; приписывалась царю Соломону (X в. до н. э.).

[9] Святой Антоний — один из основателей монашества, его житие составлено Афанасием в IV в.

[10] Солин — римский писатель, автор популярного в средние века компендиума, содержащего сведения о природе, географии и истории.

[11] «Хроника» Виллардуэна оправдывает захват крестоносцами Константинополя.

[12] «Хроника» Роберта де Клари выражает взгляды мелкого крестоносного рыцарства.

[13] «Деяния римлян» — популярный сборник историй, возникший в начале XIV в. и включающий свыше 300 рассказов, сказок и легенд античного, восточного и христианского происхождения с аллегорически-морализирующей тенденцией.

[14] Анжуйская империя Плантагенетов в XII—начале XIII в. включала Англию и значительную часть Франции.

[15] Вельфы — немецкий княжеский род, с VIII—IX вв. владевший землями в Швабии и Бургундии; в 1070 г. получили от императора Баварию, к которой в XII в. присоединили часть Саксонии. В результате последовавшей борьбы с императорами в 1180 г. потеряли бóльшую часть своих владений.

[16] Кретьен де Труа — французский поэт, живший при фландрском и шампанском дворах, автор поэм, примыкающих к циклу романов о короле Артуре: «Эрек и Энид», «Клижес», «Ланселот, или тележка», «Гильом Английский», «Персеваль, или сказание о Граале» и др. Использовал бретонские легенды и провансальскую поэзию.

[17] Окончательный разрыв между католической и православной церквами произошел в 1054 г.

[18] Герхо из Райхерсберга — один из деятелей церковной реформы.

[19] Стефан Лэнгтон — архиепископ Кентерберийский, назначенный папой вопреки воле английского короля Иоанна Безземельного, который отказался его принять, за что был отлучен от церкви. Иоанн вызвал недовольство английских баронов, чье выступление, поддержанное рыцарством, привело в 1215 г. к изданию «Великой Хартии вольностей».

Глава пятая

[1] Випо — автор «Истории Конрада (II)».

[2] Салические (т. е. приморские) франки жили до середины IV в. на побережье Северного моря, от устьев Рейна до Шельды; во второй половине IV в. заняли территорию до Мааса, к середине V в. — до Соммы, завладев большей частью Северной Галлии. Рипуарские (т. е. речные) франки жили

по течению Рейна. Вестготское королевство в Испании существовало в V— начале VIII в.

[3] См. прим. 22 к гл. третьей.

[4] Гинкмар Реймский — приближенный Карла Лысого, автор «Бертинских анналов».

[5] Урбан II являлся инициатором I крестового похода.

[6] Тертуллиан был противником греческой философии.

[7] Бомануар составил «Кутюмы Бовези», свод обычного права северофранцузской области Бовези.

[8] В скандинавских странах в качестве хранителей обычаев выступали особые должностные лица. В Исландии главой судебного собрания (альтинга) являлся выборный «законоговоритель», который должен был сохранять в памяти действующее право и периодически рассказывать его участникам собрания. В Швеции такую функцию выполняли лагманы.

[9] Сейзина (saisine, нем. Gewere) — фактическое владение, пользование, присвоение, господство над землей и людьми.

[10] Квиритская собственность — гражданская римская собственность, частная собственность римского гражданина.

[11] Блок имеет в виду введенное Л. Леви-Брюлем понятие «причастность», «партиципация», употреблявшееся им для характеристики архаического мышления первобытных людей, которое он квалифицировал как «прелогическое», качественно отличающееся от логического мышления, исключающего противоречия. «Прелогическое» сознание, по Леви-Брюлю, допускает мысль о мистической сопричастности, взаимодействии людей и других существ, вещей и сверхъестественных сил. Блок заимствует лишь формулу, а не идею мистической «партиципации».

[12] «Дигесты» — часть «Корпуса гражданского права» (Corpus Iuris Civilis) Юстиниана, содержит выдержки из трудов римских юристов.

[13] Итальянские походы Фридриха I Барбароссы предпринимались с целью подчинения империи Италии, в частности богатых североитальянских (ломбардских) городов, и привели к новому конфликту императора с папой.

[14] Плацентин преподавал право в Мантуе и Болонье; им была основана в Монпелье первая французская юридическая школа.

[15] Ваккарий — специалист по каноническому праву, представитель Болонской школы, преподавал римское право в Англии.

[16] Кодекс Юстиниана — собрание законов Римской империи II—начала VI в., был издан Юстинианом в 529 г.

[17] Пизанская хартия издана не в 1132, а в 1162 г. В ней содержится признание императором Фридрихом Барбароссой статута самоуправления Пизы.

[18] «Саксонское зерцало» — свод обычного права («земского» и «ленного») Саксонии, автором его считается Эйке фон Репгов.

[19] Имеются в виду обобщающие трактаты по богословию XII и XIII вв. (например «Теологическая сумма» Фомы Аквинского).

[20] Бальи — должностное лицо в феодальной Франции, ведавшее управлением и судом по поручению короля или сеньора.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аббон из Флери (ум. 1004), бенедиктинский монах из монастыря Флери на Лауре (Сен-Бенуа сюр Луар) 148
Абеляр, Пьер (1079—1142), французский мыслитель 152, 169, 244
Август, Октавиан Клавдий (63 г. до н. э.—14 г. н. э.), римский император (27 г. до н. э. —14 г. н. э.) 28, 68, 153
Августин, Аврелий (354—430), католический святой, один из отцов церкви, философ 153 162, 244, 246
Адемар Шабаннский (ок. 988—1034), французский хронист 151
Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.), царь Македонии (с 336), полководец и государственный деятель 237
Алкуин (730—804), английский монах, приближенный Карла Великого, деятель «Каролингского возрождения» 102
Алькофрибас см. Рабле
Альфан, Луи (1880—1950), французский историк 191, 203, 208
Альфред (ок. 848—899), английский король (871—899) 137, 138, 171
Амалы, династия остготских королей, угасшая в VI в. 162
Анно, архиепископ Кельнский (1056—1075) 162
Ансельм святой (1033—1109), архиепископ Кентерберийский (1093—1109), философ-схоласт и богослов 169
Антоний святой (ок. 251—356), один из основателей монашества в Египте 246
Ари Торгильсон (ок. 1067—1148), исландский историк 244
Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ 15, 57, 166, 237
Арно, Антуан (1612—1694), французский богослов 70, 237
Арну д'Ардр, французский рыцарь (XII в.) 161
Артур, легендарный король бриттов (V—VI вв.) 157, 245, 246
Архипиита, анонимный немецкий поэт (XII в.) 166, 246
Аттила (ум. 453), король гуннов, возглавлявший их вторжение в Римскую империю 153, 162, 163, 245
Афанасий Александрийский (ок. 295—373), богослов и церковный деятель, автор «Жития св. Антония» 246

Бабеф, Гракх (Франчуа Ноэль) (1760—1797), французский революционер, коммунист-утопист 96
Балдуин Бульонский, иерусалимский король (1100—1118), участник первого крестового похода 142
Банвиль де, Теодор (1820—1891), французский поэт и критик 51, 236
Барг М. А. (род. 1915), советский историк 203, 231
Барлоу, Фрэнк (род. 1911), английский историк 211
Баррес, Морис (1862—1923), французский писатель 20
Бахтин М. М. (1895—1975), советский филолог 204, 206
Бедье, Жозеф Шарль Мари (1864—1938), французский филолог 157, 245
Бейль, Пьер (1647—1706), французский философ 11, 49, 60, 103, 187
Беккер, Карл Лотус (1873—1945), американский историк 189, 194
Бенедикт, диакон (Бенедикт Левит) (IX в.), составитель подложных капитуляриев франкских королей 153
Бенуа де Сент-Мор (XII в.), французский поэт и историк 159, 245
Бергсон, Анри (1859—1941), французский философ 106
Бернар, Клод (1813—1878), французский естествоиспытатель 49
Бернард Клервоский (ок. 1091—1153), деятель католической церкви, французский богослов и мистик 58, 59, 149, 237
Бернард Сильвестр Турский (ум. ок. 1150), французский философ-схоласт 245
Бернард Шартрский (ум. между 1124 и 1130), французский философ-схоласт 166, 245, 246
Берр, Анри (1863—1954), французский историк 193, 232, 240, 242
Бессмертный, Ю. Л. (род. 1923), советский историк 203, 231
Бирд, Чарльз Остин (1874—1948), американский историк 189, 194
Блан, Луи (1811—1882), французский историк, утопист, деятель революции 1848 г. 238
Блок, Гюстав (1848—1923), французский историк 182
Блуа, граф (конец XI в.) 178
Бодуэн II де Гин (ум. 1205), пикардийский рыцарь 165
Бокль, Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог 188
Болланд, Жан (1596—1665), издатель средневековых «Житий святых» 234
Боло (ум. 1917), немецкий шпион в годы I мировой войны 57
Бомануар, Филипп де Реми (ок. 1250—1296), французский юрист и поэт 157, 181, 247
Бональд, Луи де (1754—1840), французский религиозный философ 27
Борель, Эмиль (1871—1956), французский математик 74
Боссюэ, Жан Бенинь (1627—1704), епископ, французский богослов и историк 20, 49, 235
Бродель, Фернан (род. 1902), французский историк 219, 221, 224

Бугро, Адольф Вильям (1825—1905), французский живописец 70
Буленвилье, Анри де (1658—1722), французский аристократ, историк 96
Бурбоны, королевская династия во Франции (1589—1792, 1814—1830) 233
Буркхардт, Якоб (1818—1897), швейцарский историк 235
Бурхард (ок. 965—1025), епископ Вормский (1000—1025) 153
Бурцев, Владимир Львович (1862—1942), русский историк и издатель 236
Буше де Перт, Жак (1788—1868), французский археолог 38, 234
Бэкон, Роджер (1214—1294), английский философ и естествоиспытатель 71
Бэкон, Френсис (1561—1626), английский философ и государственный деятель 71
Бюше, Филипп Жозеф (1796—1865), французский историк и политический деятель 238

Ваккарий (1120—ок. 1200), итальянский юрист 178, 249
Валери, Поль (1871—1945), французский поэт и писатель 39, 90, 232, 239
Валерий Максим (первая половина I в. н. э.), римский писатель 166, 246
Вас (ок. 1100—ок. 1175), французский хронист и поэт 159, 245
Вебер, Макс (1864—1920), немецкий социолог и историк 189
Вегеций (конец IV—начало V в. н. э.), римский писатель 166, 246
Вельфы, немецкий княжеский род 166, 246
Вергилий Марон (70—19 гг. до н. э.), римский поэт 241
Веспасиан, Тит Флавий (9—79), римский император (69—79) 48
Видаль де ла Блаш, Поль (1845—1918), французский географ 120
Виллардуэн (ок. 1150—ок. 1213), участник и историк IV крестового похода 167, 246
Вильгельм I Завоеватель (1027—1087), герцог Нормандии, король Англии (1066—1087) 93, 126, 137, 138, 142, 152, 243
Вильгельм III (нач. X в.—963), герцог Аквитанский (951—963) 142
Вильгельм (IX в.), франкский граф 155
Вильмарке, Т.-Э. де ла (1815—1895), автор сборника подложных бретонских песен 55, 236
Випо (ум. ок. 1046), немецкий хронист 171, 246
Вольней, Константин Франсуа (1757—1820), французский просветитель 48, 74
Вольта, Алессандро (1745—1827), итальянский физик 23
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694—1778), французский философ-просветитель, историк и писатель 35, 70, 101, 187, 192, 241
Врен-Люка, Дени (род. 1816), фальсификатор автографов великих людей 56, 70, 237

Галилей, Галилео (1564—1642) 56
Ганка, Вацлав (1791—1861), чешский филолог 236
Гарольд, англосаксонский король (1066) 243
Гедше, Герман (1816—1878), немецкий писатель 236
Гекатей Милетский (конец VI в. до н. э.), греческий логограф 15, 233
Гельмольд (ок. 1125—ок. 1177), немецкий хронист 147
Генрих I (1008—1060), французский король (1031—1060) 136
Генрих II (973—1024), германский император (1002—1024) 243
Генрих II Плантагенет (1133—1189), английский король (1154—1189) 164, 173, 180, 245
Генрих III (1017—1056), германский император (1039—1056) 143, 154
Генрих IV (1050—1106), германский император (1056—1106) 80, 152, 238
Генрих Щедрый, граф Шампанский (1152—1182) 166
Георгий святой (IV в.), христианский мученик 67, 237
Герберт де Вермандау (X в.), французский рыцарь 156
Герберт из Орильяка см. Сильвестр II
Геродот (490/480 г.—430/424 г. до н. э.), греческий историк 36, 47, 79, 234, 235
Герхо из Рейхерсберга (ок. 1093—1169), немецкий церковный деятель и писатель 169, 246
Гиберт Ножанский (1053—1124), французский хронист 152, 165, 244, 246
Гибур (IX в.), франкская графиня 155
Гизо, Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и политический деятель 101, 106, 192, 241
Гильом де Сен-Тьерри (ок. 1085—1148), французский богослов 58, 237
Гильом Коншский (ок. 1080—ок. 1150), французский философ-схоласт 245
Гильберт Порретанский (ок. 1076—1154), французский философ-схоласт 245
Гинкмар (ум. 882), архиепископ Реймский, франкский хронист 174, 247
Гитлер, Адольф (1889—1945) 72
Глэнвилл, Ранульф (ум. 1190), юстициарий английского короля Генриха II 164, 180, 245
Годфрид, герцог лотарингский (XI в.) 160
Гольбейн, Ганс, Младший (1497—1543), немецкий живописец и график 89
Греви, Жюль (1807—1891), французский государственный деятель, президент Франции (1879—1887) 103, 241
Грейвз, Филипп, английский журналист 236
Григорий святой (Григорий Богослов) (ок. 329—ок. 390), патриарх Константинопольский, один из отцов церкви 162
Григорий (ок. 538—594), епископ Турский, франкский историк 150, 244
Григорий VII Гильдебранд (ок. 1015—1085), папа римский (1073—1085) 80, 125, 168, 238, 243
Гумбольдт, Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель 50
Гунтер, епископ Бамберга (1057—1065) 162

Дагоберт I (ок. 605—639), франкский король (629—639) 235, 245
Декарт, Рене (1596—1650), французский мыслитель 49, 187, 235
Делэ, Ипполит (1859—1941), бельгийский болландист 70
Дильтей, Вильгельм (1833—1911), немецкий философ 194
Диц, Фридрих (1794—1876), немецкий филолог 121

Доде, Альфонс (1840—1897), французский писатель 237
Домбаль, Матье де (1777—1843), французский агроном 91
Дрейфус, Альфред (1859—1935), французский офицер, жертва судебной провокации, вызвавшей политический конфликт во Франции 57, 105, 237
Дуэ, Эрно де (X в.), французский рыцарь 156
Дюби Жорж (род. 1919), французский историк 244
Дюма, Александр (отец) (1803—1870), французский писатель 9
Дю Пэн, Луи-Элли (1657—1719) французский историк религии 49, 235
Дюркгейм, Эмиль (1858—1917), французский социолог 12, 120, 193, 232

Евбулид (IV в. до н. э.), древнегреческий философ 240
Евсевий Кесарийский (ок. 260—ок. 340), церковный писатель 151, 244

Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), руководительница освободительной борьбы французского народа 187
Жид, Андре (1869—1951), французский писатель 9, 55
Жиль д'Орваль (1272—1352), бельгийский хронист-монах 152
Жоли, Морис (1821—1878), французский писатель 236
Жорес, Жан (1859—1914), французский политический деятель и историк 238
Жоффр, Жозеф Жан Сезер (1852—1931), французский маршал, главнокомандующий французской армии в 1914—1916 гг. 36
Жоффруа Красивый (1113—1151), Плантагенет, граф Анжуйский (1131—1151) 166

Зиммель, Георг (1858—1918), немецкий историк и социолог 110
Золя, Эмиль (1840—1902), французский писатель 237
Зомбарт, Вернер (1863—1941), немецкий историк 104, 241

Иаков, испанский святой 158, 243
Иероним святой (ок. 347—419/420), церковный писатель 151, 168, 240, 244
Иоанн Безземельный (1167—1216), английский король (1199—1216) 169, 246
Иоанн Сольсберийский (ок. 1125—1180), философ-схоласт 245
Иоанн I Цимисхий (924—976), византийский император (969—976) 244
Исидор, епископ Севильский (ок. 570—636), церковный писатель 153, 245

Кальвин, Жан (1509—1564), швейцарский церковный реформатор, основоположник наиболее радикального течения в протестантизме 26
Кантен дом, Анри (1872—1935), исследователь и издатель «житий святых» 73, 238
Капетинги, французская королевская династия (987—1328) 133, 158, 176
Карл Великий (ок. 742—814), король франков (с 768), император (800—814) 53, 54, 68, 155, 158, 160, 243, 245
Карл VII (1403—1461), король Франции (1422—1461) 187
Карл Лысый (823—877), франкский король (с 840), император (875—877) 125, 243, 247
Карломан, германский король (876—880) 243
Каролинги, королевская (с 751) (с 800 г. императорская) династия, правившая Франкским государством до 887 г. в Италии, до 911 г. в Германии и до 987 г. во Франции 124, 128, 144, 158, 160, 163
Карон, Пьер (род. 1875), французский историк 31, 234
Катон, Марк Порций Старший (234—149 гг. до н. э.), римский политический деятель 90, 239
Квантилиан, Марк Фабий (ок. 35—ок. 96), римский оратор 57, 237
Кейнз, Джон Мейнард (1883—1946), английский экономист 99
Келлер (Целлариус), Христофор (1637—1707), немецкий историк 101, 240
Кельвин, лорд (Уильям Томсон) (1824—1907), английский физик 15
Клапаред, Эдуард (1873—1940), швейцарский психолог 58, 237
Клеопатра VII (69—30 гг. до н. э.), египетская царица (51—30 гг.) 237
Климент IX (1600—1669), римский папа (1667—1669) 71
Климент XIV (1705—1774), римский папа (1769—1774) 71
Кнут Великий (ок. 1000—1035), король Дании (1014—1035) и Англии (1017—1035) 128, 171
Коллингвуд Робин Джордж (1889—1943), английский историк и философ 190, 192
Коломбини, Джованни (ум. 1367), основатель ордена иезуатов 71, 75
Коммин, Филипп де (1447—1511), французский хронист и политический деятель 144
Кондорсе, Мари Жан Антуан (1743—1794), французский философ-просветитель 102, 241
Конрад II (ок. 990—1039), германский император (1024—1039) 126, 143, 152, 154
Константин I (280—337), римский император (306—337) 235, 240
Конт, Огюст (1798—1857), французский философ и социолог 232
Кретьен де Труа (ум. ок. 1191), французский поэт 167, 246
Кроче, Бенедетто (1866—1952), итальянский философ и историк 189, 194
Крукс, Уильям (1832—1919), английский естествоиспытатель 33
Ксенофонт (ок. 450—354 гг. до н. э.), афинский политический деятель и писатель 187
Курно, Антуан Огюстен (1801—1877), французский математик, экономист и философ 7, 35, 76, 119

Лависс, Эрнест (1842—1922), французский историк 240
Ламартин, Альфонс де (1791—1869), французский поэт, историк и политический деятель 59, 237, 238
Ламбаль Мария-Тереза Луиза де (1749—1792), французская принцесса 31, 234
Ламберт Герсфельдский (ок. 1025—ок. 1088), немецкий хронист 128, 151, 243
Лампрехт, Карл (1856—1915), немецкий историк 106, 235, 241
Ланглуа, Шарль (1863—1929), французский историк 115, 119, 191, 192, 193, 232
Ланжевен, Поль (1872—1946), французский физик 15, 187

Лаплас, Пьер Симон (1749—1827), французский математик, физик, астроном 74, 87
Лахман, Карл (1793—1851), немецкий филолог 73, 238
Ле Брас, Габриэль (род. 1891), французский историк церкви, специалист по социологии религии 95
Лев X (1475—1521), папа римский (1513—1521) 101
Левассер, Мишель (1648—1718), французский историк и богослов 49
Леви-Брюль, Люсьен (1857—1939), французский этнолог и социолог 247
Ле Гофф, Жак (род. 1924), французский историк 208, 211, 229
Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ 8, 23, 99
Ленорман, Франсуа (1837—1883), французский искусствовед 55
Ленотр, Гюстав (Теодор Госселен) (1857—1935), французский журналист и историк 86, 239
Леруа Ладюри, Эммануэль (род. 1929), французский историк 222
Лефевр, Жорж (1874—1959), французский историк 239
Ли, Генри Чарльз (1825—1909), американский историк 68, 237
Лойола, Игнатий (1491—1556), испанский богослов и церковный деятель, основатель ордена иезуитов 26, 71, 75
Локк, Джон (1632—1704), английский философ и психолог 235
Лоу, Джон (1671—1729), французский финансист 108, 241
Луи Филипп Орлеанский (1773—1850), король Франции (1830—1848) 233
Люблинская, А. Д. (1902—1980), советский историк 118, 226, 231
Людовик Благочестивый (778—840), франкский император (814—840) 152, 170
Людовик III (ок. 863—882) франкский король (879—882) 155
Людовик VI Толстый (ок. 1081—1137), французский король (1108—1137) 133, 136, 149
Людовик VII (ок. 1120—1180), французский король (1137—1180) 65
Людовик IX Святой (1214—1270), французский король (1226—1270) 91, 180
Людовик XIV (1638—1715), французский король (1643—1715) 99, 102, 103, 234
Людовик XV (1710—1774), французский король (1715—1774) 234
Людовик XVI (1754—1793), французский король (1774—1792) 236
Лютер, Мартин (1483—1546), вождь бюргерской реформации в Германии, основатель протестантизма 19, 26, 80, 89, 195, 233.

Мабильон, Жан (1632—1707), бенедиктинец; исследователь и издатель средневековых рукописей 48, 49, 57, 64, 76, 235, 238
Мадлен, Луи (1871—1956), французский историк 238
Макиавелли, Николо (1469—1527), итальянский политический мыслитель и историк 27, 144
Макферсон, Джеймс (1736—1796), шотландский поэт 236
Мальбранш, Никола (1638—1715), французский философ 9
Мандру, Робер (род. 1921), французский историк 222
Марбо, Жан Батист Антуан Марселен (1788—1854), французский генерал 64, 68
Мария-Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI, дочь австрийского императора 53, 236
Маркс, Карл (1818—1883), 96, 192
Матьез, Альбер (1874—1932), французский историк 238, 239
Маурер, Георг Людвиг фон (1790—1874), немецкий историк 235
Мейе, Антуан (1866—1936), французский лингвист 121
Меревиль, французские дворяне 127
Мериме, Проспер (1803—1870), французский писатель 55, 236
Меровинги, династия франкских королей (V в.—751) 143, 163, 234
Минос, легендарный царь Крита 80
Мишле, Жюль (1798—1874), французский историк 17, 23, 27, 38, 88, 101, 107, 120, 187, 192, 209, 233
Молинье, Огюст (1851—1904), французский историк-архивист 234
Молинье, Эмиль (1857—1906), французский палеограф 42, 234
Моммзен, Теодор (1817—1903), немецкий историк-античник 235
Моно, Габриэль (1844—1912), французский историк 120
Монтень, Мишель (1533—1592), французский мыслитель 48, 77, 80, 187, 235, 238
Монтескье, Шарль (1689—1755), французский философ-просветитель 96
Мориль, Руанский архиепископ (ум. 1065) 126
Моррас, Шарль (1868—1952), французский публицист, критик, поэт 20, 51, 236
Мэтланд, Фредерик (1850—1906), английский историк права 27, 28, 233

Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский государственный и военный деятель, первый консул Французской республики (1799—1804), император (1804—1814, 1815) 35, 64, 65, 72, 109, 232, 233, 240
Наполеон III (1808—1873), французский император (1852—1870) 236, 238
Нибур, Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк 37, 235
Николе, Пьер (1625—1695), французский богослов 237
Ницше, Фридрих (1844—1900), немецкий философ 188
Норберт (ок. 1080—1134), архиепископ Магдебургский (1126—1134), основатель ордена премонстрантов 147
Ноткер, епископ Льежа (972—1008) 139
Ноткер Заика (840—912), немецкий поэт 245
Ньютон, Исаак (1643—1727) 11, 56, 103

Оккам, Уильям (ок. 1300—1349), английский философ-схоласт 102
Орозий, Павел (нач. V в.), испанский историк 151, 244
Оссиан, легендарный кельтский поэт 55
Оттон I Великий (912—973), германский король (936—973), император (962—973) 48, 139, 143, 144, 150, 154, 243, 245
Оттон II (955—983), германский император (973—983) 142, 243, 244

Оттон III (980—1002), германский император (983—1002) 47, 142, 147, 154, 235, 243, 244
Оттон Фрейзингенский (ок. 1114—1158), немецкий хронист 147, 153, 244, 245

Пайс, Этторе (1856—1939), итальянский историк 71, 238
Папеброх, Даниэль (1628—1714), болландист, издатель средневековых рукописей 48, 49, 235
Паре, Амбруаз (ок. 1517—1590), французский ученый, хирург 61, 62
Парис, Гастон Брюно Полен (1839—1903), французский филолог 153, 161
Паскаль, Блез (1623—1662), французский философ и математик 20, 35, 56, 70, 80, 87, 187, 237
Пастер, Луи (1822—1895), французский биолог 103, 120
Пеги, Шарль Пьер (1873—1914), французский философ, поэт и публицист 14, 233
Пеле, Жан-Жак (1777—1857), французский генерал 67
Перикл (ок. 495—429 гг. до н. э.), афинский государственный деятель 102
Петр Дамиани (1007—1072), итальянский богослов, кардинал-епископ Остии (1057—1072) 160, 168
Петр Ломбардский (ум. ок. 1160), итальянский философ-схоласт 169
Пиренн, Анри (1862—1935), бельгийский историк 27, 51, 115, 193, 233, 242, 243
Пиррон (ок. 365—ок. 275 гг. до н. э.), древнегреческий философ-скептик 235
Пифагор (580—500 гг. до н. э.), древнегреческий философ и математик 237, 241
Плантагенеты, династия английских королей (1154—1399) 167, 246
Платон (427—347 гг. до н. э.), древнегреческий философ 187
Плацентин (ум. 1192), итальянский юрист 178, 247
Плеханов, Г. В. (1857—1918) 51, 236
Полибий (ок. 200—120 гг. до н. э.), древнегреческий историк 68
Помпей, Гней (106—48 гг. до н. э.), римский полководец, политический деятель 60, 237
Помпонацци, Пьетро (1462—1525), итальянский философ 77, 238
Пушкин, А. С. (1799—1837) 236

Рабан Мавр (ок. 784—856), франкский богослов, архиепископ Майнцский, деятель «Каролингского возрождения» 146
Рабле, Франсуа (ок. 1494—1553), французский писатель-гуманист 87, 101, 187, 195, 238, 239
Рамсес, имя ряда египетских фараонов 30
Ранке, Леопольд фон (1795—1886), немецкий историк 79, 235, 238
Рауль де Гуи (X в.), французский рыцарь 156
Регинон (ум. 915), аббат Прюмский, немецкий хронист 151, 244
Рейнальд фон Дассель (ум. 1167), канцлер императора Фридриха I Барбароссы, архиепископ Кельнский (1159—1167) 169
Ренан, Жозеф Эрнест (1823—1892), французский философ, историк религии 19, 51, 110, 233
Ретель, Бернард де (X в.), французский рыцарь 156
Рибемон, Иберт де (X в.), французский рыцарь 156
Риккерт, Генрих (1863—1936), немецкий философ 189
Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585—1642), кардинал, герцог, французский государственный деятель, первый министр Людовика XIII (1624—1642) 80, 238
Роберт II Благочестивый (ок. 970—1031), французский король (996—1031) 136, 142, 147
Роберт II (ок. 1054—1134), герцог Нормандский (1087—1106) 142, 243
Роберт де Клари (конец XII—начало XIII в.), французский хронист, участник IV крестового похода 167, 246
Робеспьер, Максимилиан (1758—1794), деятель Великой Французской революции, глава правительства якобинской диктатуры 80, 110, 238, 241
Роланд (ум. 778), франкский маркграф 155, 164
Роллен, Шарль (1661—1741), французский историк 37
Ронсар, Пьер (1524—1585), французский поэт 101
Руссо, Жан-Жак (1712—1778), французский мыслитель 96
Рухомовский И., русский ювелир 236

Сайтоферн, легендарный скифский царь 53
Саксонская династия в Германии (919—1024) 136, 142, 171
Салическая династия в Германии (1024—1125) 143, 171
Светоний Транквилл, Гай (ок. 70—ок. 140), римский историк 37, 68
Сегюр, Филипп Поль де (1780—1873), французский генерал, историк 67, 237
Сезанн, Поль (1839—1906), французский живописец 70, 237
Сен-Симон, Луи де Рувруа (1675—1755), герцог, французский политический деятель 38, 234
Сент-Бев, Шарль-Огюстен (1804—1869), французский литературный критик и писатель 19, 88
Сеньобос, Шарль (1854—1942), французский историк 13, 22, 115, 119, 191, 192, 193, 194, 232
Сид, Родриго Диас де Вивар (ок. 1043—1099), испанский дворянин, участник войн испанцев против арабов 143, 163, 244
Сильвестр I, папа римский (314—335) 235
Сильвестр II (ок. 938—1003), папа римский (999—1003) 126, 142, 243
Симиан, Франсуа (1873—1935), французский социолог и экономист 33, 97, 108, 110, 193
Симон, Ришар (1638—1712), французский историк 49, 78, 235
Снорри Стурлусон (1179—1241), исландский историк 244
Сократ (469—399 гг. до н. э.), древнегреческий мыслитель 187
Солин, Гай Юлий (III в.), римский писатель 166, 246
Спиноза, Барух (1632—1677), голландский философ 49, 235

Стефан Гардинг (ок. 1060—1133), английский монах, аббат Сито, один из основателей цистерцианского ордена 126
Стефан Лэнгтон (ум. 1228), кардинал, архиепископ Кентерберийский (1207—1228) 169, 246
Сулла, Луций Корнелий (138—78 гг. до н. э.), римский полководец и политический деятель, римский диктатор (82—79 гг. до н. э.) 80
Сюрвиль, Ж.-Э. де (1755—1798), маркиз, автор поддельных старофранцузских песен 236

Тацит, Корнелий (ок. 55—ок. 120), римский историк 46, 48, 76
Теодорих Великий (ок. 454—526), король остготов (471—526), основавший в Италии Остготское королевство (493) 163
Теренций, Публий (ок. 190—159 гг. до н. э.), римский комедиограф 74
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—ок. 222), христианский богослов и юрист 174, 247
Тит Ливий (59 г. до н. э.—17 г. н.э.), римский историк 37, 68, 150
Токвиль, Алексис де (1805—1859), французский историк и политический деятель 187, 192
Тостиг Годвинссон (ум. 1066), английский граф 125
Тубер, Пьер (род. 1932), французский историк 222
Турпин, архиепископ Реймсский (753—794) 155
Тэн, Ипполит (1828—1893), французский историк, теоретик искусства и литературы 20, 107, 233, 238
Тьер, Адольф (1797—1877), французский историк и политический деятель, министр Июльской монархии (1830—1848), глава французского правительства (1871—1873) 54, 236
Тьерри, Жак Никола Огюстен (1795—1856), французский историк 192
Тьерри Шартрский (ум. ок. 1155), французский философ-схоласт 245
Тьерри-Монье, Жан Луи (род. 1909), французский писатель 104

Уолтер, Хьюберт (ум. 1205), главный юстициарий Англии, архиепископ Кентерберийский (1193—1205) 245
Урбан II, папа римский (1088—1099) 174, 247

Февр, Люсьен (1878—1956), французский историк 5, 77, 87, 106, 115, 120, 183, 184, 187, 193, 195, 196, 209, 210, 215, 217—224, 232, 238, 239, 242
Феофано (ум. 991), жена императора Оттона II 244
Ферма, Пьер (1601—1665), французский математик 74
Филипп I (1052—1108), французский король (1060—1108) 136
Филипп II Август (1165—1223), французский король (1180—1223) 103, 178, 180
Филипп III Смелый (1245—1285), французский король (1270—1285) 53, 236
Филипп IV Красивый (1268—1314), французский король (1285—1314) 99, 102
Флор, Луций Анней (II в.), римский историк-компилятор 37
Флориан, Жан Пьер Кларис (1755—1794), французский поэт и писатель 87
Флотт, Пьер (ум. 1302), французский юрист, канцлер короля Филиппа IV 143
Фома Аквинский (1225—1274), средневековый богослов и философ 102, 247
Фонтен-ле-Дижон см. Бернард Клервоский
Фонтенель, Бернар Ле Бовье, де (1657—1757), французский писатель и философ 99, 247
Фосильон, Анри (1881—1943), французский историк искусства и эстетики 88, 227, 244
Франс, Анатоль (1844—1924), французский писатель 223, 232, 237
Франциск I (1494—1547), французский король (1515—1547) 101
Фридрих I Барбаросса (1123—1190), германский император (1152—1190) 54, 57, 169, 178, 246, 247
Фруассар, Жан (1337—ок. 1405), французский хронист и поэт 36
Фуггеры, семья немецких банкиров, в XV—XVII вв. кредитовавших пап и императоров 99
Фульберт (ум. 1028), епископ Шартрский (1006—1028), философ-схоласт 128, 245
Фульк IV ле Решен (1043—1109), граф Анжуйский 152
Фюре, Франсуа (род. 1927), французский историк 222
Фюстель де Куланж, Нюма Дени (1830—1889), французский историк 11, 17, 27, 29, 51, 88, 95, 120, 192, 234, 239

Хариульф (ок. 1060—1143), французский хронист 157, 245
Хейзинга, Иоганн (1872—1945), голландский историк 189
Хилл, Кристофер (род. 1912), английский историк 199
Хилтон, Родни (род. 1916), английский историк 199
Хильперик (ум. 584), франкский король (561—584) 238
Химена (XI в.), жена Сида 143, 244
Хлодвиг (ок. 466—511), франкский король (481—511) 52, 74, 102, 238
Хобсбоум, Эрик (род. 1917), английский историк 199

Цезарь, Гай Юлий (100—44 гг. до н. э.), римский полководец и политический деятель 19, 28, 53, 57, 60, 153, 233, 236
Цицерон, Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.), римский политический деятель, философ и оратор 141, 206

Чаттертон, Томас (1752—1770), английский поэт 55, 236
Ченами, знатная семья в средневековой Лукке 37

Шаль, Мишель (1793—1880), французский математик 56
Шмитт, Жан-Клод (род. 1946), французский историк 222

Шометт, Пьер Гаспар (Анаксагор) (1763—1793), деятель Великой Французской революции 239
Шопенгауэр, Артур (1788—1860), немецкий философ 188
Шпенглер, Освальд (1880—1936), немецкий философ 189

Эбер, Жак (1757—1794), деятель Великой Французской революции 239, 241
Эд (ум. 942), аббат Клюни (926—942) 126, 243
Эйке фон Репгов (ум. ок. 1233) немецкий рыцарь, автор «Саксонского зерцала» 247
Эйнхард (ок. 770—840), франкский историк 68
Эйнштейн, Альберт (1879—1955) 70, 103
Эразм Роттердамский (1466—1536), немецкий гуманист 89, 95, 195
Эрнст, герцог Швабский (первая половина XI в.) 162
Эстергази, Мари Шарль Фердинанд Вальсен (1847—1923), французский офицер, немецкий шпион 237
Эсхил (525—456 гг. до н. э.), древнегреческий поэт-трагик 76

Юм, Давид (1711—1776), шотландский философ и историк, деятель английского Просвещения 27
Юстиниан I (482—565), византийский император (527—565) 179, 247

ОГЛАВЛЕНИЕ

Люсьену Февру (вместо посвящения) 5

Введение 6

Глава первая. История, люди и время

1. Выбор историка 15
2. История и люди 16
3. Историческое время 18
4. Идол истоков 19
5. Границы современного и несовременного 23
6. Понять настоящее с помощью прошлого 25
7. Понять прошлое с помощью настоящего 27

Глава вторая. Историческое наблюдение

1. Главные черты исторического наблюдения 30
2. Свидетельства 36
3. Передача свидетельств 41

Глава третья. Критика

1. Очерк истории критического метода 47
2. Разоблачение лжи и ошибок 53
3. Очерк логики критического метода 63

Глава четвертая. Исторический анализ

1. Судить или понимать? 79
2. От разнообразия человеческих фактов к единству сознания 82
3. Терминология 89

Глава пятая 108

ПРИЛОЖЕНИЯ

Л. Февр. В каком состоянии находилась рукопись «Ремесло историка» 115

Несколько примечаний, сделанных рукой Марка Блока 119

Марк Блок. Феодальное общество. Том I. Часть первая, книга II. Условия жизни и духовная атмосфера 122

Глава первая. Материальные условия и характер экономики

1. Два феодальных периода 122
2. Первый феодальный период: население 123
3. Первый феодальный период: коммуникации 124
4. Первый феодальный период: торговый обмен 129
5. Экономическая революция второго феодального периода . . . 132

Глава вторая. Особенности чувств и образа мыслей

1. Отношение человека к природе и времени 135
2. Средства выражения 138
3. Культура и общественные классы 142
4. Религиозное сознание 145

Глава третья. Коллективная память

1. Историография 150
2. Эпос 155

Глава четвертая. Интеллектуальное возрождение во втором феодальном периоде

1. Некоторые черты новой культуры 164
2. Рост самосознания 168

Глава пятая. Основы права

1. Господство обычая 170
2. Основные черты обычного права 174
3. Возрождение письменного права 177

Марк Блок и «Апология истории». А. Я. Гуревич 182

Примечания. А. Я. Гуревич 232

Указатель имен 248

Марк Блок

Апология истории, или Ремесло историка

Утверждено к печати Отделением истории Академии наук СССР

Редактор издательства Т. Н. Овчинникова
Художественный редактор Н. Л. Фильчагина. Технический редактор Л. Н. Золотухина
Корректоры В. А. Бобров, Л. Р. Мануильская

ИБ № 36210

Сдано в набор 26.06.86. Подписано к печати 23.09.86. Формат 60×90 1/16.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура академическая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,12. Усл. кр. отт. 17,12. Уч. изд. л. 18,8. Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 579.
Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90.

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

МАРК БЛОК



АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ

М. БЛОК · АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ